

Екатерина  
Маркова

Отделение

1  
1

1 р. 10 к.





*Екатерина  
Маркова*

*Стреженье*

ПОВЕСТИ

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1987



ББК 84. Р 7

М 26

Художник *Петр Караченцов*

М  $\frac{4702010200 - 092}{083(02) - 87}$  92 — 87

© Издательство «Советский писатель», 1987 г.

## Отправление

Я взмахнула на прощание рукой, и он в ответ улыбнулся. Неуклюже ссутулившись, он влез на подножку автобуса и через несколько секунд появился на задней площадке. Прижался лицом к стеклу, смешно расплющив нос. Автобус дернулся, и он, ударившись слегка о стекло, сморщил забавную гримасу. Я снова помахала ему. Он уезжал от меня так же нелепо, как и появился в моей жизни,— задом наперед. Вздернутое ухо шапки-ушанки еще долго качалось в заднем стекле уходящего автобуса...

Домой я добрела пешком и, уже у подъезда глянув на часы, взбежала на свой четвертый этаж. Словно дождавшись моего появления, зазвонил телефон.

— Ольга, это я. Доехал...

— Молодец. Дежурного педагога видел?

— Угу.

— Что «угу»? Видел или нет? Кто сегодня?

В трубке захрюкало, забулькало, потом наступило молчание, видно, его ладошка крепко стиснула мембрану.

— Ну, отсмеялся? Тебя там щекочет, что ли, кто-то?! Гена! Ты меня слышишь?

В трубке слышались шум, дальний сердитый голос, потом, после паузы:

— Ольга Михайловна, я вас приветствую, Олег Иванович говорит. Гена опоздал к ужину...

— Да, да, это я виновата. Но он сыт. Мы поужинали...

— Простите, минутку... Гена, отправляйся к себе, живо,— услышала я недовольный голос педагога.— Извините, Ольга Михайловна, но мне хотелось бы напомнить...

— Нет, нет, Олег Иванович, я клянусь вам, мы были с Геной в кафе. Да что же вы, неужели я не понимаю! Да он даже не знает, в каком районе я живу...

— И потом, Ольга Михайловна, я, извините, слышал, как он к вам обращается. Почему просто «Ольга» и почему на «ты»?..

— Почему просто «Ольга» и почему на «ты»?..— повторил тот же вопрос Глеб и устало взглянул на меня из-под белой шапочки, надвинутой на самые брови.

Он сидел на табуретке, опустив безвольно вдоль тела руки с натруженными, вздувшимися венами. Его серые глаза, чуть растянутые к вискам, смотрели сквозь меня отчужденно и сосредоточенно. Я уже привыкла к такому его взгляду. В эти минуты, я знала, в Глебе шла мучительная работа. Тонкие запястья его вытянутых рук вдруг дрогнули, пальцы шевельнулись, как бы подвергая сомнению какое-то движение. Он как бы проживал заново только что законченную операцию, выверял каждое принятое решение, каждую подробность.

— У тебя опять сосудик в глазу лопнул,— не отвечая на его вопрос, тихо сказала я.

Чуть заметно сдвинувшиеся брови наложили запрет на возникшее во мне желание обхватить его упрямую голову, сдернуть шапочку и прижаться губами к коротко остриженной горячей макушке.

Я вдруг вспомнила тот неистовый весенний день, когда, не в силах носить в себе больше эту ношу, я сказала Глебу, что люблю его. Лишь на миг поселилась в его внезапно еще больше раздвинувшихся к вискам глазах нежность. Он стремительным движением прижал меня к себе, и его губы, коснувшись моего уха, прошептали: «Бедная моя...»

— Бедная? Не-ет! Почему?

Мне показалось, что я ослышалась, и изо всех сил пыталась высвободить голову из его рук, прочесть в глазах другой ответ. Я чуть не расплакалась, увидев его строгий, отрешенный взгляд.

— Почему? — снова потребовала я шепотом.

Он бережно, словно я могла рассыпаться от его слов, обнял меня за плечи.

— Потому что меня не существует. Я отдал свою жизнь. Всю, до самого последнего дня. Я не принадлежу себе. И это не слова. У меня одна страсть, одна любовь, одна боль...

— Так не бывает! Это не по-человечески!

Я изо всех сил сдерживала готовые хлынуть слезы и сердилась на свой срывающийся голос.

— Как раз именно это по-человечески,— возразил Глеб,— в моем понимании, естественно. Кто-то считает иначе, живет по-другому. И это его право.

— Но ведь... ведь ты не можешь с утра до ночи... всю жизнь лечить больных детей. Так ведь и сдвинуться можно.

Вновь ошпарил меня его жесткий колющий взгляд.

— А это уже мое дело!

Слезы брызнули из моих глаз точь-в-точь как у клоуна из цирка. Я уже не пыталась сдерживаться — мне было жаль себя, Глеба, несчастных больных детей, которые отнимали его у меня. Мне было жаль весь этот мир, в котором я жила и который с такой щедростью и многоликостью выявлял свои скрытые обличья. Я уже начинала понимать, что все мои детские представления о жизни гроша ломаного не стоили. Я была как проколотый воздушный шар, из которого вместо воздуха выходило восторженное детское оцепенение перед добрым многообещающим миром. Я, наверное, деликатно замешкалась у ворот этого огромного мира. Надо было вломиться в него много раньше и сразу заявить о своих претензиях к нему и потребовать ответа — немедленного и неукоснительного. По какому праву, надо было спросить, кто-то или что-то будет наводить порядок в моей жизни, словно мой собственный выбор в моей собственной жизни ровным счетом ничего не значит, словно кому-то видней, как распорядиться моей судьбой? И еще... Смех, да и только, что тот самый Глеб, без которого я не мыслила своей жизни, появился как-то... невзначай. Мог бы появиться, а мог бы не появиться никогда... Надо было спросить, что это: просто случай или расставленная ловушка? Но, как говорится, поезд ушел, и когда я, уже вполне сформировавшаяся растяпа, упустив момент, подняла в один темно-синий вечер глаза к сверкающему россыпями звезд небу и, грозно откашлявшись, решила посягнуть на весь мир и привлечь его на скамью подсудимых, то вдруг почувствовала, как неотвратимо необъятна эта скамья мироздания и как ничтожны мои запросы. Лицо вспыхнуло, словно тысячами пощечин наградили меня надменные звезды.

— Не туда обратилась! — буркнул в ответ Глеб, ког-

да я с юмором пыталась поведать ему о своем диалоге с вечностью.

— А... куда? В Верховный Суд? — засмеялась я.

— В себе поищи,— так же невнятно посоветовал Глеб.— И займись делом!

Он был иногда вот такой... совсем невыносимый. Он умел одной фразой убить во мне все: трепетность, восторг и, наконец, мою нежность к нему. Но это был бы не Глеб, если бы в следующую минуту он не возвращал с лихвой все назад. И мою нежность, и восторг перед ним, и то пьянящее легкое головокружение, которое вот уже год терзало меня...

...— Вы ко мне? — спросил он тогда.

И впервые мир поплыл в медленном танце.

Он стоял передо мной в своей тугой врачебной шапочке и зеленом тщательно выутюженном хирургическом костюме. Строгие уставшие глаза вопросительно глядели на меня.

— Я к вам,— подтвердила я и, уплывая от него, вдруг ощутила ликование оттого, что я пришла к *нему*, ждала *его*, что хоть так я причастна к этому измученному суровому человеку.— Я по поводу вашей больной Наташи Самсоновой...

В его глазах появился интерес, взгляд как бы вычленил меня из окружающих предметов.

— Кем вы ей приходитесь?

У него был глуховатый голос с резкими отрывистыми интонациями.

Преодолевая головокружение, я уцепилась взглядом за крошечное бурое пятно на рукаве его халата.

— Я... вообще-то... никем...

— То есть?

Колющий взгляд заставил меня оставить в покое пятно на его рукаве, снова ощутить, как плывет под ногами пол и сигналом величайшего бедствия или немыслимого счастья бьет с размаху в виски кровь.

— Я... верней, мы, студенты актерского факультета, шефствуем над детским домом... верней, интернатом, где Наташа учится...

— Верней, живет,— подсказал насмешливый голос хирурга.

Я согласно кивнула.

Бурое пятно на рукаве двоилось, троилось, четверилось, заполняя весь зеленый рукав пляшущими точками.

— Наташа проснулась после наркоза. Пока состояние тяжелое. Звоните утром,— сухо посоветовал доктор и обернулся к женщине, которая на протяжении всего нашего разговора время от времени трогала хирурга за плечо.

Как сквозь сон слышала я ее настырный визгливый голос. Этот голос что-то требовал от хирурга, что-то сулил, чем-то угрожал. А я стояла оцепенев, точно ноги мои были приклеены к полу.

Досада на лице врача сменилась готовым вот-вот прорваться гневом.

— Я вам повторяю — условия для всех послеоперационных детей равны. И не обращайтесь ко мне с подобными предложениями — не по адресу!

Яркие пятна румянца выступили на скулах врача. Резко повернувшись, он шагнул к двери в отделение, а потом обернулся ко мне и сказал своим отрывистым голосом:

— Девочке можете передать лимоны и морс.

Я еще долго смотрела на белую дверь, за которой скрылся Глеб. Глеб Евгеньевич, заведующий хирургическим отделением, как сообщили мне в справочном.

— Я же не виновата, что мой ребенок не привык к таким условиям. А ваш? У вас девочка? — вывел меня из оцепенения тот же визгливый голос.

Миловидная женщина с надменным лицом требовала от меня ответа.

— Моя девочка... ко всему привыкла.

Голос мой прозвучал с такой горечью, что женщина растерянно спросила, взглядывая в мое пылающее лицо:

— То есть... как?

Я молча вышла из приемной, плотно прикрыв за собой дверь.

«Надо приготовить морс, он сказал принести морс и лимоны». «Морс и лимоны. Морс и лимоны» — стучало в висках, а я все убыстряла шаг. Я уже почти бежала по тротуару, и люди оглядывались мне вслед и, наверное, недоуменно пожимали плечами. «А ваша девочка?» «Моя девочка!..» Ей даже не снилось, этой холеной благополучной блондинке, какой жизненный опыт у худенькой

моей девочки Наташи. Он сказал «морс и лимоны». Девочке Наташе нужны лимоны и морс. Остальное не важно... Вот только почему-то глаза застилает от нежности к этому чужому и откуда-то знакомому... усталому человеку с жестким выражением глаз и нервными кистями рук в набухших синих прожилках. Ах, как славно, что Наташа в этих руках! Повезло... А такое везение равноценно спасению жизни. Он сказал «морс и лимоны»... и еще он сказал «состояние тяжелое»... но ведь после операции так всегда говорят — «состояние тяжелое». Морс и лимоны. Она выживет. Вернется... домой, в свой четырехэтажный блочный дом, влезет в свое застиранное байковое платье, которому, похоже, сносу нет, будет снова ревниво оберегать свою нерастраченную детскую любовь для невероятно сказочного появления мамы. Они ведь все ждут маму. Вопреки знанию о том, что мама отдала ее, его, их, отреклась навсегда. Что ж, это и взрослому, циничному уму непостижимо, а дети... Тем самозабвенней ждут, чем лучше знают все. Главное — морс и лимоны. И пусть она вырастет доброй, красивой, верной, нарожает кучу детей, и на всем белом свете не будет матери преданней и заботливей моей девочки Наташи. И так хочется прижаться лбом к его сильным рукам в прожилках и рассказать о том, как невозможно ходить туда, к этим детям, как невозможно не ходить...

«Морс и лимоны!»

...Глеб вздрогнул, с удивлением вскинул голову.

— Извини, не понял.

Я виновато улыбнулась.

— Я ничего не говорила.

— Ну, пусть будет так...

— Я просто подумала... помнишь... вспомнила, как ты лимон съел прямо с кожурой.

Глеб устало улыбнулся.

...— Вот лимоны и морс, как вы велели.

Тогда он тоже внезапно улыбнулся. Эта улыбка застала меня врасплох, я совсем не была готова к ее появлению. словно внутри этого человека зажгли свет, так вдруг вспыхнули и засветились ласково его глаза, так преобразилось его худое лицо.

— Сколько же здесь лимонов? Пять килограммов?

Я отрицательно замотала головой.

— Три.

— Столько не нужно, — голос хирурга прозвучал неожиданно мягко, — я возьму две штуки.

— Обратно не понесу. Раздайте другим детям! — распорядилась я и сама испугалась категоричности своего заявления.

Не сводя с меня своего сияющего взгляда, Глеб достал из пакета лимон и откусил.

Я сморщилась.

— Кисло? — поинтересовался он, жуя лимон.

— Очень... Они немые.

— Не страшно. В кожуре лимонов — эфирное масло.

— Правда?

Я почему-то очень обрадовалась этому сообщению.

А с лица хирурга неотвратимо сползала улыбка, вытесняемая какими-то терзавшими его мыслями.

— Возможно ли в условиях интерната создать условия для выхаживания девочки?

Глеб ждал моего ответа, уже глядя сквозь меня, погруженный в течение собственных мыслей.

— Не думаю. Вряд ли... Но... я могу забрать ее на время к себе.

— Вот этого делать не надо! — резко возразил хирург.

— Почему?

— Потому что потом ей надо будет возвращаться в интернат.

— Но ведь случается, что воспитатели берут детей к себе домой, — возразила я.

— Воспитатели пусть берут, — усмехнулся Глеб, — а вам не стоит.

— Почему?

Я замерла, ожидая его ответа.

— Потому что в вас есть нечто такое... что может крепко привязать ребенка.

Глеб задумчиво рассматривал мое лицо, словно я была какой-нибудь портрет, а не живой человек.

— Я не думала об этом, — растерялась я.

— Вам об этом никто не говорил, — уточнил Глеб и снова надкусил лимон, совсем не морщась, словно не ощущая никакой кислоты.



...— Ты — супермен, — пробормотала я, глядя, как чуть заметно подрагивают его натруженные пальцы.

— Что ты все время бормочешь под нос? — Глеб потянул со стола чью-то толстенную историю болезни, устало перелистал испещренные страницы с собранными гармошкой вклейками кардиограмм. — Не утверждай только, что ты опять ничего не говорила. Я не сумасшедший.

Я покачала головой.

— Ты не сумасшедший. Ты — хуже.

Глеб удивленно взглянул на меня, а я размазывала по щекам сердитые слезы.

— Ты неуязвим... Впрочем, нет, это еще было бы ничего. Ты уязвим, но прекрасно знаешь свои слабости, поэтому ты — единственный, кто о них знает. В тебе сочетание высочайшего рационализма с тем, что ты сейчас сказал. Ты сумасшедший наполовину. Остальное — твоя рассудочность. Твое суперменство окрыляет только твоих пациентов... для остальных ты — ужас, исчадие ада. Молчи, молчи. Я знаю, что ты скажешь сейчас. Что остальные тебя мало волнуют. Но не может быть, чтобы весь мир состоял из одних пациентов.

Глеб захлопнул историю болезни, открыл большую металлическую банку и, поддев оттуда марлевую салфетку, прицелился к моему распухшему носу.

— Сама!

Я выдернула из его рук салфетку, вытерла заревавшее лицо.

— Так почему же просто «Ольга» и на «ты»?

Гена появился в моей жизни точь-в-точь так же, как уезжал от меня в автобусе. Задом наперед.

Я подходила к блочному забору интерната, когда увидела, что навстречу мне из ворот вырулила чья-то спина и, качая вздернутыми ушами шапки, направилась в мою сторону.

Мальчишка лихо двигался спиной вперед. Было такое ощущение, что на затылке у него существовала еще пара глаз. Я усмехнулась, широко расставила руки, загораживая пространство тротуара. Но в этот же момент спина прыгнула на мостовую и двинулась в обход возникшей преграде. Поравнявшись со мной, фигура чуть замедлила шаг, и из-под мехового козырька на меня

глянули взрослые, непомерно большие для детского лица серые глаза в пушистых светлых ресницах.

Знакомо сжалось сердце. Вот так оно всегда собиралось в тугую болезненный комок, когда я встречалась взглядом с кем-нибудь из детдомовцев. С серьезным пытливым взглядом не ребенка и не взрослого. Это было совсем особое качество человеческой природы. Они никогда не были до конца детьми, являясь по возрасту таковыми, и еще не были взрослыми, хотя с младенчества постигли всю отчаянную глубину истинного горя. Они по-взрослому горько чувствовали, но умом ребенка не были в состоянии осознать, в чем они не такие, как те дети по другую сторону бетонного забора интерната.

— Такое впечатление, что у тебя глаза на затылке.

Мой голос прозвучал, наверное, неестественно бодро, и мальчишка почувствовал это, настороженно глянул своими взрослыми глазами, видимо угодив прямо в душу, успокоился и так же через силу весело ответил:

— У меня просто шапка-ушанка волшебная. Шапка-всевидимка. Слыхали про такую?

Меня удивили и его цепкий взгляд, и быстрый ответ, и раскованность в общении.

Когда я впервые попала в интернат, меня предупредили: «Учтите, у нас дети с дефектами центральной нервной системы». — «Все?» — «Почти. Как правило, с незначительными дефектами, но это специфика интерната».

Я подавленно молчала тогда, а директор интерната — худой мужчина с виноватыми глазами и суетливыми движениями длинных рук — сочувственно произнес:

— Так что, видите, может быть, зря вы наш интернат для шефства выбрали.

Я перевела дух и, мужественно глядя в его извиняющиеся глаза, произнесла:

— Тогда они тем более нуждаются и в ласке, и во внимании.

Директор поспешно подтвердил:

— Нуждаются, конечно. Ну что ж, тогда идемте, я покажу вам интернат.

На втором этаже помещались спальни. В каждой — одинаковые кровати, одинаковые тумбочки, одинаковые шкафы — у каждого как у всех. В одной спальне, вжавшись в большую подушку и подобрав ноги к подбородку, сидела под одеялом девочка лет семи.

—Здравствуй, Наташа,—поздоровался Алексей Ильич.

Девочка тряхнула головой, разлетелась соломенная челка, слабая застенчивая улыбка на мгновение мелькнула на бледном лице.

—Здравствуйте... Меня из изолятора перевели.

—Знаю. Как ты чувствуешь себя?—Алексей Ильич бережно дотронулся до худенького плеча девочки.

—Хорошо!—выпалила Наташа с готовностью.—Можно вставать?

Алексей Ильич испуганно замахал своими суетливыми руками.

—Что ты, что ты! Очень тебя прошу—только с разрешения врача.

Девочка обреченно вздохнула, перевела на меня свои задумчивые глаза, тихо спросила:

—А это... чья мама?

На третьем этаже нас окружили вырвавшиеся из классов на перемену ребята.

Мне задавали одновременно десятки вопросов, теребили, гладили, даже слегка пощипывали, чтобы я обратила внимание. Малышка с октябрятской звездочкой оттерла меня в сторону и, вцепившись в мои запястья, взволнованно сообщила:

—Я тоже буду артисткой! Только, чур, никому. Это пока тайна.

Тут же ревниво заголосил целый хор ребячьих голосов:

—А чего Светка секретничает!

—Не к ней одной пришли!

—Светка-единоличница!

—Я, может, тоже хочу одна поговорить!

Каждый хотел хотя бы подержаться за меня, и, если бы не спасительный звонок на урок, меня бы растащили на части.

Я стояла оглушенная посреди опустевшего коридора.

—Вы их извините. Это можно понять...—тихо произнес Алексей Ильич.

Это можно понять... Конечно. Они так хотят понравиться любыми неуклюже-детскими способами, чтобы вдруг шевельнулось во взрослой душе сострадание, которое было бы способно, опрокинув все доводы здраво-

го смысла, позволить этим детским рукам обнять надежную шею и сказать спасительное «мама». Это слово, циничным запретом запечатавшее губы отверженных малышей, трепещет произнесенное, уродует детские лица страданием и болью.

Это можно понять... Нельзя понять другое. Где они, те, кто произвел их на свет? Что это за мука отречения от своего ребенка? Как можно, изведав ее, суметь когда-либо растянуть губы в улыбке или посметь посягнуть на чью-то любовь? Это понять нельзя...

— Шапка-всевидимка, значит? — переспросила я мальчика, который неуклонно продвигался задом наперед в мою жизнь. — А если такая уж она всевидимка, пусть хоть одним глазком подсмотрит, что сейчас поделяет девочка Наташа Самсонова из 1 «А»?

Мальчишка лукаво сощурил свои беспокойные глаза, и сразу ушло взрослое выражение, оставив на лице обычную ребячью проказливость.

— Она слишком всеильная, чтобы размениваться на один глазок! — торжественно провозгласил мальчишка и, нахлобучив совсем на уши шапку, доверительно зашептал мне словно по секрету: — Ты мне только напомни, что это за Наташа? Как хоть она выглядит?

— Это та самая Наташа, которой недавно делали очень сложную операцию, — уточнила я тоже шепотом, с опаской поглядывая на шапку. И уже в полный голос прибавила: — А ты уверен, что можешь называть меня вот так сразу на «ты»?

Мальчишка удивился моему вопросу и, распахнув снова свои глаза, быстрым сосредоточенным взглядом опять словно что-то проверил в моей душе.

— Я уверен. Я тебя откуда-то знаю. — Он отвел глаза и пробормотал: — Значит, беленькая такая, у нее еще шрам над бровью. Она?

— Она, — подтвердила я. — А как же так может быть, что ты меня знаешь, а я тебя нет?

— Тебе так кажется, — уверенно ответил мальчишка, сразу поселив какое-то сомнение в том, что я его не видела раньше, и попросил: — Помолчи секунду.

Он прикрыл глаза пушистыми светлыми ресницами, сосредоточенно сдвинул брови к переносице, так что между ними образовалась твердая продольная складка, стиснул нижнюю губу зубами.

— Она сейчас... чистит апельсин... на ней голубое

платье... кофта, то есть голубая... — монотонным хриплым голосом заговорил мальчик.

Я совсем было приняла его слова за условие новой игры, вместо шапки-всевидимки, но, увидев, как бледность на лице ребенка вытесняла остатки румянца, почувствовала, что мне становится страшно.

Интуитивно подыскав единственно верную интонацию, я тихо попросила:

— Хватит, спасибо тебе. Давай все же познакомимся. Как тебя зовут?

Какое-то мгновение мальчик молча смотрел на меня отсутствующими глазами, потом коротко вздохнул, словно выпроваживая из себя эту отрешенность, и протянул мне руку в мокрой варежке:

— Гена. Геннадий Крылов.

— Я тебя раньше не видела, — начала я, но тут же поспешно поправилась, — в этом интернате в смысле никогда не видела.

Слабая понимающая улыбка зафиксировала мою оплошность. Он пояснил:

— Две недели назад перевели из другого интерната. Тот расформировали... Учусь в пятом «Б».

— То есть как расформировали? А ваши воспитатели? Вы же привыкли... А твои друзья?

Гена сочувственно обвел долгим взрослым взглядом мое взволнованное лицо.

— Нам не привыкать. Значит, мы остановились на том, что я — Гена. Не крокодил.

— Ольга Михайловна, — представилась я. И тут же поправила себя под его внимательным взглядом: — Ольга...

— Ольга, — подтвердил мальчик, — это точно.

Что для него было точно, я так и не поняла, как и не понимала, в каких тайниках его неведомой души состоялось наше знакомство. Я-то его никогда не знала, хотя почему-то уже сомневалась в своей уверенности.

— Как ты сказала? Мука отречения? — Глеб сухо рассмеялся. — Это твое актерское, эмоциональное восприятие. На самом деле все гораздо проще.

— Проще?

— Ну не то что проще, но...

— Нет, ты сказал «проще». Сам только что сказал!

А совсем недавно с таким пылом и темпераментом выступал в газете. Что во всем в жизни ощущается тенденция к упрощению. Но пусть это не коснется ребенка! Как долбал акушеров, которые позволяют себе привыкать к своей высочайшей святой миссии и принимают зачастую роды без обостренного чувства ответственности. А разве то, о чем я говорю, касается ребенка не напрямую? Что ты думаешь? У твоей жизненной позиции, как и у всего на свете, есть своя обратная сторона. Ты сутками священнодействуешь над своими больными, но оттого, что ты сам себя отрезал, изолировал от другого мира, ты себя обкрадываешь.

— Это естественно. Человека не может хватить на все, — Глеб поморщился. — Ты в последнее время нападаешь на меня с такой яростью... Я начинаю бояться за свою жизнь. — Глеб с тоской обвел глазами кабинет, покрутил ладонью по животу. — Есть хочется, а мама, как назло, не успела приготовить бутерброды. И термос с кофе не прихватил.

Я с высокомерной жестокостью взирала на проявление минутной слабости Глеба. В моей сумке лежали специально для него испеченные пирожки с капустой, и сквозь тонкую кожу сумки холодила ногу не успевшая согреться бутылка кефира.

— Может, Полина запасами поделится.

Глеб набрал по внутреннему телефону номер и, услышав бесконечные длинные гудки, тяжело вздохнул:

— Думаю, что уже делиться нечем. Трапеза в ординаторской окончена.

— Слушай, я давно хотела тебя спросить. Ты что, персонал себе подбираешь по величине глаз?

Я уже шуршала целлофановым пакетом в сумке, и ноздри Глеба активно заработали, вдыхая просачивающийся запах его любимых пирожков.

— Ого! — произнес Глеб и облизнулся. — Я не совсем понял про глаза.

— Я, когда впервые попала к тебе в отделение, так удивилась, что у вас здесь все глазастые: и ординаторы, и сестры, и нянечки. Это специально?

— Конечно! — Глеб с такой нежностью взирал на извлеченные мной из сумки пирожки, что я почувствовала жуткое желание поменяться с одним из них местом. — Видишь ли, малыш, добрая энергия передается ребенку через глаза.

— Да?

Я задумалась.

— Исключение составляю лишь я. Я не глазастый. Моя энергия, видимо, выходит через уши. — Глеб аппетитно откусил пирожок и даже зажмурился. — Я шу-чу, конечно, не в этом дело. Разумеется, это случайность, совпадение. Но согласишься, что это был бы красивый принцип подбора кадров.

— Особенно наглядно он бы воплотился на примере твоей Полины.

— Это ты напрасно. Пташкина — незаменимый кадр.

— Я и говорю. Глаза как блюда. Недаром чуть что — только и слышно от тебя: «Посоветуйтесь с Пташкиной», «Пусть Пташечка пропоет что-нибудь дельное». Действительно, кадр что надо. А так как ты сознательно отгородил себя стенами своей больницы от мира, то в ее блюдах для тебя и отражается все, что по ту сторону. Все, что в миру, схимник несчастный!

Рука Глеба, отправив пирожок в рот, инстинктивно опять потянулась к банке с марлевыми салфетками. Но я изо всех сил ударила его по вытянутой руке. Глеб вздрогнул и опустил голову.

— Так нельзя, малыш. Я тебе дам микстуру, попей.

— Катись ты к черту вместе со своей микстурой! Сам хлебай ее литрами. Вместе со своей Пташкиной.

На своей макушке я почувствовала теплую ладонь Глеба.

— Что-нибудь в театре? Как твои репетиции?

Я пошевелила головой, но рука Глеба настойчиво обнимала мою голову.

«У него даже проявления ласки не как у людей», — мелькнула мысль.

— Вспомнил наконец-то! Что у меня тоже есть своя жизнь, театр. Хотя репетиции здесь ни при чем... И театр... Мне, понимаешь... Мне душно.. Я устаю без тебя... Я все время в ощущении бильярдного шара, который загнали в лузу. Ты загнал! Ты... Я такая беспросветная дура, что говорю об этом тебе. Жалуюсь тебе на тебя! Я постепенно научусь обходиться без этого. Ты не сомневайся! Я талантливая ученица, только усваиваю медленно, потому что учителей целых три: театр, ты и просто жизнь. И все учат жестко и определено одному правилу: нельзя быть слабой. Любой ценой нельзя. Слабость не подлежит прощению. Ни в театре, ни в жизни,

ни с любимым. Ты мне тогда сказал: «В себя загляни», когда я была в полной растерянности перед дипломным спектаклем, помнишь? Я поняла. Только в себе... в себе найти силы, духовность, мужество. И тогда, если выдюжишь, будешь жить. Бросили за шкурку в воду, выплывешь — больше никогда не пойдешь ко дну; захлебнешься — туда и дорога. Выживает сильнейший. Все правильно, мой тогдашний бунт — буря в стакане. Я смирилась, более того, взяла этот принцип на вооружение. И пока даю слабину только в одном... У меня все внутри протестует, когда я понимаю, что и с тобой нельзя, как с собой... И с тобой надо быть сильной. Иначе я могу перестать быть для тебя интересной. Знаешь, чего я хочу больше всего на свете?

Пальцы Глеба на моей голове дрогнули.

— Знаю...

— Скажи.

— Думаю, не стоит.

— Скажи.

Глеб снял руку с моей головы, отошел к окну и, упираясь лбом в стекло, нехотя произнес:

— Больше всего на свете ты хочешь послать меня к черту. И не можешь. А я в свою очередь тоже не могу помочь тебе в этом.

Глеб вдруг рассмеялся. Приоткрыл окно, свесившись вниз, закричал:

— Так держать, Серенья! А ты, Семеновна, дай ему самому шажочек сделать. Сможет, сможет. Сегодня один шаг, а завтра — целых два, и — полный вперед. Подождите, сейчас спущусь.

Лицо Глеба светилось тем непостижимым внутренним светом, который приводил меня в отчаянье. Мне такого счастья — обретения этой улыбки — не доставалось.

— Я убежал, малыш. — Глеб остановился в дверях. — Мы не договорили. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Я не отказывался от своего соображения, что детство не подлежит упрощению в медицине. И не в медицине тоже. Сложней ребенка природа еще ничего не создавала. И если он не до конца изучен — это лишнее подтверждение сложности, а не простоты. Просто другое. Ты ведь не дура и понимаешь, что та же природа отторгает подчас жизни ублюдков. И тогда никакой пресловутой муки отречения нет в помине. Все просто! Приблизительно по такой формуле: «Он на мне не женится, поэтому



ребенка я оставляю». Проще не бывает, малыш. Я убежал. Потом сразу на конференцию.

Я подошла к окну, где только что стоял Глеб.

Прошло четыре года с той минуты, когда я вдруг ощутила головокружительную радость приобщения к этому человеку. Тогда я была счастлива просто стоять рядом, смотреть и совсем не слышать, что он говорит, почти падать в обморок, понимая, что это от взгляда на меня теплеют его глаза.

Что изменилось за эти четыре года? Только то, что я получила право голоса. И, не умея преодолеть себя, качаю права, как последнее бездуховное ничтожество. Я никогда не подозревала, что во мне так сильно развит собственнический инстинкт. Я совершенно не умела делить Глеба ни с его работой, ни с его старенькой мамой, ни даже с его одиночеством. Сейчас разговор с Глебом взбаламутил во мне уже осевшую боль воспоминаний о моем злополучном дипломном спектакле.

Готовился спектакль с третьего курса, я репетировала Грушеньку в инсценировке «Братьев Карамазовых». Наверное, никогда жизнь больше не подарит мне таких неистово радостных дней. Наш спектакль был внеплановый. Сцену мы получали в полное владение лишь по ночам и до утра священнодействовали, постигая психологию героев Достоевского и пытаюсь хотя бы приблизить свое существование до того одержимого, мученического напряжения, в котором жили все персонажи. Это было прекрасно трудно. Я выходила из училища под утро, когда Москва уже потягивалась в сладкой полудреме, досыпая самые желанные часы сна. Пустые улицы, окропленные влагой поливальных машин, пахли удивительной смесью воды и пыли. Я шла прямо посередине мостовой, благословляя ту блаженную усталость, которая, отнимая силы, давала взамен обретение мастерством той непостижимой профессии, о которой я мечтала с детства. Я подходила к телефону-автомату и, набирая номер больницы, слышала глухой, отрывистый голос Глеба.

— Да.

Я молчала, ощущая, как по лицу расплзается глупая счастливая улыбка.

— Я слушаю, — нетерпеливо повторял Глеб.

— И я слушаю... И улыбаюсь...

— Ольга, извини, мне некогда. Я принимаю больного.

Я вешала трубку и, не позволяя несостоявшемуся разговору стереть с лица дурацкую улыбку, шествовала дальше, пытаюсь представить себе лицо Глеба, опять услышать его голос, как правило, сообщавший мне, что он занят, занят, занят... Сейчас было пять утра, и он принимал больного ребенка. Значит, дальше последует многочасовая операция, а потом обычный рабочий день. Правда, завтра ему полагается выходной. Но только полагается. «Он убежал в больницу», — ответит голос его мамы. Единственно, чего я никогда не могла представить себе, — как Глеб спит. Мне казалось, что он не спит никогда.

Я, наверное, была слишком счастлива тогда для того, чтобы заметить на себе озабоченные взгляды своих однокурсников, занятых в репетициях «Карамазовых», нашего педагога по мастерству, разделявшего наши ночные бдения... Беда тем и коварна, что застает врасплох. Я проводила в тот вечер Глеба до ворот его больницы, пожелала счастливого дежурства и не спеша отправилась на репетицию, слегка досадуя на то, что приду намного раньше времени в училище, вместо того чтобы сразу же войти в напряженный ритм спектакля. По дороге мне не встретилось ни одной черной кошки и светофоры на переходах, как сообщники, доброжелательно подмигивали мне своим хитрым зеленым глазом. И в растерянном вопросе моей однокурсницы: «Ты чего так рано, Оль?» — сбежавшей с крыльца училища и сразу почему-то виновато опустившей взгляд, я не почувствовала ничего плохого.

— Ваши уже все в сборе, — закивала мне толстенная вахтерша тетя Зина, и ее многоступенчатый подбородок заколыхался в приветливой улыбке.

— Как? Уже все пришли, тетя Зин? Давно? — удивилась я и, услышав «давненько уж», понеслась на четвертый этаж, прыгая сразу через две ступеньки и мысленно казня себя за то, что перепутала час репетиции.

Дверь в зал была закрыта, и я на секунду замешкалась, чтобы перевести дух.

— «Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я свой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу, и не пойду я теперь никуда и ни к кому...» — доносилось из-

за двери. Какой-то чужой голос произносил текст моей роли. Это были мои слова, слова моей Грушеньки.

Я рванула дверь. Тетя Зина оказалась права. Все участники спектакля были в сборе, все занимали на сцене знакомую мне мизансцену объяснения Грушеньки с Алешей. Только вместо меня, в моей длинной репетиционной юбке, полулежала на диване Галка Варфоломеева и произносила слова моей роли. Я замерла в дверном проеме. Все замолчали и повернулись в мою сторону.

— Привет всем. Извините... Я перепутала...

Я виновато улыбалась и ждала, что сейчас Галка спрыгнет, скинет мою юбку и скажет: «Наконец-то заявила. А меня попросили почитать пока вместо тебя».

Я улыбалась, а все молчали растерянно и никто не тронулся с места. И вдруг я почувствовала, что жутко устала. Устала сразу от всего. И от ночных репетиций, и от непонятных, изматывающих отношений с Глебом, и от того, что так стремительно неслась сейчас по лестнице... Ноги дрожали, и коленки, как ватные, подгибались и тянули к полу. Я улыбалась, а все виновато и сочувствующе смотрели на меня. Я увидела, что Галкины глаза стали быстро-быстро наполняться слезами. Она закрыла лицо ладонями и заплакала.

Я плохо помню, что было потом. Передо мной извинялись, оправдывались, говорили, что во мне не хватает социальности для такой роли, как Грушенька, что я слишком худенькая и хрупкая, что качество темперамента у меня иное. А я вежливо улыбалась и повторяла как попугай: «Почему же не предупредили? Так же нельзя». Мне говорили, что произошло недоразумение, что я пришла раньше и поэтому застала, как Галка пробовалась, именно только пробовалась на мою роль. И еще мне говорили, что театр — это очень жестокая вещь и что уже сейчас надо готовить себя существовать в нем мужественно и волево. Я великодушно отдала в полное владение свою репетиционную юбку зареванной Галке и, осторожно прикрыв за собой двери зала, тихо спустилась по лестнице.

Я вышла на крыльцо училища и села на ступеньки. Еще никогда в жизни я не испытывала такого странного состояния. Внутри меня было так пусто, что, наверное, я ничего не весила и плыла словно в невесомости. Я поднималась со ступенек крыльца, делала кувы-

рок через голову, как в замедленной съемке, и взмывала в прохладную синь вечернего неба. Потом я возвращалась на ступеньки и, прижав пылающий лоб к коленям, бессознательно фиксировала испуганные взгляды прохожих, взиравших мои полеты в поднебесье.

— Отменили репетицию? — удивился Глеб, когда я вызвала его среди ночи в приемную больницы.

— Отменили... меня.

Больше Глеб ничего не спрашивал. Он просто сосредоточенно и обеспокоенно изучал несколько секунд мое лицо, и выражение у него было в точности такое, как когда он осматривал больного ребенка. Я всегда завидовала детям, которые являлись объектом такого его взгляда. И вот дождалась... Глеб смотрел на меня, и я чувствовала, как его проникновение в мою боль утихомиривает ее, притупляет. Наверное, такое уж у меня было лицо, что у Глеба даже задергалась жилка под глазом. Она всегда так трепыхалась, когда он был чем-нибудь чрезвычайно взволнован...

...Под окном Глеб подхватил на руки малыша, впервые ступившего на землю после операции на сердце. Крепко прижал его к себе и бережно отвел со лба прилипшую челочку ребенка.

Запрокинул вверх сияющее лицо и закричал, адресуя свои слова кому-то конкретному, но больше никому не ведомому:

— Вот мы какие молодцы!

Сзади резко распахнулась дверь. Я даже вздрогнула — так по-хозяйски уверенно она отлетела. Молодая женщина с ярко-синими, величиной с блюдца глазами оглядела кабинет и, столкнувшись со мной взглядом, царственно проронила:

— Здравствуйте. Где он?

Я молча мотнула головой в сторону окна. Женщина легкой походкой прошествовала к окну и, грациозным движением плеча оттерев меня в сторону, сообщила, свесив вниз аккуратную голову, тщательно упакованную в белую врачебную шапочку:

— Данилов, приди в себя, ты опоздал на конференцию! Поднимайся, жду! — и кокетливо поправила шапочку.

Она подошла к столу Глеба и, сложив в аккуратную

стопку раскиданные истории болезней, неожиданно резко повернулась ко мне и, сияя своими глазищами, сказала с гордостью:

— Если бы не Данилов, этому малышу никогда не топтать по земле. То, что он сделал, — это почти из области невероятного.

А я, изю всех сил сопротивляясь повергающему в прах обаянию Пташкиной, пробормотала, отводя глаза от ее порабошающего взгляда:

— Вы, я думаю, тоже немало сделали...

— Я реаниматор, и в данной ситуации от меня зависело не так уж много. Хотя... Ой, совсем забыла, за билеты вам огромное спасибо. Нам с сыном очень понравился спектакль. Вы играли прелестно. Такая трогательная Антигона у вас получилась. Только сын все время спрашивал: «Мам, а почему она такая худенькая?»

Пташкина засмеялась.

В кабинет просунулась голова улыбающегося Глеба.

— Полина, ты видела? И никакой одышки. Я уже бегу, только давление ему проверю. Ты еще здесь? — Глеб отсутствующим взглядом скользнул по мне.

Я вдруг почувствовала себя лишней и абсолютно бесполезной здесь, в этом храме, где эти люди так истоково отвоевывали детям жизнь.

— Я просто хотела... Ты сам спросил: «Почему просто «Ольга» и на «ты»?» И я как раз и хотела... мне надо было спросить...

Я уже почти бежала за Глебом по коридору и все пыталась оправдать свой затянувшийся визит.

— Потом, потом... Тебе сюда нельзя. — Глеб остановился у входа в отделение. — Все. Я позвоню. Пока.

— Пока, — грустно попрощалась я с уже исчезнувшим Глебом.

Я вышла во двор, где гуляли, сидели на скамейках, лежали в прогулочных каталках больные дети. Их худенькие, бледные лица сразу напомнили мне «моих» детдомовцев. У этих детей и у тех были разные болезни, но еще неизвестно, какая была страшней. Те и другие были запрограммированы в жизнь со здоровым сердцем и легкими, нервной системой и другими внутренними органами, и отклонение от этой программы здорового ребенка, его болезнь были противоестественными. Так же в точности изначально природой узаконено при-

сутствие матери и отца рядом с малышом. Так было даже у животных. Так должно быть у людей. И нарушение этого закона природы тоже тяжелая форма болезни для ребенка. Болезнь, которая не под силу незрелой детской душе. Эта болезнь души лишает маленького человека естественности и гармонии развития, она неумолимо разрушает ощущение полноценности, она практически убивает в ребенке шанс сформироваться в личность и поселяет в глазах навсегда, как клеймо души, это особое недетское выражение.

Здесь, в этом больничном дворе, я впервые гуляла с Наташей после операции. Возила ее на каталке и, без устали рассказывая смешные веселые истории, со страхом следила за судорожными подрагиваниями ее полуприкрытых век. У меня буквально разрывалось сердце от жалости, когда я видела, какая она бледная по сравнению даже с самыми тяжелыми детьми. Только Глеб своим появлением вселял в меня надежду.

— Она... будет жить? — еле ворочая пересохшим языком, спросила я после нашего первого выезда на свежий воздух.

— Еще как будет! Просто обязана! — радостно отозвался Глеб.

— А почему... почему она такая... неживая?

Глеб подошел ко мне близко-близко, так что я почувствовала на своей щеке его дыхание, взял мою руку и, сжав ее в кулак, положил на свою ладонь.

— Потому что ее сердце совсем недавно лежало вот так. Здесь лежало, на моей ладони. А теперь прыгает на своем законном месте. Но это очень все не просто. И долго надо быть всем очень-очень терпеливыми.

Глеб разжал мой кулак и неловким движением прижал мою руку к своей щеке...

Потом с Наташей по очереди гулял весь наш курс. Мы установили график, и наши педагоги всегда отпускали нас с занятий.

Когда Наташу отправили в санаторий, мне даже стало не хватать прогулок в больничном дворе. А вскоре появился Гена.

Я присела на скамейку, вытащила из кармана юбки засунутый впопыхах целлофановый пакет от пирожков. Оттуда же вывалилось смятое направление для меди-

цинского обследования Гены Крылова. Направление Глеб забыл у меня взять, а обследование продолжалось уже неделю. По моей просьбе Глеб сам показывал его разным специалистам.

— Это необходимо для возможности усыновления, — объяснила я Глебу. — Так полагается. И потом на этом почему-то очень настаивает врач интерната.

— Это естественно, — сказал Глеб, — видимо, специфика интерната обязывает. Только почему этим занимаешься ты, непонятно.

Глеб пожал плечами и, как ему показалось, незаметно взглянул на меня исподлобья быстрым испытующим взглядом. Я упорно сверлила глазами висящую на стене схему человеческого кровообращения и чувствовала всем своим актерским нутром неестественность провисшей паузы...

...Мальчишка в нахлобученной всеильной ушанке проводил меня до дверей интерната. Потоптался нерешительно на крыльце. Я видела, что ему очень не хочется расставаться со мной.

— Хочешь провести Наташу? Она будет рада.

Гена задумался, потом внезапно тихо рассмеялся:

— Мне не разрешат.

— Не разрешат провести Наташу? Это почему же?

Гена сдернул варежки, связал одну с другой узлом и сунул в карман.

— Иначе теряю, — пояснил он. — Не разрешат, потому что у меня репутация подмочена. Я — непослушный.

— И в чем это проявляется, твое непослушание?

— Бегаю, — коротко ответил Гена.

— Куда... бегаешь? — не поняла я.

— А куда придется. — Гена снова тихо рассмеялся: — Меня поймут, вернут в интернат, я поутихну для потери их бдительности — и снова деру.

Больше нам не удалось обмолвиться ни одним словом. Высыпала на крыльцо полуодетая ребятня, загладели, заговорили все хором, втащили в вестибюль интерната, и, как я ни озиралась, Гены нигде не было.

Наташа была уже совсем здорова, ходила на уроки, даже занималась физкультурой, но жила пока не в общей спальне, а в изоляторе. Так решил интернатский врач. Подоспевший Алексей Ильич ласково обнял меня за плечи:

— Спасибо, Олечка, что не забываете. Сегодня ваши ребята уже были. Притащили Наташе всяческих разностей.

Наташа сидела в широком уютном кресле и листала какую-то книжку. Ее худенькие плечи покрывала голубая вязаная кофточка, выданная, видимо, на вырост, а рядом, на плюшевом подлокотнике кресла, оранжевела горка апельсиновых корок. Я схватилась рукой за дверной косяк. От изумления не могла двинуться с места — все так и было, как сказал этот мальчишка в шапке-ушанке. Я не видела ни Наташи, радостно взвизгнувшей при моем появлении, ни обступивших меня ребят. Мой взгляд был в состоянии фиксировать лишь два предмета: горку апельсиновых корок и голубую Наташину кофту.

«Хитрая голубая лиса» назвал свою сказку артист нашего театра Виталик Павловский.

Сказка была веселая, забавная, с множеством фантастических превращений, и никто из наших актеров не отказался сыграть даже крошечный эпизод в этой пьесе. Наша «Хитрая голубая лиса» была новогодним подарком для воспитанников интерната.

В фойе театра постановочная часть воздвигла фанерную горку, сказочный терем, в котором можно было поиграть в настольные игры, и работало множество различных аттракционов, за участие в которых самый находчивый получал приз. Призами были конфеты, мандарины, вафли.

Приготовив для предстоящей сказки костюм, еще раз проверив надежность длинного голубого синтетического хвоста, я выглянула в фойе. Замелькали перед глазами вылинявшие, застиранные платья, кофточки, штопаные-перештопанные колготки, брючки с вздувшимися пузырями на коленях. Зато каждый детдомовец был обут в парусиновые тапочки с блестками и на голове каждого был берет, расшитый елочными украшениями. Эти береты и эти тапки наш пошивочный цех строчил на машинках. Приготовления к елке совпали с выпуском «Чайки», и девочки из пошивочного, загруженные по горло работой, самозабвенно мастерили костюмчики, просиживая в театре далеко за полночь.

Непостижимое все же создание человек! Уж как



наш администратор — педантичный, хмурый Гудков — был против этой елки, а теперь вон активней всех с малышами с горки катается, шарики всем подряд надувает — того и глядишь, лопнет, и сияет сам как блин на сковородке.

Я уже хотела потихоньку уйти незамеченной и заняться гримом сказочной голубой лисы, как почувствовала, что кто-то тянет меня за рукав. Передо мной стояла малышка первоклассница, та самая, которая лелеяла в душе мечту стать актрисой. В потной ладошке она сжимала только что выигранный приз — фигурный леденец на палочке.

— Ольга Михайловна, это вам.

Я даже растерялась.

— Что ты, что ты, Светочка, ешь сама. Не надо.

Губы малышки скривились, в глазах заблестели слезы обиды.

— Пожалуйста, возьмите, — опустив голову, тихо попросила она.

Я взяла конфету, поцеловала девочку в щеку.

— Спасибо большое, я очень люблю леденцы. Даже удивительно, что ты угадала.

Света благодарно улыбнулась. А сзади нее уже тянулись ко мне десятки тоненьких детских рук с выигранными гостинцами:

— И у меня возьмите.

— Пожалуйста, у меня.

— Я тоже для вас выиграл.

— Ольга Михайловна, а я халву выиграла, это вам.

— А я мандарин...

Я просто не знала, что делать. Подаренные сладости уже не умещались у меня в руках, а дети выстроились в длинную очередь, чтобы отдать мне свои призы. Я понимала, что в них жила величайшая потребность отдать. Ведь только так могли они проявить свою неумелую благодарность. Отдать, поделиться тем малым, что они имели. Я подумала, что вряд ли у домашних детей может возникнуть такой великодушный и воистину неоценимый порыв. Выручил меня администратор Гудков. Всклопоченный, с красным потным лицом от надувания шаров, он возник рядом со мной и, сотворив скорбное выражение, обратился к детям:

— О неблагодарные! А мне неужели ничего не до-

станется! А кто вам надувал шары? А кто несмелых с горы катал?

Дети с восторгом ринулись наделять Гудкова подарками, а я ускользнула за кулисы. Прошла в гримерную, и уже через пятнадцать минут усилиями художника-гримера Танюши на меня лукаво поглядывала из зеркала коварная, остренькая мордочка голубой лисы.

— Можно начинать, Оленька? — заглянул в гримерную начиненный пряниками и конфетами Гудков.

— Да, конечно, если все готовы... Зайдите на минуточку, Stanisław Леонтьевич. Я очень благодарна вам за то, что вы так с ними прекрасно общаетесь. Правда, какой вы молодец! У вас просто талант! Я и не подозревала...

Лицо Гудкова расплылось в довольной улыбке.

— Я, знаете, всегда, в общем-то, хотел быть педагогом... или что-то в этом роде, чтобы с детьми... — Гудков тяжело вздохнул. — А жизнь, она, видите, по-своему распорядилась. А с детьми... Жалею я их очень. Всех детишек... А этих особенно.

— И это из-за жалости так сопротивлялись елке?

Гудков смущенно откашлялся:

— Я, знаете, боялся, что мы, взрослые, не на высоте окажемся. Ошибся... Каюсь. Все молодцы оказались: и пошивочники, и постановщики, а уж актеры — и говорить нечего! — Гудков вдруг необыкновенно оживился и заговорил, возбужденно размахивая руками: — Вы же главное чудо сейчас пропустили. Объявили выступление детей у елки. Ну, кто во что горазд. Кто песню спел, кто стишок продекламировал. А потом все ребята как начали кричать: «Пусть Крылов фокусы покажет!» Того долго уговаривать не пришлось. Вышел к елке парнишка лет двенадцати, раскланялся с чувством юмора, попросил, чтобы ему дали какой-нибудь небольшой, но запоминающийся легко предмет. Костюмерша Ира сняла с шеи кулон на цепочке. Он подержал в руке кулон, как бы запоминая его на ощупь, потом сказал, что сейчас отвернется и кто угодно из зрителей должен будет спрятать этот кулон на себе. Парнишка отвернулся, а его друзья ему на голову еще мешок водрузили — чтобы не подглядывал. Меня все это очень заинтересовало. Я в свое время еще мальчишкой Мессинга видел с его опытами... Кулон осветитель Дима Брыкин в карман спрятал. Парнишка скинул мешок, попросил всех встать в

круг и медленно двинулся внутри этого круга. Лицо у него при этом было очень интересное: веки опущены, крылья носа вздрагивают, как у ищейки, словно он принюхивается, по следу идет, и сосредоточенность какая-то, я бы даже сказал, нервная такая одухотворенность появилась. Безошибочно угадал он, что у Брыкина кулон спрятан. Все, конечно, в этом фокусе усмотрели какой-то обман, якобы сговор существовал. Потребовали еще повторить. А мне не понравилось, что парнишка побледнел очень после этого своего фокуса, и я быстренько всех на игру в мешки организовал.

— А вы, когда уходили из фойе, не обратили внимания, чем занимался этот Крылов?

Гудков усмехнулся:

— Этот Крылов, утратив всю одухотворенность, скакал в мешке, умудряясь при этом сбить с ног своего соперника. Вообще, видать, хулиганистый парнишка.

Хулиганистый Крылов ждал меня у служебного входа в театр. Я испуганно взглянула на часы:

— Ты чего? Знаешь, который сейчас час?

Гена ухмыльнулся:

— Одиннадцатый, наверное. Ты особо не переживай, меня все равно не ждут.

— Опять сбежал? — с отчаянием спросила я.

— Не сбежал, а временно воспользовался свободой. — Гена лукаво взглянул на меня. — Я от коллектива балдею. Мне передохнуть необходимо.

— Но ведь ты же был вчера на елке...

— То было вчера. И именно вчерашняя скученность моих сожителей довела меня до очередного выхода на свободу.

Я поморщилась.

— Ты так говоришь, будто отбываешь какое-то заключение.

Гена вдруг резко перебил меня:

— А ты не суди о том, чего не знаешь. Для кого как! Для меня — именно место заключения.

— Слушай, как ты разговариваешь со мной? — взвилась я.

— Так, как ты этого заслуживаешь, — строго ответил Гена и тут же ласково улыбнулся: — Ладно, ты не психуй. А то голова еще больше разболится.

Я даже задохнулась:

— Откуда... почему ты... правда, болит.

В вестибюле служебного входа слышались голоса, и я торопливо схватила Гену за руку:

— А ну пошли отсюда, быстрей.

Я поволокла Гену в слабоосвещенный скудным светом фонарей сквер за зданием театра, плюхнулась на запорошенную снегом скамью. Гена садиться не стал. Он стоял передо мной вполоборота, и печальный свет фонаря придавал его лицу какую-то утомленную загадочность.

— Чуть рукав не оторвала! — с осуждением произнес Гена, не поворачиваясь ко мне и думая о чем-то совсем другом.

— Не надо было сопротивляться!

Гена нагнулся вяло, словно нехотя сгреб снег, слепил тугой снежок.

— А у меня, когда я на свободе бываю — вдруг жуткие приливы независимости возникают, — Гена откусил снежок. — А ты вдруг — за рукав...

— Ты же, наверное, есть хочешь, — спохватилась я. — Я сбегая в театр — у нас на этаже в холодильнике всегда сыр и молоко есть. — И вскочила со скамейки.

Но Гена попросил меня тихо:

— Подожди... Сейчас сходишь... Я хотел тебя спросить... Можно?

Я удивленно пожала плечами, снова опустилась на скамейку.

— Можно...

— Этот вот врач... который делал Наташе операцию и вместе с тобой приходил навещать ее... Ты что... любишь его?

Я молчала, а Гена снова откусил от снежка и, размахнувшись, ловко запустил им в фонарь. Коротко выстрелил фонарь лопнувшей лампочкой, сразу погрузнели, осунулись причудливые очертания заиндеветых деревьев.

— А ты и вправду хулиган, Крылов, — я беспомощно потеряла виски.

— Этот факт не подлежит сомнению. — По-кошачьи полыхнули двумя искорками в темноте глаза Гены. — Я тоже буду врачом. Только лечить буду по-другому.

— Как?

— А вот так... Иди теперь.

Я сделала два шага и остановилась.

— Ну люблю. И что?

— Потом скажу...

— А где ты ночевать будешь? Когда ты «временно пользуешься свободой», где ты обитаешь?

Гена засмеялся:

— Меня так быстро вылавливают, что постоянного места обитания не имею. Ты за меня не беспокойся. Не в первый раз. У меня все отлажено.

Я подошла к мальчику, виновато заглянула ему в глаза.

— Ты ведь понимаешь, что я никак не могу позвать тебя к себе...

— Понимаю, не надо, — перебил Гена. — Все, что про тебя, — я понимаю. Я тебя давно знаю.

Мне опять стало страшно, как тогда, когда Гена рассказывал мне о том, чем занимается девочка Наташа. Он словно почувствовал, что мне не по себе, и замолчал, словно споткнулся об этот мой страх.

Гена выудил из кармана связанные узлом варежки, не спеша натянул на замерзшие руки.

— Я, правда, очень устаю от людей, — заговорил он, и я в который раз изумилась его взрослости. — Может быть, даже есть такая болезнь — когда устаешь от людей. Мне кажется, у меня даже жар бывает. Я, правда, весь горю и чешусь, когда долго с ребятами. А вместе надо с утра и до ночи. Все вместе... — Гена тяжело вздохнул. — Всегда... Я иногда из-за этого драться начинаю. Меня тогда наказывают... одиночеством.

Я стянула с мальчика варежки, сжала горячими ладонями его промерзшие руки. Из всех сил пытаюсь сдержать слезы, я наклонилась и задышала на его руки. Гена осторожно выпростал руки, снова натянул варежки. В темноте строго глянули на меня его взрослые глаза.

Я двигалась к зданию театра и спиной чувствовала взгляд мальчика. От этого взгляда с затылка по всей голове разлилось блаженное тепло. Загорелись уши, и от этого жара словно закололо иголками.

Из холодильника я выгребла все съестные припасы. Подходя к скверу и напрягая изо всех сил глаза, чтобы приучить их после света к темноте, я не увидела, а чуть-ем поняла, что его уже нет. Подошла к скамейке. За-

чем-то обошла ее несколько раз, словно водила какой-то бессмысленный хоровод. Тихо позвала:

— Гена!

Пушистыми невесомыми хлопьями повалил снег. Снежинки бережно касались горящего лица и мгновенно таяли. Они словно экономили мои слезы, пропитывая лицо влагой, которая им доставалась легко и бездумно. Из моей головы, вильнув легким хвостиком, улетучилась последняя боль. Словно никогда ее и не было.

— Гена, — снова чуть слышно сказал я, — у меня совсем прошла голова. Спасибо тебе.

Мне никто не ответил, но я даже не сомневалась, что все равно он услышал.

«В главное управление здравоохранения исполкома Мосгорсовета от Крыловой Антонины Владимировны» — было написано по-детски круглым крупным почерком на листке из школьной тетради в клеточку.

### З а я в л е н и е

Прошу Вас принять ребенка Крылова Геннадия Сергеевича 1972 года рождения в Дом ребенка временно. Я живу в общежитии, где кроме меня в комнате проживают еще два человека. До тех пор, пока я не буду иметь жилищных условий для воспитания ребенка, взять его не смогу. Я являюсь матерью-одиночкой. Я думаю, у меня есть все основания отдать ребенка на временное воспитание государству».

Я захлопнула папку, где хранилось личное дело Гены. Открыла другую. Среди прочих бумаг — результатов медицинских обследований, школьных характеристик — нашла заявление матери, составленное в роддоме: «Прошу вас принять ребенка Самсонову Наталью Алексеевну 1976 года рождения в Дом ребенка для последующего ее удочерения. Разыскивать Наташу либо требовать я никогда не буду. От родительских прав на Наташу я отказываюсь навсегда и никогда не буду предъявлять претензии по удочерению. У нас двое детей. Муж со мной развелся, не работает, алиментов не платит. В настоящее время находится в больнице».

Надо мной склонилась молоденькая воспитательница Юля, заглянула в дело Наташи Самсоновой.

— Действительно больше никогда родители не появлялись? — спросила я у Юли.

— Как бы не так! — она хмыкнула зло, быстро перебирая пальцами, заплела в тугую косичку распущенные по плечам волосы. — Все наоборот. Мать Крылова действительно никогда больше и не вспомнила о существовании сыночка. А его на основании этого самого «временно отказываюсь» не имели права отдать на усыновление. А Самсонова, так сказать, маманя появилась, когда Наташе было три года. Сообщила, что они с мужем снова решили расписаться, поэтому она заберет домой Наташу и остальных двух детей, которые, кстати сказать, в других Домах ребенка воспитывались.

— Ты ее видела? — перебила я Юлю. — Какая она?

Юля насмешливо взглядела в мое взволнованное лицо.

— Видела, как же, имела честь. Это было как раз в первый год моей работы здесь. Не беспокойся, нормально выглядит. Как ни странно, вполне человеческий облик имеет.

Я вспомнила бледную, измученную Наташу после операции и ощутила, как болезненными толчками бьется во мне и не находит выхода жуткая ненависть к той женщине.

— Я бы расстреливала... — пробормотала я сквозь зубы.

— Что? — не расслышала Юля.

— Какая, спрашивается, польза в жизни будет от такой... Всюду плодить грязь... С этого, может быть, фашизм начинается. Если от своего ребенка так... запросто, то уж что говорить об отношении к чужому... Ужас какой-то...

Я стиснула ладонями голову.

— Ужас, — согласилась Юля. — Только ты послушай дальше. Взяла, значит, эта гнида справки обо всех детях, якобы для прописки. Получила трехкомнатную квартиру — и привет! Пропала! Потом, правда, с этим уже милиция разбиралась... Я тоже тогда уяснить никак не могла. Ну, получила трехкомнатную квартиру... И что в ней делать? Без детей. Одной...

— Или клеймо на лоб, если не расстреливать. Чтобы всему миру напоказ, чтобы шарахались как от прокаженной!

— Ладно, не бушуй! — Юля забрала папки, расста-

вила по полкам в шкафу.— Чего спросить хотела?

— Откуда ты знаешь? — удивилась я.

Юля хмыкнула, насмешливо похлопала меня по плечу:

— Не из любознательности же ты попросила посмотреть эти папки?

Некоторое время я молчала, собираясь с мыслями, потом сказала:

— Если ты такая умная, скажи, а как же, если его нельзя усыновить?

— Сколько тебе лет, Ольга?

— Двадцать два. А что?

— Все это не так просто, вот что. А вообще эти вопросы решает Алексей Ильич. Зайди к нему.

— Двадцать два... — задумчиво повторил директор интерната.

Я сидела перед ним, как благовоспитанная школьница, сложив руки на коленях и придав своему лицу самое серьезное из всех выражений, которыми я располагала. «Ты жутко смешная, когда у тебя такое серьезное лицо» — промелькнули в голове сказанные когда-то Глебом слова, и я беспокойно заерзала на месте.

— Скоро двадцать три, — поспешно пояснила я.

Мои слова прозвучали совсем некстати. И вообще я явно суетилась.

Алексей Ильич оценивающе окинул взглядом мою худосочную фигуру, и на миг в глазах его промелькнуло недоверие.

— Простите, Ольга Михайловна, а вы замужем?

Он, видимо, очень ждал от меня утвердительного ответа, по крайней мере, об этом сообщили мне его всегда виноватые глаза.

— Да... То есть нет... не совсем.

Алексей Ильич вздохнул и опустил голову.

— Нет, я не замужем, — внятно сказала я, словно предыдущего сбивчивого ответа и не существовало. — И самое главное — никогда не выйду замуж.

— Это почему же? — искренне удивился Алексей Ильич.

— Потому что человек, которого я люблю, никогда на мне не женится. Поэтому.

Алексей Ильич совсем растерялся. Его руки торопливо засновали по столу, выполняя массу необязатель-



ных движений. Он сгибал и разгибал какой-то полуисписанный лист бумаги, перекладывал с места на место стопку школьных тетрадей, отлистывал перекидной календарь и зачеркивал уже никому не нужные, прошлогодние дела.

— Вы только не расстраивайтесь за меня, — успокоила я разволновавшегося директора интерната. — Я уже давно привыкла к этой мысли. Что ж поделаешь, если я обречена на это. Каждый на что-нибудь обречен. Я, если хотите знать, даже неплохой актрисой стала из-за этого... Ведь благополучному человеку в театре трудно. «Из обманутого ожидания выгадать поэзию». Что-то в этом роде и со мной происходит.

— Да, да, я понимаю, — еще больше разволновался Алексей Ильич.

А меня словно понесло. Я говорила и только лишь в каких-то самых отдаленных уголках сознания понимала, что говорю сейчас, по сути дела, с чужим, незнакомым мне человеком. Но еще, наверное, никто и никогда не смотрел на меня такими виноватыми и всепонимающими глазами...

— Я, знаете, раньше жутко была нетерпеливой, — говорила я, — совсем, ну, понимаете, абсолютно не умела терпеть. Он меня и к этому приучил. И видите, как все завязано. Если бы не это, я бы никогда не поняла так глубоко безнадежность и одновременно какую-то духовную возвышенность слов Нины Заречной в чеховской «Чайке». Я ведь говорила вам, что Заречную репетирую?

Алексей Ильич поспешно кивнул, воздел вверх суетливые кисти рук, словно восхитился благосклонностью судьбы в распределении ролей.

— Знаете, что я, то есть Нина, говорю в финале? Она, то есть я, говорит Треплеву: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем, — главное, не слова, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Я, когда мы начали репетировать эту сцену, все время плакала. А потом слезы ушли куда-то, спрятались, и мне стало так вымученно трудно говорить эти слова. У меня теперь сухие глаза, когда я играю эту сцену, только во рту горько... а те, кто смотрят репетицию, плачут... Вы

только не подумайте, Алексей Ильич... У него просто свои требования к себе и к людям. Жесткие. Но зато определенные. Он себя совсем, ну вот ни капельки не щадит и, знаете, просто не выносит, когда видит, что другие себя жалеют... Видите, вот говорю с вами и сама чувствую, что уважаю его ужасно и понимаю... А когда вижу его — такой себя чувствую беспомощной и слабой, что говорю ему сплошные глупости, постоянно обвиняя в чем-то... одним словом... лишаюсь напрочь индивидуальности... И знаете, о чем я просто мучительно думаю последнее время?! Гену Крылова надо непременно перевести в домашние условия, — без всякого перехода заявила я.

Алексей Ильич растерянно заморгал, не улавливая связи, но я тут же ринулась ему на помощь.

— Я только что говорила о человеке... неординарном, так скажем — о личности. Но ведь, Алексей Ильич, миленький, Гена — тоже личность. Он... особый. С ним никак нельзя, как со всеми. Я бы ни за что на свете не сказала вам о том, что сейчас скажу, потому что это Гена мне говорил... Но ведь только вы можете сейчас решить его участь, его судьбу. Ему невыносимо трудно в коллективе, среди ребят. Он устает... нет, не то, он... страдает от этого. Я уже поняла ваш вопрос о моем возрасте. Но я живу с бабушкой. Так получилось, что родители — отдельно, а я с бабушкой. Она у меня вполне бодрая. Молодая еще бабушка. Я говорила с ней. Она тоже согласна. Так что... Правда, он же не придумывает. Он не виноват, что не может как все... Это — трагедия...

Я замолчала и, затаив дыхание, не сводила глаз с директора интерната.

Ответ последовал очень не скоро. Алексей Ильич вдруг словно забыл о моем присутствии. Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по кабинету, каждый раз неуклюже цепляя ногой край ковра и суетливо взмахивая при этом своими длинными руками. Потом сел, нервно закурил сигарету, но она тут же потухла. Алексей Ильич укоризненно взглянул на меня, словно это я потушила ему сигарету, и снова чиркнул спичкой:

— Трагедия... у нас здесь, понимаете ли, милая Ольга Михайловна, другого жанра, как там по-вашему, по-театральному, не наблюдается. Трагедия на трагедии... — Алексей Ильич поспешно затаился, как бы опасаясь,

что сигарета в моем соседстве не сможет раскуриться.— Александр Блок умер от расширения сердца. Знаете, конечно? Его когда вскрыли — оказалось, сердце не вмещалось в грудной клетке, ему было тесно в груди поэта. Это символично. Его сердце не могло больше вмещать в себя страданий и боли человеческой. Вы не думайте, я не сравниваю себя с Блоком, отнюдь. Он для меня величина недосыгаемая. Но я чувствую, что, ей-богу, мое сердце уже тоже скоро перестанет помещаться в груди. Я иногда физически ощущаю, какое оно болезненное и разбухшее... Я не знаю вашей бабушки, но заочно благодарен ей.

— За что? — вырвалось у меня удивленно.

— За сострадание.— Алексей Ильич взглянул рассеянно на длинный столбик пепла, увенчавший его сигарету, и, поискав глазами пепельницу, стряхнул столбик себе в ладонь.— Это великое качество для современного человека. Сострадать мимолетно нельзя... не получится. Значит, это то чувство, которое способно человека выдрать из нашей суеты, беготни, всей этой круговерти. Заставить сосредоточиться, подумать, оглядеться... Это уже много... Ну, конкретно дело обстоит так. Можно постараться оформить ваше опекуновство над мальчиком. Усыновление невозможно...

— Из-за того, что она двенадцать лет назад пообещала в заявлении, что заберет его когда-нибудь? Что отказ временный?

— И это тоже...

— Но ведь это же абсурд! — задохнулась я.

Алексей Ильич устало потер переносицу и сразу почему-то напомнил мне Глеба.

— Абсурда хватает, — согласился он. — Но дело не только в этом...

— А опекуновство — это как?

— Вы сможете брать мальчика на субботу и воскресенье, на все каникулы, включая летние, но учиться и жить все шесть учебных дней он будет в интернате. Я скажу вам, куда надо пойти и какие документы оформить для оформления опекуновства, но, прошу вас, до окончательного решения не водите мальчика к себе домой и ничего не говорите...

— Алексей Ильич... — я мучительно подыскивала слова и злилась на себя за то, что не могу выговорить элементарное.

А он снова смотрел на меня своими мудрыми глазами и терпеливо ждал, когда я спрошу его: «А если я найду его мать и она откажется от него на этот раз навсегда?..»

— Глеб Евгеньевич на обходе, — сообщила мне дежурная в приемном покое и снова прижала к уху трубку местного телефона. — Что сказать-то? Когда освободится?

В трубке что-то засвиристело, и сестра, мимолетно окинув меня взглядом, сообщила:

— Да жена вроде бы...

«Вроде бы жена», это ничего. Как раз то, что надо, чтобы всегда чувствовать себя в порядке. Чтобы никаких комплексов — пронеслось в голове, и я, все еще ощущая на себе вопросительный взгляд, нечленораздельно хмыкнула:

— Знакомая, скажите, просто. Я подожду. Пусть потом спустится.

— Да нет, говорит «знакомая». Передай тогда. Она будет ждать.

Медсестра положила трубку, с любопытством уставилась на меня.

— А вы вроде к нему уже приходили. Вот я и подумала...

— Если спустится, я — на улице.

Я поспешила закруглить наш диалог, грозящий перерасти в вечер вопросов и ответов. Вышла из приемного покоя, села на скамейку. Тут же прямо на голову мне сплотивался скомканный фантик. Из распахнутого больничного окна на втором этаже послышался с трудом сдерживаемый детский смех. Я улыбнулась, разглядела на колене фантик, громко прочла:

— «Маска». Мои самые любимые конфеты. Угостили, называется...

Смех умолк, и через некоторое время шоколадная конфета плюхнулась рядом со мной на скамейку.

— Спасибо, — сказала я.

— Пожалуйста, — пропищал в ответ тоненький голос. — Хотите «Театральную», она сосательная. Хотите?

— Да нет. «Театральную» я, пожалуй, не хочу, — усмехнулась я.

— А вы к кому пришли?

Я встала, подняла голову. Из окна на меня смотрели четыре круглых одинаковых глаза.

— Господи! — я даже поперхнулась от удивления. — Вы близнецы, что ли?

— Двойняшки Сазоновы, — хором сообщили мне малыши. — Мы scarлатиной бодем. Только мы уже не разные, вы не бойтесь.

— А я уже болела scarлатиной, — успокоила я двойняшек, — так что мне бояться нечего.

Глаза двойняшек округлились еще больше, и они, перебивая друг друга, закричали:

— У нас в группе Грибков два раза болел!

— Разве так бывает? — удивилась я.

— Бывает. Редко. — ответил за моей спиной голос Глеба. — Марш от окна. Уже сыро.

Отдав команду близнецам, Глеб взбежал на крыльцо, крикнул в приемное отделение:

— Соня, намери инфекционное, будь добра. Пусть проследят, чтобы в боксе окно на шпингалет закрыли.

Глеб повернулся наконец ко мне, и несколько бесконечных секунд я имела возможность не делить его ни с кем, принять в единоличное владение его улыбку и чувствовать на своих плечах его добрые руки.

Глаза мои моментально наполнились слезами. Глеб притянул меня к себе, проворчал ласково:

— Не вижу повода.

— Я соскучилась...

— Так это же хорошо.

— А ты?

— У нас здесь не заскучаешь.

Я резко вздернула плечи, высвобождаясь из его рук.

— То, что «у вас», — это меня не волнует. У кого это «у вас», интересно? Может, у вас с Пташкиной?

— Олень, ты у меня совсем дурак! И за что мне это?

Глеб шутливо воздел руки к небу, а на крыльце, как будто действие разворачивалось в пошлой мелодраме, появилась Пташкина.

Свершив короткий бросок своими «блюдами» в нашу сторону, она в секунду рассмотрела конечно же и слезы на моих глазах, и виноватый взгляд Глеба, и минимальную дистанцию между нами.

— Привет вам и пока! — бросила она свысока и прошествовала своей царственной походкой по больнично-

му двору. Шагах в десяти от нас она остановилась и крикнула: — Данилов, насчет путевки не горячись. Отказаться всегда успеешь. — И, неторопливо перебирая своими высокими, стройными ногами, она двинулась к воротам.

— Красивая... — не удержалась я, заворуженно глядя ей вслед.

— Красивая, — согласился Глеб, — но абсолютно не в моем вкусе.

Почувствовав, как возликовала от его слов моя убогая душа, я ужаснулась своей примитивности. А Пташкина, словно поняла, что говорят о ней, недовольно повела плечами и скрылась за воротами.

Глеб сидел на скамейке, провожая Пташкину насмешливым взглядом, а под глазом трепыхалась беспокойная жилка.

— Тебе надо отдохнуть, Глеб, — тихо сказала я. — От какой еще путевки ты отказался?

Глеб потянулся так, что хрустнули суставы рук:

— Я отказался от отпуска, а соответственно, и от путевки.

— Как? — ужаснулась я. — Но ведь в прошлом году ты не отдыхал...

— Я, к счастью, работаю не для того, чтобы дожидаться наконец-то спасительного отпуска, — резко ответил Глеб. — Мне отдых нужен для того, чтобы нормально работать. А если у меня и так все в норме — зачем мне он нужен! Я не могу оставить отделение. — Глеб жестко усмехнулся. — Мне здесь чудак один жаловался, что он не сможет перенести общего наркоза по той причине, что никак не может себе представить, что с ним будут что-то делать вне его сознания, без его собственного участия в этом процессе. У меня аналогичные ощущения. Не могу себе представить, что здесь что-то будет происходить без меня. Я устаю без работы и совсем изведусь, если уеду. Я не устал...

Я подошла к Глебу, прижала палец к бьющейся жилке под глазом.

— Не устал? А это?

— Это... — Глеб взял мою руку и несколько раз погладил моей ладонью свое лицо. — Это свидетельство того, что я — живой. — Глеб бережно дотронулся губами до моего носа: — Так же как свидетельство твоей жизнеспособности — вполне горячий нос.

— Что же, я щенок, что ли, какой-нибудь?

Я обхватила шею Глеба, услышала, как бьется его сердце.

— Не какой-нибудь, а самой что ни на есть отборной дворянской породы. Тебе передавали в театре, что я звонил?

— Неужели удостоилась такой чести?! Нет, не передавали.

Я опять несла бог весть что, но Глеб конечно же сделал вид, что в этот момент ему заложило уши. Он правильно делал, мой мудрый Глеб, что не воспринимал моих идиотических высказываний, которые в конечном счете унижали меня.

В ворота больницы, почти не притормаживая, внеслась на сумасшедшей скорости, мигая тревожной синей лампой, «скорая». В одну секунду Глеб словно испарился. Когда я повернула голову к крыльцу, он уже что-то торопливо спрашивал у врачей, вынимавших из машины носилки с ребенком.

Следом за носилками из машины выпрыгнула Пташкина.

«Наверное, до угла переулка дойти не успела...» — мелькнуло у меня в голове. Нарядное платье Пташкиной задралось, открывая красивые сильные колени, но этого не видели ни она, ни Глеб, который, сопровождая носилки, задержался на мгновение у дверей, слушая какие-то торопливые слова Пташкиной, звучавшие, как отдающиеся ему, Глебу, приказания. Он всегда благоговейно внимал ее словам. «У нее зверская интуиция», — сказал мне как-то о Пташкиной Глеб. Видимо, для врача это было не последнее дело, когда такая интуиция окрыляла знания, опыт, талант. Все это было в Пташкиной. И еще у нее были длинные ноги и глаза... И еще обаяние, против которого я лично устоять не могла. Это было какое-то возмутительно насильственное обаяние. У меня были все основания не любить ее, а я ею восхищалась.

На крыльцо выглянула медсестра из приемного покоя, дружелюбно махнула мне рукой. Я подошла.

— Глеб Евгеньевич велел пройти к нему в кабинет. Он сейчас придет. Ребеночка в ожоговое повезли.

Я знала цену словам Глеба «скоро вернусь», когда дело касалось его больных. Настроившись на долгое ожидание, для начала я решила посмотреть новые по-

ступления детских фотографий под стеклом письменного стола Глеба. Почему-то все родители не сговариваясь приносили ему фотографии своих детишек. Наверное, это был какой-то непостижимый внутренний психологический закон. На меня глянули десятки ребячьих глаз. Почти все дети улыбались, лишь на лицах немногих не было улыбки, и долгая болезнь легкой тенью омрачала глаза ребенка.

На этот раз я ошиблась. Глеб появился совсем скоро.

— Нормально. Там Полина, — сообщил он, появляясь в двери.

— Но у нее же дежурство кончилось, — я привстала с кресла, испытывая неудобство, что сижу за его столом.

— Сиди, сиди, — удержал меня за плечи Глеб, насильно ввинтил обратно в кресло. Произнес задумчиво: — У ее совести, слава богу, круглосуточное дежурство.

Он вытянул за корешок лежавшую под бумагами историю болезни, полистал ее и, словно продолжая давно начатый разговор, сказал:

— Так что мы закончили обследование Гены Крылова. Вот здесь все необходимые данные. — Глеб почему-то вздохнул. — Я бы хотел поговорить с тем, кто хочет усыновить мальчишку.

Я почувствовала, как сердце бешено сорвалось с места и запрыгало, проделывая не меньше ста ударов в минуту. «Стоп!» — мысленно приказала я себе и, с трудом переводя дыхание, как после бега на длинную дистанцию, попросила:

— Глеб... а мне нельзя сказать?

— Я повторяю — с тем, кто хочет усыновить мальчишка, — резко ответил Глеб, к счастью, не отрывая глаз от истории болезни.

— Хорошо, — послушно сказала я. — Сейчас... Ты подожди.

Я исчезла за дверью, унося с собой удивленный взгляд Глеба. Медленно дошла до конца длинного коридора, упирающегося в огромное полукруглое окно. Вечернее звездное небо, кокетливо изогнувшись, выглядывало в это полукружье.

Было тихо в больнице, тихо за окном. И в себе я вдруг почувствовала непривычную тишину. Мое раскодившееся сердце словно кто-то заботливой бесшумной рукой запеленал в вату, и оно уже не прыгало, а просто коротко тыкалось в мягкую ватную плоть. Жестко и



трезво, как последние слова Глеба, глядели на меня холодные звезды.

Я подумала, что, может быть, сейчас на эти же самые звезды смотрит, запрокинув свою непутевую голову, Гена и мечтает об одиночестве...

Я повернулась и, пройдя по бесконечному коридору, открыла дверь кабинета. Остановилась на пороге и не мигая смотрела ему прямо в глаза. Глеб вздрогнул. Его длинные глаза какое-то время словно проверяли что-то во мне, ранее подвергавшееся сомнению. Потом Глеб коротким движением сдернул передо мной свою врачебную шапочку.

— Прости... — чуть слышно сказал Глеб. — Я просто остолоп.

«Мне очень страшно жить», — призналась я как-то Глебу.

Помню, как неодобрительно он хмыкнул и, не глядя на меня, спросил: «Почему?»

— Я боюсь неожиданностей, которые уготовит мне жизнь... я боюсь болезней родных мне людей... боюсь бабушкиной старости, не потому что будет трудно мне, а потому что ничем не смогу ей помочь, не избавлю ее от немощности, от мучений, мне страшно за каждого малыша из детского дома... и потом... я боюсь за тебя, Глеб.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, которым только он один умел смотреть. От такого его взгляда во мне всегда начиналась тихая паника. Когда он так смотрел, я отчетливо ощущала, как уходит время. Мне никогда не было покойно с Глебом. Но когда он так смотрел, я понимала, что он знает нечто такое, чего не дано знать ни мне, ни моим друзьям — никому. И что никогда ему не поделиться этим знанием с кем-либо. Это его бремя, и, кто знает, может быть, оно дано за то высшее напряжение в борьбе за человеческую жизнь, за то участие его духа в отвоевывании малышей у смерти. Только в наказание или в награду ему это знание? На этот вопрос ответа не было.

Возможно, именно это знание лишало Глеба какого-либо чувства страха. А потом он как бы жил в другом измерении, где то, что зачастую является пиком человеческого страха, — смерть, была им осознана, понята и

зачислена в хитроумного, многоликого противника. Он зачастую одерживал над ней победу. И, пережив стремительно упоение победителя, трезво анализировал всегда неожиданную ситуацию этого единоборства, еще и еще раз проверяя свои просчеты и казня себя за эти промахи беспощадно и зло.

— Ты же не можешь предвидеть всего... — растерянно возразила я ему как-то.

— Обязан! — почти выкрикнул Глеб, отвечая больше себе, чем мне.

И вот теперь, вышагивая рядом с Глебом по спящим улицам Москвы, я пыталась хоть как-то упорядочить в себе ту новую неожиданность, которой час назад «одарила» меня жизнь.

«У мальчика отмечается судорожная готовность», — час назад сказал мне Глеб.

Судорожная готовность... Я и понятия никогда не имела, что существует такое словосочетание, такой медицинский термин, верней, диагноз, который так цинично просто отнимет у меня Гену. Готовность его мозга в любой момент перейти в форму эпилептического припадка. Один лишь раз, один лишь срыв, и припадок спровоцирует, разовьет болезнь, создаст систему.

Сначала я совсем не понимала ничего из того, что говорил мне Глеб. А он, читая в моих глазах это непонимание, терпеливо втолковывал мне одно и то же разными словами.

— У мальчика начинается переходный возраст. Этот возраст бурного развития организма опасен для судорожной готовности. Любой стресс несет с собой возможность начала эпилепсии. Он никогда, понимаешь ли ты, ни-когда не жил в домашних условиях. Более того, он даже никогда не был ни у кого в гостях. Я спрашивал Гену об этом. У него не существует реального образа дома. Только Дом ребенка со спальнями, вмещающими десятки кроватей, только столовая со множеством столов, только режим, одинаковый для всех. Что же может явиться для него стрессом? Подумай сама. Стрессовую ситуацию создаст новый образ жизни. Всего, что я говорю, может и не произойти. Но рисковать этим не стоит. Нельзя. То чувство вины, которое возникнет у тебя, случись с мальчиком беда, будет несоразмерно больше, чем та вина, которую ты испытываешь сейчас. Он ведь ничего не знает?

Он не знает. Я мысленно поблагодарила Алексея Ильича за строгое предостережение не водить пока мальчика домой и пока ни о чем не говорить с ним. Теперь это самое «пока» оказалось спасительным. А как меня подмывало заявить торжествующе Гене о том, что скоро он будет избавлен от того, что так тяготит его. Два дня в неделю он сможет быть один. Читать, думать, играть, распоряжаться своим временем...

Совсем недавно в интернате произошло событие, которое всех взволновало и поразило.

Первоклашка Сережа Павлов рассек лоб, и его, залитого кровью, притащили в интернат с улицы перепуганные насмерть ребята. Врача уже не было. В тот вечер дежурила в интернате Юля. Она вызвала «неотложку», а Сережу уложила на диван прямо в холле и пыталась промыть рану. Сережа орал и не давался. Но, главное, как рассказывала Юля, никак не останавливалось кровотечение. Рядом с ней все время находился бледный, взволнованный Гена Крылов. И когда отчаявшаяся Юля поняла, что выход один — ждать «неотложку», Гена тихо подергал ее за рукав и попросил:

— Скажите ребятам, чтобы все ушли.

Растерянная Юля машинально выполнила просьбу мальчика. Сама выбежала на крыльцо посмотреть, не приехала ли «неотложка». Когда вернулась в холл, Сережа уже не плакал. Его окровавленное лицо было чисто вымыто, а из раны совсем перестала сочиться кровь. Оторопевшая Юля спросила у Гены, который сидел рядом с диваном и спокойно опускал закатанные рукава рубашки:

— Это ты сделал?

— Я, — пожал плечами мальчик.

— А как же тебе удалось остановить кровь?

Гена снова пожал плечами и двинулся к двери.

— Не уходи, Ген, — захныкал Сережа. — Опять будет больно.

Гена вернулся к дивану, взял малыша за руку, произнес, словно приказал:

— Не будет! Главное, не бойся.

Юля поступила опрометчиво, оповестив весь интернат об этом происшествии. Теперь все пострадавшие бежали к Гене за помощью. Кто разбил коленку, кто расквасил нос, у кого живот заболел.

Я спросила как-то Гену:

— Тебя очень утомляет быть... «скорой помощью»?

— Совсем нет, — даже удивился Гена моему вопросу и прибавил задумчиво: — Я ведь теперь «не бегаю»...

Сейчас, цепляясь за это пришедшее на ум воспоминание, я рассказала его Глебу, который молчаливо поглядывал на меня искоса и не прерывал моего лихорадочного течения мыслей. Рассказала в надежде услышать: «Ну вот, видишь, не так все страшно. Он почувствовал свою нужность среди ребят, свою, если хочешь, миссию».

Но Глеб никогда не оправдывал моих ожиданий. Он, как всегда, внимательно слушал меня, чуть склонив по привычке голову к левому плечу. Потом, задумчиво растягивая слова, произнес глухо:

— Жаль парня...

И все. И больше я ничего не услышала себе в утешение. Впрочем, мое отчаянье было так беспредельно, что я не искала избавления от него. Меня словно припечатало к земле какой-то неведомой силой, и я не сопротивлялась, не пыталась сбросить с себя эту сковавшую меня тяжесть. Слишком серьезно было то, что я услышала от Глеба, чтобы обольщаться надеждой на облегчение.

— Он выглядит старше своего возраста, — так же задумчиво сказал Глеб.

Перед глазами отчетливо всплыло лицо Гены. Его глаза с недетским выражением, обладавшие даром глядеть прямо в душу. Его ломкий, захлебывающийся от волнения голос. Мальчишечьи руки в ссадинах с тонкими пальцами, постоянно находящимися в движении. Его совершенно детские фантазии.

«Я каждую ночь бываю в своей стране. За мной приезжает амфибия, потому что эта страна находится под океанским дном. Там уже нет воды, но надо пройти всю океанскую толщу, чтобы туда попасть. Собственно, это не совсем амфибия, в ней есть и вертолетное устройство. У нас в стране все машины такие. Каждый человек умеет водить машину, даже дети. Они еще ходить не умеют, а уже сидят за рулем и летают по воздуху».

— И взрослые доверяют им такие сложные машины? — включилась я в игру.

— Конечно. В этих машинах автоматическое управление. И еще у нас там бесплатные мороженое и жвачка. Этого добра у нас полным-полно, на каждом углу.

— Здорово там у вас, — вздыхала я. — Вот бы попасть туда хоть разочек.

— Ну что ж... — Гена окидывал меня оценивающим взглядом. — Очень может быть. Я думаю, что ты выдержишь компьютерное испытание.

— А что это такое?

— Ну, как тебе объяснить... Это такая... очень сложная установка, которая определяет, добрый человек или нет. У нас там живут только добрые люди.

— Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, какое самое высочайшее достижение, которого добились ваша страна? — поинтересовалась я как-то.

Гена долго и серьезно обдумывал мой вопрос. Потом, глядя куда-то в сторону, сказал тихо:

— У нас нет детских домов...

Все это пронеслось в голове, и я с запозданием ответила Глебу.

— Он просто особенный ребенок, а в общем-то вполне соответствует своим двенадцати годам.

Я никогда не рассказывала Глебу о том, что мальчик умеет успокоить в человеке боль, может каким-то невероятным чутьем отыскивать спрятанную от него вещь, способен мысленно увидеть, чем занимается другой человек.

Глеб сердился, когда я заводила с ним подобные разговоры. Это казалось мне странным, потому что как-то Пташкина, сияя своими «блюдцами», поведала мне о том, как несколько дней назад привезли ребенка с приступом астмы, который никак не удавалось приостановить. Тогда Глеб созвал всех ординаторов и попросил встать вокруг кровати ребенка. Он сказал так: «Мы должны своей доброй энергией спасти его». Их было двенадцать человек, двенадцать апостолов, страстно желавших спасения ускользающей жизни. Когда оказались беспомощными медицинские препараты, победила неистовая воля этих людей, огромная энергия жизни и добра, переданная ребенку. Я не удержалась и спросила в тот же вечер Глеба об этом случае. Он недовольно сдвинул к переносице брови и, нехотя выуживая из себя слова, пробормотал: «Иногда от безысходности все средства хороши. Прости, мне бы не хотелось сейчас говорить об этом».

Он не пожелал говорить об этом ни сейчас, ни потом. Несколько раз, думая о Гене, я заводила разговор

с Глебом на эту тему. Но Глеб всякий раз неопределенно пожимал плечами мне в ответ и отвечал односложно: «Не знаю, не знаю...»

Теперь он бы тоже не пожелал делиться со мной своими соображениями. Впрочем, мне и не надо было этого. Я с трудом передвигала ноги и, когда мы подошли к моему подъезду, наверное, впервые за всю историю наших с Глебом отношений, простилась с ним без сожаления.

Он задержал мою руку в своей большой теплой ладони и сказал:

— Главное, что могла бы случиться непоправимая беда, а теперь для его блага лучше оставить все как есть. Не терзайся. Это надо принять как неизбежность.

Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Я ткнула наугад рукой в настольную лампу и, нечаянно попав прямо в кнопку-выключатель, испуганно таращила на свету глаза, пытаюсь разобрать, который час показывает будильник.

— Ольга, извини, ради бога, до утра никак не могла дотерпеть, — зажурчал в трубке неузнанный мною спросонья голос. — У меня потрясающая новость. Только не падай. Ты стоишь или сидишь?

— Я лежу, — хмуро ответил мой хриплый голос. — Не могу понять, кто это.

— Ну ты даешь! — в трубке раздалось что-то похожее на бульканье. — Это я. Юля. У меня дежурство в интернате. Я спала, и меня тоже разбудили телефонным звонком.

Я резко отбросила одеяло, села. Мелькнуло перед глазами напряженное лицо Гены с неестественно расширенными зрачками. В голове зазвенело, и я почувствовала, как противно пробежали по телу знобкие мурашки.

— Что случилось? Гена? — выдохнула я в трубку.

Мне в ухо снова забулькал Юлин смех.

— Проснулась наконец-то. У твоего ненаглядного нашлась мать.

Холодный пол обжег пылающие ступни ног. Теперь я стояла, пытаюсь унять дрожь.

— Что ты молчишь? Ты меня слышишь? Оля! — зывал настойчиво голос Юли. — Я тебе хочу рассказать все по порядку. Слышишь? Что ты молчишь?

— Я не молчу, — прошептала я в трубку и, поняв, что Юля меня не слышит, с трудом складывая непослушными губами слова, ответила: — Я слушаю, я слышу, Юля...

— Понимаешь, меня вдруг осенила шальная мысль. Мы иногда живем себе и не понимаем, что существуют такие элементарные вещи, как, к примеру, телефонная книга...

— Телефонная книга? — машинально переспросила я.

— Ну да! «Список абонентов» называется. — Юля интригующе хмыкнула. — Ладно, не буду морочить тебе голову. Заглянула я в эту телефонную книгу и прочла: «Крылова Антонина Владимировна, телефон 351-17-14». Сначала подумала, что не может быть все так просто. Особенно брало сомнение, что та же фамилия осталась. Мне казалось почему-то, что она обязательно должна была выйти замуж... Ну, ладно. Набрала номер. Отвечает женский голос, что ее нет, на работе она. Я спрашиваю, с кем говорю, отвечает, что соседка. Я оставила свой интернатский номер телефона и попросила, чтобы она срочно позвонила, когда вернется домой. Я, наверное, так волновалась, что соседка не могла этого не почувствовать и передала все с соответствующими комментариями. Короче говоря, около часу ночи раздается звонок. Такой приятный, чуть взвинченный голосок...

— Подожди, Юля, — попросила я. — Одну минуту...

— Жду, жду, — голос в трубке затих.

Одну секунду у меня было жгучее желание грохнуть из всех сил телефон об стену и не слышать продолжения... Стало ясным — телефонный звонок мне не приснился, как это часто со мной бывало раньше, — бродишь по квартире в ночной рубашке как привидение и в полном смятении, прислушиваясь к гулким ударам растревоженного сердца, не понимаешь, во сне или наяву произошло сейчас это ужасное до липкого пота нечто, закодированное подсознанием и потому еще более страшное в своей невнятности. Однажды меня застала в таком состоянии бабушка. Я сидела на краю ванны, бледная, с мокрым от слез лицом, и с отчаяньем уговаривала свою волю избавиться от пережитого ночного кошмара. «Случилось что-нибудь, детка?» Сухая бабушкина ладонь заботливо легла мне на лоб. «Страшно...» Я попыталась тогда улыбкой успокоить бабушку, но мускулы моего лица не повиновались, и от этой

неудавшейся попытки стало еще отчаянней. Бабушка заставила меня встать, сполоснула из-под крана своей рукой мое лицо и, спокойно глядя на меня добрыми выцветшими глазами, успокоила: «Ничего страшного, деточка. В народе говорят — «это кровь разговаривает». Я не стала ни тогда, ни позже выпрашивать у бабушки, какой смысл заключает эта фраза. Я вообще всегда свято верила в то, что до всех мудрых пословиц, поговорок, выводов, которые подарил нам человеческий опыт, надо дойти самой. Сказанные бабушкой слова очень долго не отпускали меня. Я постоянно мучилась этой фразой, и однажды в дискотеке в Сочи, где был наш театр на гастролях, меня осенило. Более неподходящее место для подобного прозрения найти было трудно. Но, наверное, разбуженное подсознание никогда не считается с тем, кстати или совсем некстати выдавать сейчас результат заданной ему человеком работы. Я остановилась, вкопанная, посреди танцующих пар и отчетливо, словно кто-то в мое ухо незадачливого второгодника прошептал подсказку, услышала: «В моей крови весь эмоциональный опыт моих предков. Это их бунт и неосуществленные надежды, неосознанные желания и тоска по недостигаемым потомкам, их выстраданные заветы и сомнения в том, что когда-либо они будут услышаны. Голоса моих предков говорили в моей крови. И права была бабушка — этого не надо бояться, так же, как не надо пытаться перевести из всемогущей подкорки в мое убогое сознание этот священный шифр».

Я прошлепала обратно в комнату, неузнаваемо бодрым голосом попросила у Юли извинения за столь продолжительную паузу.

— Да ничего, ничего, — застрочил возбужденный голос воспитательницы, — я, собственно, долго тебя держать у телефона не собираюсь. В двух словах: когда я спросила все, что мне было необходимо, выяснилось, что действительно она — мать Гены. Что противно — сразу стала передо мной оправдываться. Дескать, ей еще в роддоме сказали, что ребенок родился совсем больной, и даже посоветовали отказаться от него. Я как услышала, так меня подмывало рассказать про то, какой он теперь! В общем, к концу разговора она как-то сникла и обещала завтра же позвонить и условиться о нашей встрече. Действительно, глупо об этом гово-



рить по телефону. Знаешь, мне показалось почему-то, что она очень красивая. У нее и голос такой... знаешь, как у красивых женщин. Нет, ну ты представляешь, что будет, когда Гена узнает! А как они встретятся?! Даже дух захватывает.

— Это... нельзя...— прорвался сквозь поток Юлиных эмоций мой сдавленный голос.

Юля растерялась и замолчала. Потом спросила с опаской:

— То есть как нельзя? Ольга, ты в своем уме? Чего нельзя? Чтобы у него была мать?

— Нельзя! — тупо повторила я.

На другом конце провода возникла пауза, потом Юля часто-часто задышала в трубку и обиженно протянула:

— Да-а, вот уж не ожидала от тебя такое услышать...

Я молчала, понимая всю невозможность для меня произносить сейчас те слова, которые несколько часов назад слышала от Глеба. Все равно необходимо будет рассказать обо всем Юле. Но пусть это будет завтра, послезавтра, через три дня, но только не сейчас. То, что я слышала, тяжким грузом осело во мне, болезненно напоминая о своей неприкосновенности каждое мгновение. Выуживать такие мучительные для меня слова значило содрать в кровь язык, губы, сердце... «С бедой надо переспать»,— говорила мне часто бабушка, когда со мной случались всякие несчастья. Юлин телефонный звонок не дал целебному сну опутать мою боль хитроумной сетью спасительных уловок. Я была беззащитна перед моей бедой.

— Послушай, Ольга, неужели ты не понимаешь, что ты сейчас вся во власти собственных великодушных порывов и не отдаешь себе отчета, что в данной ситуации для Генки важнее, что отыскалась его родная мать. Не беспокойся, твое благородство все оценили, только не больно-то заходишься...— телефонная трубка, казалось, вот-вот лопнет от гневного напора Юлиного голоса,— ты бы не о себе сейчас думала, а о мальчишке. Еще, между прочим, неизвестно, не привела ли бы ты его обратно в интернат месячишка эдак через три-четыре. У нас ведь дети не сахар. Хотя что ты о них знаешь! Забежать на часок посюсюкать каждый может! И выглядит красиво, и для себя необременительно...

Мое дикое желание все же осуществилось. Телефонный аппарат, отлетев от стены на пол, вывалил из своего пластикового чрева какие-то винты, колесики, тоненькие разноцветные провода.

На пороге моей комнаты появилась сухонькая фигура бабушки. На ее лице не было никаких следов сна. Я всегда завидовала способности моей бабушки мгновенно просыпаться. Несколько секунд она молча взидала на то, что совсем недавно считалось телефонным аппаратом.

— За что ты его так? — поинтересовалась бабушка.

Я затрясла головой, как бы снимая все дальнейшие расспросы. Бабушка с видимым усилием погасила в глазах промелькнувшую тревогу. Я подошла к ней и, уткнувшись лбом в ее теплое плечо, попросила прощения:

— Я должна... с бедой... переспать...

Он сдержанно улыбался, приоткрывая дверь своего роскошного лимузина-амфибии. В этой улыбке было торжество над моим неверием. Сам он был одет в серебристый комбинезон, а голову туго обхватывала лента из такого же серебристо-стального материала. Я хотела высказать вслух свое восхищение, но взревел мотор, заглушая мои слова, и я торопливо плюхнулась на мягкое сиденье автомобиля, лишь успев краем глаза увидеть, как вывинчивался из крыши машины огромный пропеллер. Машина качнулась и плавно поднялась в воздух. Шум мотора смолк, и салон автомобиля наполнился звуками нежной музыки. «Надо же... как во сне», — подумала я. Я хотела сказать об этом Гене, но он улыбнулся и приложил к губам палец. «Полет должен проходить в молчании», — поняла я и, откинувшись в удобном кресле, прикрыла глаза, но тут же испуганно их открыла. «Не дай бог заснуть, а то пропущу все самое интересное». Гена указал мне глазами вниз, и я, опустив голову, увидела, что пол в машине совсем прозрачный и мы пролетаем над каким-то удивительно знакомым местом. Во двор четырехэтажного дома высыпала толпа детей, все они были одеты в красивую белую одежду, а в руках каждого искрились на солнце разноцветные надувные шары. Взрослый человек в белой широкополой шляпе раздавал эти шары. «Это же наш администратор Гудков!» Я взглянула на Гену. Тот, не отры-

ваясь от руля, слегка кивнул мне, как бы соглашаясь со мной. Теперь я отчетливо видела возбужденные лица интернатских детей. Они тянули нам с Геной свои шары и счастливо смеялись. Гудков сдернул свою шляпу и отвесил нам старомодный полупоклон, затем отдал детям какую-то команду, и одновременно в небо взмыли десятки разноцветных шаров. Отдаляясь от земли, они как бы множились и увеличивались в размерах, и наконец земля исчезла под плотным разноцветным облаком. Яркое солнце щедро рассыпало лучи по шарам, и даже глазам было больно от неистово праздничного сияния. Мне вдруг стало весело, и шаловливое детское ощущение, как перед новогодней наряженной елкой, знакомо стиснуло сердце. Захотелось сказать Гене, как я счастлива, как благодарна ему за этот праздник и как хорошо, что с детьми играет наш администратор Гудков, а не строгая Юлия с высшим педагогическим образованием. Гена улыбался... И я поняла, что ничего мне не надо ему говорить, он и так слышит все мои мысли.

Через секунду неподвижная океанская гладь приняла на свою поверхность распластавшую огромные стальные крылья амфибию. Гена открыл дверь и кивком пригласил меня выйти на крыло. Захватило дух, но я, пересилив страх, вылезла на удобное вогнутое крыло, огляделась. Нельзя было понять, где кончалась вода и начиналось небо. Под этим огромным синим куполом я почувствовала себя маленькой и беспомощной. Гена грустно улыбался, и только теперь я заметила, какие глубокие темные тени полукружьями залегли под его глазами. Сердце сжалось от недоброго предчувствия.

— Прощай, Ольга,— Гена коротко вздохнул, сдернул со лба свою серебряную повязку, протянул мне.— Держи. Это на память о нашем полете. Ты дальше всех проводила меня. Мой автомобиль посредством автопилота вернет тебя обратно. А я возвращаюсь домой теперь уже навсегда.

Мои губы удивленно дрогнули, но Гена предупредил мой вопрос.

— Прости, если ты иногда чувствовала, что мне у вас не совсем уютно. Мне пора домой... Прощай, Ольга.

— Возьми меня с собой,— попросила я его шепотом.

Но Гена ничего не ответил, только его недетские глаза прощались со мной навсегда.

— Тебя ждут! Меня никто не ждет у тебя дома... А здесь... — Гена взмахнул неопределенно рукой, — меня здесь ждут давно и с нетерпением.

Я двинулась к нему, но он... исчез. Лишь на какое-то мгновение воздух окрасился в серебристый тон. Задышал, зашевелился океан, как бы напоминая, что мирный дух его своевольных вод иссяк. Насупилось, набрякло сизое небо... Я села в машину, и она взмыла в небо словно по неведомому приказу.

— Не надо плакать, Ольга, — услышала я голос Гены сквозь нежную музыку. — Только не надо плакать...

Я вдруг почувствовала, как плотным теплым кольцом обнимает мою голову его серебристая лента.

Я сжала изо всех сил ладонями голову. Чьи-то прохладные руки отнимали мои ладони...

Я стремительно вскочила с кровати, оттолкнув прохладные бабушкины руки, торопливо заглянула под подушку, встряхнула одеяло, заглянула под кровать, села, вопросительно глядя на бабушку.

— Лента...

Бабушка, неодобрительно покачивая головой, обвела глазами мое мокрое лицо. Потом приподняла с кресла джинсы и свитер, открыла створку шкафа.

— Лента... — тупо повторила я, с удивлением изучая раскиданные по полу осколки телефонного аппарата.

— Успокойся... Эта?

В бабушкиных руках тоненькой серебряной змейкой скользнула лента. Я выхватила ее, дрожащими пальцами нацепила на голову.

— Ты рискуешь опоздать на репетицию. Яичницу будешь?

Я уже влезла в джинсы, пытаюсь привести в порядок обрывки мыслей в своей взбаламученной голове.

— Яичницу не буду. Только кофе. — Я пронеслась в ванную, оттуда крикнула: — Бабуль, холодильник не трогай, я вечером разморожу. И скажи, пожалуйста, как это ты меня столько лет терпишь?

В ответ зашкварчали вылитые бабушкой на сковородку яйца. Яичницы было не миновать...

В театре мне передали записку.

«Ольга! Мне необходимо с тобой повидаться. Я подъеду к театру в три часа. Гена».

Я машинально дотронулась рукой до серебряной ленты, спросила вахтера:

— А кто передавал записку?

— Кто передавал? — Вахтер задумалась на секунду. — Ах, да, Станислав Леонтьевич оставил для вас, Гудков.

Я вспомнила долговязую фигуру главного администратора в широкополой белой шляпе с букетом разноцветных шаров и снова потрогала ленту.

— Голова болит? — сочувственно произнесла вахтерша. — Анальгину хотите?

— Совсем наоборот, — многозначительно ответила я вахтерше, — в том-то и дело, что абсолютно не болит голова. Вот уж сколько времени абсолютно не болит. — И, прочтя крайнее недоумение на ее лице, я, усмехнувшись, спросила: — А Гудков в театре?

— Совсем недавно ушел, — вахтерша так изучала мое лицо, словно видела меня впервые в жизни.

Этот взгляд был для меня символичным. Я тоже словно видела себя впервые. Разница была лишь в том, что вахтерша смотрела на меня извне, а я с изумлением взидала на себя изнутри. Я отдавала себе отчет в том, что веду себя странно, но какая-то ужасная вялость как бы парализовала любую мою попытку собраться, мобилизовать силы и отбирать из всего, что во мне импульсивно рождалось, в те доступные для нормального восприятия формы проявления, которые бы не шокировали окружающих. Мне было все равно. Я даже испытывала смутное удовлетворение оттого, что совсем не «берегу лицо собеседника» и ни для кого себя не адаптирую. В конце концов, хотеть быть понятой — это совсем не означает выворачивать себя наизнанку, а как раз и означает, что ты не прикладываешь никаких для этого усилий, а тебя понимают.

Гена ждал меня за углом театра, в том самом скверике, где посадил снежком лампу в фонаре. Теперь была в разгаре весна, и на тогда пустых, запорошенных снегом скамейках шептались парочки. И воздух был пропитан тем неуловимым ароматом весны, который будоражит, волнует и в душу самых неверующих вселяет смутную надежду. Но это, казалось, не имело никакого отношения к Гене. На меня глядели отрешенные, тоскливые глаза. Лишь на секунду его взгляд оживился,

скользнув по серебристой ленте, охватывающей мою голову.

— Как твоя записка попала к Гудкову?

Гена ответил не сразу и говорил медленно и нехотя:

— Знаешь, мне вчера было как-то здорово не по себе. Словно вокруг меня что-то такое сгущается... непонятное... Я некоторое время боролся с собой, а потом решил воспользоваться временной свободой, или, как ты выражаешься, «дал деру». Хотел тебя повидать, пришел к театру, а ты не играешь... Встретил случайно Гудкова. — На лице Гены мелькнуло какое-то подобие легкой улыбки. — Чудной он! Мороженым накормил... И так вокруг меня суетился, что никак не удалось от его провожания до дверей интерната отвертеться. Очень просил меня, когда я опять надумаю погулять на свободе, приходиться к нему ночевать. Клялся, что никому не расскажет. Ну, я ему, конечно, ответил, что он ведет себя непедagogично... Я просил передать тебе записку, но тогда еще и не знал, что скажу тебе... Я тогда еще этого не знал...

Я вдруг отчетливо услышала нежную музыку и пробивающийся сквозь нее взволнованный голос Гены: «Только не плачь, Ольга...» Я схватилась обеими руками за ленту.

— Не бойся, не отниму. Я тебе ее навсегда подарил. Хилый, конечно, подарок на день рождения. Но зато... — Гена судорожно вздохнул, словно поперхнулся, и сказал неожиданно тонким детским голосом: — Сегодня утром от меня второй раз в жизни отеклась мать!

Амфибия стремительно набрала скорость и взмыла к звездам. Их было великое множество — этих бесстрастных свидетелей полета, и я чувствовала, как они своими колючими щупальцами раздирают мне одежду, обжигая кожу ранящими прикосновениями.

Заглох, вырубился рокот мотора, и так же стремительно амфибия теперь падала в синеющий вниз океан, увлекая за собой сверкающие россыпи звезд и исчерчивая небо колючими серебряными зигзагами. Еще секунда — и вслед за головокружительным мельканием звезд и сумасшедшей скоростью наступил полный мрак.

Над своим лицом я увидела огромные глаза Гены. Он тряс меня за плечи и, готовый вот-вот расплакаться от страха, повторял:

— Ольга, ну, Ольга же, ну ты что?

Теперь я поняла, что полулежу на скамейке и с соседних скамеек на меня с беспокойным любопытством поглядывают люди, исполненные решимостью прийти мне на помощь.

Я с отвращением ощутила свои ватные ноги, почувствовала, как омерзительно дрожат влажные руки и пылают нестерпимым жаром уши.

— Мальчик, дай маме таблеточку,— услышала я за спиной сквозь вновь возникший в голове гул мотора старческий голос.— Это валидол. Погода проклятая всех подкашивает, и молодежь, и стариков. То солнце, а то, глядишь, все небо насупонилось...

Гена растерянно мял в руках таблетку. Потом решительно запихнул мне ее в рот грязным пальцем. Я улыбнулась. Гена обрадованно выдохнул, посмотрел на свои руки.

— Ничего. От грязи не помру,— с трудом выдавила я, повернувшись к сердобольной старушке:— Спасибо.

— Ой, господи,— всплеснула та руками,— никак сестренка, а я-то, дура, сослепу за мать признала.

Я виновато взглянула на Гену. Он мужественно удерживал улыбку на бледных губах.

Я села. Поправила съехавшую на лоб ленту.

— Извини. Это, знаешь, слабонервная актерская натура гадости устраивает. Просто я плохо спала... и вообще... устала от репетиций... от всего...

Гена понимающе кивнул, сел рядом.

— Элементарное переутомление... Пожалуйста, расскажи все по порядку,— попросила я.

Гена съежился и сразу стал совсем маленьким и беспомощным. Я отвернулась, боясь снова услышать предательский рокот мотора. Впрочем, я уже знала все... Я отчетливо видела, как крадется по длинному интернатскому коридору неприкаянная мальчишечья фигура. Как застывает перед дверью, из-за которой звенящим торжеством разливается голос дежурного воспитателя Юлии Борисовны. Миг оцепенения, и предательски непослушные губы ребенка торопятся произнести два одинаково коротких слога. Вмиг оттаявшее детское сердце одним теплым прикосновением впервые вслух произнесенного родного коротенького «мама» уже переполнено нежностью. Слух мальчика фиксирует, что разговор

Юлии Борисовны... с той женщиной будет продолжен. Завтра... в девять утра. Он не думает о том, на какие размышления понадобилась его матери ночь... С прозрачными от бессонницы глазами стоит он вновь у двери ровно в девять утра, чтобы услышать разговор, от которого содрогнется мироздание. «Наверное, наша планета остывает — иначе не понять, как может мать оставить свое дитя...» Так сказала мне бабушка после моего первого посещения детского дома. Лучше бы так! Чтобы можно было независимыми от человека причинами объяснить мальчику Гене с большими недетскими глазами всю жестокость и цинизм жизни.

Я взглянула на Гену, и весь мой сентиментальный актерский бред, словно устыдившись, уступил место реальности. Гена сидел на самом краю скамейки в напряженной, неестественной позе и изо всех сил прижимал к груди ладони. На секунду мне почудилось, что я вижу, как сквозь его худенькие пальцы алыми просветами полыхает сердце. Мой мозг лихорадочно пульсировал в поисках спасения моего дорогого мальчика. Сейчас я была готова на самую высокую жертву и на самую величайшую низость. Уходящие в вечность секунды больно отпечатывались во мне потерянными впустую временем. Надо было срочно что-то делать, а я застыла, как бездарное изваяние, не в силах пошевелиться. Мысленно я взывала, чтобы хоть кто-нибудь пришел мне на помощь. От напряжения ломило в висках. Я попыталась расслабить плечи, с усилием подняла свинцовую голову.

Прямо надо мной стоял Глеб. Засунув руки в карманы плаща и склонив по привычке голову набок, он с беспокойным вниманием изучал бледное лицо мальчика...

А потом я уехала... отдыхать. Если можно было назвать отдыхом тот образ жизни, который мне навязали сообща бабушка и Глеб.

— Можешь потерять профессию,— сухо сказал Глеб, когда я в очередной раз категорически отказалась уехать из Москвы.

А через день лопнуло и бабушкино терпение.

— Завтра утром попросу Глеба взять тебе билет на самолет.

И вот я... отдыхала, смотрела вокруг, недоумевая каждую секунду, как может быть, чтоб я одна, без Гле-



ба, дышала этим шальным горным воздухом, который, казалось, можно было пить, так густо он был настоян горькими пряными травами. Здесь я еще острее почувствовала, как много для меня значит Глеб. Я ощущала его присутствие всюду.

Запрокинув голову к высоким снежным вершинам, убеленным легкой сединой снега, я чувствовала то самое головокружение, как тогда в приемной хирургического отделения, когда впервые, без малейшей надежды на спасение, я утонула в его строгих внимательных глазах. Мне казалось, что в той скрытой силе, недоступной для слабого человеческого разума, которой дышали горы, жил родственник Глебу мощный мятежный дух. Я ощущала эту связь так остро и болезненно, что однажды, не в силах сдержать себя, набрала воздуха и закричала что было сил: «Я люблю тебя, Глеб!» Легким эхом дрогнули каменные уступы горного массива, снизойдя до моей исповеди, и похоронили тотчас в своей надежной монолитности осколки моего признания.

Я совсем не могла читать, совсем не могла сидеть на одном месте. Словно какая-то невидимая, управляемая мной сила подстегивала меня, срывала с места, и я до изнурения лазила часами по горам. Наверное, я не раз рисковала сломать себе шею, скатиться кубарем с крутизны прямо в холодное горное озеро, подвернуть ногу в непригодной для подобных вылазок обуви. Но меня совсем покинуло чувство страха. Панически, до тошноты всю жизнь боясь высоты, я бесстрашно заглядывала в глубокие, как колодец, ущелья. И когда слабые отголоски былого страха смутно начинали шевелиться во мне, всплывало передо мной лицо Гены с тоскливыми глазами, и мой страх мгновенно таял. Действительно, чего стоил этот низменный страх высоты по сравнению с моей изматывающей тревогой за мальчика. Мне стало понятно то чувство, которое терзало, не давая ни на минуту расслабиться, Глеба, когда он метался после сложнейшей операции, каждую секунду проверяя внутри себя правильность своих действий и мысленно отсчитывая то критическое послеоперационное время, которое каждый миг было решающим для жизни больного малыша. Тот изматывающий страх...

На десятый день пребывания в горах я обнаружила в ячейке для писем конверт, адресованный мне. Незнакомый торопливый почерк заставил мое сердце больно

ткнуться в грудную клетку и отозваться во мне предчувствием беды. Я вскрыла конверт. Письмо было от... Станислава Леонтьевича Гудкова. Глянув в конец длинного, в пять страниц, послания, я уцепилась взглядом рядом с подписью администратора последнюю фразу: «Вот видите, Оленька, какая пренеприятная история, если не сказать трагедия, разразилась во время вашего недолгого отсутствия».

Непослушными пальцами я кое-как втиснула письмо обратно в конверт. Поднялась в свой гостиничный номер, напоминающий школьный пенал, выпила воды из-под крана, почему-то долго причесывалась перед немигающим тревожным взглядом с поверхности зеркала, потом села на краешек ванны и развернула письмо...

Не знаю, сколько прошло времени, наверное очень много, потому что я почувствовала внезапно пронизывающий до костей холод от металла ванны. Оказывается, в дверь стучали. Я открыла.

Взволнованное лицо моей соседки по столу показалось в дверном проеме.

— Оля, ничего не случилось? Все в порядке? Вы не обедали... и на ужин не спустились. Я обеспокоилась... Простите, у вас такое лицо...

Уж не знаю, какое у меня было лицо, но участливые глаза пожилой учительницы из Новосибирска вдруг словно растопили во мне перехватившую горло льдинку оцепенения.

— Людмила Леонидовна, зайдите на минуту... очень вас прошу...— Я зажгла свет в комнате, торопливо сгребла раскиданные по стульям вещи.— Я сейчас же должна уехать. У меня к вам огромная просьба. Сдайте завтра мои лыжи... Я получила письмо. Случилось невероятное...

Седенькая Людмила Леонидовна встрепенулась, стиснула руки замком под грудью.

— С бабушкой?

— Нет, нет,— торопливо заговорила я,— не с бабушкой. Я рассказывала вам о детишках из интерната... Так вот, знаете, среди них есть один мальчик... одним словом... у этого мальчика отыскалась мать... верней, переусердствовала одна из воспитательниц интерната, отыскала его мать. Эта женщина... мать... опять отказалась от него...

— Мать... отказалась? — задохнулась наивная учительница из Новосибирска.

— Да, да.— Я досадливо отмахнулась от ее вопроса и, тут же сожалея об этом, пояснила:— Знаете, так часто бывает. Но суть не в том. Страшно, что... мальчик этот... узнал все. А он, знаете, необычный мальчик... Этим воспользовалась та самая воспитательница и еще раз переусердствовала. Обозлилась на его мать и опять переусердствовала. Та женщина... ну, которая мать... очень жаловалась на свое нездоровье, бессонница ее замучила, головные боли. Дескать, это тоже одна из причин, по которым она не может взять ответственность за воспитание ребенка... И воспитательница решила наказать ее... Все правильно... но какой ценой... Рассказала она той женщине про одного парнишку, ну, просто ее знакомого, который с легкостью лечит головную боль, сон восстанавливает... Одним словом, заморочила той голову и привела к ней... того мальчика... сына... Он пробыл у нее несколько часов, не зная, что она его мать... Подождите... это мне так Гудков пишет, что он не знал. Ужас... Он ведь совсем необычный мальчик... Я боюсь... Впрочем... Я не должна была уезжать... Нужен был мне этот отдых! От себя не отдохнешь... Извините, я буду складывать чемодан... Она... та женщина... была им очарована... как пишет Гудков... не зная, что это ее сын. Табуретка бесчувственная, как же не понять, не почувствовать кожей. Просто влюбилась в него... Тут и последовало Юлино наказание. «Это чудо был ваш сын, который знает, что вы отказались от него, и сам не согласился бы никогда признать вас, как мать!» — так она сказала той женщине...

— А... дальше? — испуганно выдохнула Людмила Леонидовна.

— Дальше... «Дальше — тишина»... Дальше было вот что... Той женщине... врач выписал как-то снотворное от бессонницы и велел принимать на ночь по таблетке... После всех вышеизложенных событий... одной таблетки ей показалось мало... Вот что было дальше.

— Как страшно! — сдавленным голосом произнесла Людмила Леонидовна, глядя на меня испуганными глазами.

— Совсем как в жизни! — согласилась я, застегивая ремни чемодана.— Только бы не узнал Гена... только бы

не почувствовал... Бедный мой... За что ему все это...— бормотала я, натягивая на себя куртку.

— Простите, Оля,— у Людмилы Леонидовны выступили на скулах два ярких багровых пятна—так она разволновалась,—вы так жалеете мальчика. Но ведь погиб человек. Ее вам не жаль?

— Кто человек? — Я даже удивилась тому гневу, который жил во мне и сейчас буквально клокотал, вселяя в старенькую учительницу ужас.— Ничегошеньки там нет от человека, дорогая Людмила Леонидовна, там одно скотство... Все на уровне инстинктов! Нет, извините, чуть не нанесла оскорбление животному, у которого материнский инстинкт превышает всего. За преступлением следует наказание, вы — литератор, вам лучше меня это известно. Пусть у вас за жертву сердце не болит! Я, знаете, тороплюсь, а то бы я вам рассказала, кого действительно следует пожалеть в такой ситуации. Впрочем, поинтересуйтесь, по какому адресу расположен один из детских домов в вашем городе, наведайтесь туда, загляните в глаза детям — и тогда увидите, как вас покинет это чувство жалости... Я ужасно виновата перед вами... Выплеснула на вас этакое...

Я присела рядом с Людмилой Леонидовной, погладила ее по плечу.

— Нет, нет, что вы, Оля, вы не должны чувствовать себя виноватой. Это — жизнь... Никуда не денешься. Мне проводить вас до автобуса?

— Не нужно. Я попытаюсь поймать такси. Может быть, успею на ночной самолет. А нет — так улечу утром. У меня к вам еще одна просьба, Людмила Леонидовна. Через час меня соединят с Москвой. Я утром заказала разговор. Скажите, пожалуйста, что я поехала на аэродром. Если вам нетрудно...

— О каком труде может идти речь. Конечно, не беспокойтесь...

— Спасибо.

Я подхватила чемодан, уже у дверей попрощалась со своей соседкой и прибавила:

— Человека, с которым вас соединит междугородная, зовут Глеб Евгеньевич.

...Я улетела только утренним рейсом. После ночного бдения было так приятно плюхнуться в мягкое аэрофлотское кресло, закрыть глаза... и тут же услышать над ухом голос стюардессы:

— Девушка, пристегнитесь, пожалуйста. Самолет идет на посадку.

Я с благодарностью взглянула на бортпроводницу, которая вывела меня из тупого полусна, пристегнула ремень.

За стеклом иллюминатора распластал свои игрушечные улицы, скверы, дома, похожие на спичечные коробки, мой родной город. Я чуть не задохнулась от внезапной нежности к сумасшедшей, суматошной, суетной Москве. Зачастую мечтая сбегать от безумных ритмов этого города, от бесконечного мелькания необязательных для меня отношений, встреч, нагромождения дел, которые навязывал быт этого города, я уже через несколько дней нашей разлуки начинала маяться, ощущать свою зависимость от той городской своей жизни.

Спустя полчаса я шагала по летному полю, согнувшись под весом тяжелой сумки, и с каждым шагом чувствовала, как улетучивается из меня тревога, страх за Гену и давно не посещавший меня покой располагается во мне надежно и надолго. Я даже ощутила вдруг блаженную невесомость, отчего тяжесть сумки совсем пригнула меня к земле. Со стороны я, наверное, напоминала своеобразный вопросительный знак. Только я решила задуматься, что бы означало это мое освобождение, как летное поле было преодолено и я очутилась в стеклянных дверях здания аэропорта. Мои глаза инстинктивно выискивали в толпе встречающих знакомые лица. И такие лица отыскались. Рядом с улыбающимся Глебом сияло счастливое лицо Гены...

Я сбросила тяжеленную сумку на каменный пол и заплакала.

\* \* \*

Говорят, каждому человеку всего отпущено поровну — и радости, и горя.

Я сидела напротив женщины, низко склонившей голову с ровным, словно прочерченным остро заточенным карандашом пробором в русых волосах, и все внутри меня опровергало эту мысль. Я думала о том, как просто и необратимо человек может сам, своими руками преобразовать свалившееся на него счастье в непоправимую беду. Эта женщина на моих глазах медленно убивала свою душу.

Я сидела в белом врачебном халате и туго накрах-

маленной шапочке и, чтобы не подвести юриста роддома Валентину Никаноровну, изо всех сил сдерживала рвущиеся из меня слова.

«Вам важно присутствовать при таких разговорах, чтобы достоверно сыграть роль?» — спросила меня Валентина Никаноровна. И, конечно, она услышала мой утвердительный ответ.

А что я могла ей еще сказать? Что сама не могу понять, зачем мне так необходимо увидеть глазами женщин, которые приносят составленные по образцу заявления, где каждая буква кричит?.. Что я не могу дышать, спать, есть, общаться с людьми, жить в своей профессии, не поняв, где в человеке зарождается это?.. Что непонятно, почему чувствую свою, может быть, непосильно большую долю вины перед оставленными малышами...

Я сказала: «Да, конечно, вы меня правильно поняли. Я буду вам весьма признательна за оказанную мне возможность присутствовать здесь». На меня надели белый халат и шапочку. Я писала какую-то галиматью, заполняя якобы истории болезней. Настороженный взгляд сидящей напротив меня женщины сразу смягчился, когда юрист сообщила, что их беседе никак не помешает присутствие врача, то есть меня, занятой своими делами.

— Значит, совершить этот поступок вас побуждает только то, что отец ребенка не хочет на вас жениться?

— Да... — голос женщины прозвучал тоскливо и обреченно.

Ее слегка мутные глаза, окаймленные светлыми ресницами, виновато помаргивали. Покрасневшие веки ежеминутно набухали.

— Поймите, вы совершаете сейчас непоправимую ошибку, — взывала к женщине Валентина Никаноровна. — Ведь он никому не нужен, кроме вас... Он так нуждается в вас... Ваш новорожденный сын — единственный, как я поняла из ваших ответов, родной вам человек на свете. За что же вы его так? Одумаетесь — будет поздно. Его либо усыновят, либо уже никогда не сообщат вам, где, в каком Доме ребенка он воспитывается.

— Он сказал, что не женится... — тупо повторила женщина, глядя в одну точку и с трудом поднимая вновь набухшие веки.

— Не понимаете...— огорченно произнесла юрист.— Себя сейчас жалеете... Даже не знаю, как и говорить с вами... Он и так на вас не женится! Если не хочет принять вас с ребенком, с его собственным ребенком, то о каком чувстве к вам может идти речь. Ну... хорошо... значит, будете писать заявление?

Женщина взглянула на юриста отчаянным, затравленным взглядом.

— Господи,— почти беззвучно прошептали ее губы,— но что же делать... если он на мне не женится...

— С вами все понятно! — резко, с досадой произнесла Валентина Никаноровна.— Берите лист бумаги, пишите отказ от ребенка.

Женщина беспомощно всхлипнула, придвинула дрожащими руками чистый лист.

— Не стоит лить слезы,— посоветовала жестко Валентина Никаноровна.— Они не имеют цены, ваши слезы. Пожалуйста, возьмите себя в руки. У меня, извините, много работы... Вы видели очередь в коридоре. Таких, как вы, много...

Женщина с трудом дописала заявление, вяло проворочав «до свидания», скрылась за дверь.

— Валентина Никаноровна, пожалуйста, разрешите мне догнать ее...— умоляюще прошептала я.— Она просто сама не понимает, что с ней происходит... Она не такая, как все, что побывали здесь перед ней...

Валентина Никаноровна несколько секунд молчала, с интересом разглядывая мое пылающее лицо.

— Идите, Оля, я вам не могу запретить... И потом... возможно, здесь все средства хороши.

В одном халате я выбежала на заснеженный двор.

Она стояла посреди двора, запрокинув вверх лицо, горестно стиснув в кулаки, натруженные от работы, непомерно большие для ее роста кисти.

Когда я подошла, она вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. Я дотронулась до ее плеча, и она снова вздрогнула.

— Я догнала вас, чтобы рассказать вам одну историю,— твердо сказала я.

Женщина недоверчиво скривила рот, но уже в следующую секунду попросила хрипло:

— Расскажите...

И я рассказала...

# Чужой звонок

## 1

В дверь позвонили. Позвонили протяжно и резко. Это был чужой звонок: так никто не звонил из домашних. Сунув ноги в тапки и набросив халат на плечи, я громко, пополам с зевком, крикнула хриловатым со сна голосом:

— Кто там?

И услышала в ответ без паузы мужской голос, вяло пробормотавший свое дежурное:

— Слесаря вызывали?

Ну да, конечно же вызывали. Как-то не сразу сообразила, что именно такой звонок непременно должен принадлежать слесарю, водопроводчику, работнику мосгаза,— такой протяжный равнодушный звонок, не заинтересованный хоть маломальской надеждой на неожиданность встречи или, наоборот, удрученный ее неизбежностью.

Вообще я бы могла определить по звонку стоящего за дверью. Мой сын втыкался в кнопку звонка с разбегу. Не переводя дыхания, он наугад бил наотмашь ладошкой по стене и тут же отдергивал руку, удовлетворенный прямым попаданием. Мой муж звонил всегда виновато и напряженно, словно еще за дверью просил прощения... Торжественно и залиvisto разливался по квартире доскональный звонок тети Даши, и, как его органичное продолжение, заполнял собой все пустоты квартиры ее зычный уверенный голос. Тимошка, моя подруга, пружинила кнопку двумя короткими «тире», как в азбуке Морзе, а звонок ее мужа Андрея уныло зависал где-то на уровне антресолей, забитых пропыленными старыми чемоданами.

Сама я звонила всегда кратко и исчерпывающе. Мой звонок как бы снимал вопрос с лиц, открывающих



мне двери моего дома. Да, именно так я и звонила — безапелляционным, не дающим права на расспросы звонком.

Продвигаясь к двери, я успела, окинув полусонным взглядом квартиру, определить, на какое количество времени засяду за уборку. Моя квартира в сей ранний час представляла собой довольно тоскливое зрелище. Споткнувшись о лыжную палку, перегородившую залитую июльским солнцем комнату, я, откинув со лба волосы, пробормотала в дверь:

— Сейчас, сейчас...

В ответ молчали. Пристраивая палку острием в поролоновый коврик в углу прихожей, я успела подумать о том, равнодушно молчавшем за дверью: «А чего ему, собственно, зря колыхать воздух? Ему-то что? Он хоть час за дверью торчать может. Сервис проклятый!» От этого неожиданного всплеска моя взбудораженная мысль переметнулась к неизбежному финалу встречи: обладаю ли я необходимой трешкой или, на худой случай, двумя рублями за его бессмысленное ковыряние в засорившейся раковине, которая вскоре после его ухода будет так же безнадежно и тупо копить грязную воду. И лишь чмокающие присоски резинового приспособления способны будут на мгновенье всколыхнуть ее мутные воды.

Еще больше разозлившись от мысли, что трешки у меня нет, я открыла дверь.

Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от зеркала прихожей, в одно короткое мгновенье высветил глаза пришедшего на помощь «сервиса». Зажмурил их на секунду своей неожиданной выходкой, заставил взметнуть резким движением головы копну прямой непокорной соломы и завис нимбообразно над его головой.

Наши глаза встретились на секунду, чтобы отпрянуть в лихорадочном поиске спасения. Но спасения не было. Между нами лежал порог моего дома длиной в один шаг — непреодолимый, как бездонная пропасть.

Интуитивно схватившись рукой за дверной проем, я нагнула голову и, зацепившись взглядом за тупой носок его ботинка, услышала над пылающим ухом такой далекий, такой знакомый голос:

— Слесаря вызывали?

Сейчас голос звучал жестко и чуть издевательски.

В этом голосе было что-то необъяснимое, переброшившее мостик через непреодолимую бездну порога и как бы предлагающее суровые, но определенные правила игры. Не смея поднять головы, я отступила назад, перехватила побелевшими пальцами косяк двери и пропустила пришедшего в квартиру.

...Он был ни на кого не похож.

В классе его уважали и побаивались. Он появился в теперешнем восьмом «А» год назад и сразу заслужил прозвище Сфинкс своей поразительной способностью молчать, когда, казалось бы, невозможно не высказаться, и умением заставить свое лицо оставаться бесстрастным и спокойным в самые критические минуты. Правда, Кузя заметила, что его внутреннее состояние выдают руки. Длинные пальцы начинали подергиваться, и он, зная это, прятал их в карманы брюк. Кузя единственная сделала это открытие, и потому, когда Грымза заводилась и осыпала Турбина несправедливыми упреками, Кузя знала, что на всегдашнюю реплику классной руководительницы: «Что за манера держать руки в карманах?!» — Турбин вытащит их сжатыми в кулаки и всем телом упрется на вытянутых руках в парту.

Тесное знакомство седьмого «А» с Турбиным началось в первый же день его появления в новой школе.

После уроков надо было мыть класс, и дежурная бригада, в которую включили новенького, осталась в школе. Как всегда, собрали по десять копеек и отправили толстого Макаркина в буфет за пирожками с повидлом. В ожидании пирожков бригада ходила на головах. Было беспричинно весело, швабры превратились в копья, которые летали по классу, тряпки, выдаваемые хроменькой уборщицей Тасей, витали под потолком, кружа на уровне качающихся светильников, из парт громоздились баррикады, а классная доска превратилась в поле битвы, где все по очереди состязались в остроумии. Дежурная гардеробщица несколько раз прибежала с первого этажа и с опаской заглядывала в дверь, откуда ревели и стонало на всю школу.

Потом была передышка. Все ели пирожки, и снова в дверь заглядывала дежурная, решившая, что затишье это не к добру.

Потом с удвоенной энергией на сытый желудок

взметались вверх тряпки, стучали парты и швабры — и весь этаж ходил ходуном.

От Кузи, с любопытством наблюдавшей за новеньким, не укрылось, что он несколько раз выходил в коридор и с беспокойством глядел на часы, а возвращаясь, вновь занимал свое место на подоконнике.

Казалось, происходящее вокруг его не интересовало, он словно постоянно прислушивался к какому-то внутреннему процессу, происходящему в нем, сосредоточенный и собранный. Потом, еще раз глянув на часы, новенький, не обращая внимания на любопытные взгляды сразу утихомирившихся одноклассников, засучил по-деловому рукава и начал двигать парты в угол.

Все молча следили за каждым движением новенького, а когда он, намочив в остывшей воде тряпку и лихо закрутив ее по швабре, начал шаркать по полу, всех разом прорвало:

— Во дает новенький!

— Турбин, где это ты так насобачился?

— Халтурно драишь, Турбин!

— Угол-то чего не вылизал?

— Слушай, может, тебе вместо Таси уборщицей, а?

— Эй, новенький, перед кем выпендриваешься?!

— В любимчики захотелось, новичок?

Новенький, казалось, не слышал адресованных ему реплик, которые становились все злей и настойчивей. Он был весь поглощен мытьем пола, и ничто больше не волновало его, кроме ловко снующей швабры, и ничто не радовало глаз, кроме отмытых блестящих кусков пола.

— Ну, ты, жлобье, кончай показуху!

Нога задиры и драчуна Генки Парфенова решительно посягнула на проворные движения швабры, и тряпка захрустела под наступившей ногой.

Новенький от неожиданности потерял равновесие и, поскользнувшись на мокром полу, неловко упал в растекавшуюся от тряпки лужу. Дикий хохот сотряс стены класса. Гурман Макаркин даже захрюкал от восторга, а Нина Зиновьева, заложив в рот четыре пальца, засвистела соловьем-разбойником.

А потом наступила тишина... Стало на мгновение слышно, как стенные часы в коридоре с усилием дергают тяжелыми стрелками и где-то этажом выше

Тася гремит ключами. Все столпились вокруг новенького, который почему-то не спешил подниматься с пола. Он сидел в луже с таким немыслимым достоинством и так гордо торчала на худой длинной шее его голова с пылающими оттопыренными ушами, что у Кузи сильно защемило в носу и сглотнуть слюну вдруг стало трудно и больно. По какому-то неведомому приказу она шагнула к новенькому и, протянув руку, прошептала:

— Давай помогу!

Мгновенный взгляд голубых глаз обжег таким презрением, что Кузина протянутая рука сама дернулась и спряталась за спину.

Новенький медленно поднялся с пола, с сожалением оглядел замоченные брюки с аккуратными стрелочками, неторопливым движением втиснул в карманы сжатые кулаки и медленно подошел к напружинившемуся Генке. Глядя прямо ему в глаза, процедил сквозь зубы:

— Если бы мы жили в девятнадцатом веке, я бы вызвал тебя на дуэль. Но, к сожалению, традиция сия канула в Лету. Поэтому живи! Сейчас я тебя бить не буду, ибо времени жаль, а оно у меня, время то бишь, на вес золота...

Новенький вытащил из кармана руку и снисходительно хлопнул обескураженного Генку по плечу: «Живи, живи, мол, дыши воздухом, так и быть».

Генка от растерянности даже не оскорбился, а одноклассники стояли, пораженные манерой новичка говорить изысканно и старомодно, ошеломленные его поведением — странным, непривычным и каким-то гипнотизирующим.

А новенький домыл пол, сдвинул на место парты, тщательно протер мокрой тряпкой батарею и подоконники, вымыл начисто доску.

Дежурная бригада седьмого «А» рассредоточилась по подоконникам длинного школьного коридора, и множество глаз следило с напряжением за малейшим движением новичка.

А тот отнес пустое ведро с тряпкой в туалет, расправил засученные рукава рубашки, причесался пятерней, вытащил из кармана сложенный выутюженный носовой платок, вытер вспотевшее лицо, бросил мимоletный взгляд на стенные часы и, схватив портфель,

прошествовал мимо одноклассников. Лицо его не выражало ровным счетом ничего, и Кузе на секунду показалось, будто только что происшедшее в классе — лишь ее воображение.

Генка Парфенов сидел на подоконнике нахохлившийся, злой и, когда толстый Макаркин взглянул на него с любопытством, отвесил тому увесистый подзатыльник.

...Он единственный называл ее по имени. Только для него она была не дурачкой Кузей, а Наташей, или «милостивой государыней Натальей».

И потом, у него был свой мир.

Залитый осенним солнцем, грустным, как прощальный взгляд, маленький дворик действительно казался частичкой другого мира. Это был один из немногих столичных двориков, сохранивших черты своей былой принадлежности к купеческому Замоскворечью. Маленькая арка выводила из этого обособленного мирка в другой, привычный мир — с грузовиками, грохочущими по набережной, к серым гранитным одеяниям Яузы, к видоизмененному, осовремененному Балчугу. Небольшое полукружье арки по какому-то старинному тайному сговору не пропускало во дворик ни грохота автомобилей, ни разноголосья прохожих, группами спешащих в Третьяковскую галерею, ни любопытных взглядов туристов, посягающих на любую утаенность нацеленными объективами фотоаппаратов.

Особенно хорош был дворик весенней порой, когда на лужайках возле покосившихся сараюшек пробивалась трогательная, робкая травка, желтели непритязательные, скромные одуванчики. В эту пору почему-то еще острее ощущалась изолированность дворика, еще радостней воспринималось всемогущество этого мира, стойко отторгавшего московскую вездесущую суету.

Небольшой двухэтажный дом смотрел окнами на набережную, а старая каменная лестница с выщербленными ступенями выходила во дворик. Под этой лестницей, как правило, выгуливались по выходным дням два младших Турбина. В остальные дни недели двойняшки отбывали повинность на пятидневке в детском саду.

И еще была голубятня, тоже будто бы сохранившаяся с каких-то далеких купеческих времен. Темное де-

ревянное сооружение с современными заплатами-досками, со свежеструганными перилами на шаткой многоступенчатой лестнице. Хозяином голубятни был Игорь Турбин. К нему слетались все голуби Замоскворечья. Облепляли сизыми стаями голубятню, сперва подрагивая крыльями, но постепенно, словно успокаиваясь, примирались с той гулкой, грохочущей жизнью, которая отпугивала и тревожила их. Их бормотание волнами разливалось по дворику, озвучивая его застывшее оцепенение. И в монотонном хлопанье словно чудилось преклонение перед этим тихим, обособленным мирком за его стремление оставаться самим собой.

Голуби, которые принадлежали Игорю, совсем не походили на тех сытых, самодовольных, что разгуливали по переулку возле Кузиного дома. Казалось, голуби Игоря были одухотворены жизнью дворика и их глазбусинки были осмысленными и прозрачными.

Игорь размахивал длинным шестом, развевалась красная тряпица, привязанная на тонкий его конец, пронзительный свист разлетался над крышами домов, а внизу, застывшие от восхищения и гордости, задравверху смешные одинаковые мордашки, жмурились младшие Турбины.

Гибкий, с горящими глазами, копной непокорной соломой вокруг головы, мечется он по площадке, и словно продолжение его длинной гуттаперчевой фигурки — вибрирующий шест в небе и стаи голубей плавают в весеннем счастливом воздухе, вобравшем в эту пору все запахи щедрой, оживающей после спячки земли.

## 2

...На кухне хлюпала резиновая присоска. Чавкала и словно измывалась, назойливо утверждая свою вопиющую примитивность.

Я не могла взять себя в руки. Пальцы мелко и противно подрагивали. Сигарета никак не укладывалась между пальцами.

Голова была пустая и гулкая. Перед глазами упорно стояла кухонная раковина, и все мысли, как разбухшие крошки хлеба с грязных тарелок, беспорядочно кружили по поверхности. В распахнутую форточку врывались будничные голоса прохожих, визжали на детской площадке дети, тормозили машины, не жалея дефицитной

резины, но над всем этим миром звуков зловеще господствовало одно — безысходное, изматывающе однообразное.

...— Турбин, выйди из класса... и без родителей в школу не возвращайся,— зловеще прозвучал голос географички Антонины Валерьевны, и густые брови Грымзы свирепо сошлись на переносице.

Это был самый точный признак ее крайнего раздражения. Брови классной руководительницы, кустистые и широкие, были явным излишеством на ее лице с мелкими и какими-то незаконченными чертами. Брови же словно перекочевали с чужого лица по какому-то недоразумению да так и остались над маленькими черными глазками, уныло нависая, когда ничто не выводило Антонину Валерьевну из себя, и начиная копошиться лохматыми гусеницами при малейшем раздражении. По ее бровям ученики седьмого «А» узнавали, есть ли какой-нибудь шанс на спасение или же дело глухо и кара будет суровой.

Когда брови Грымзы стягивались к переносице, но оставалась между ними глубокая продольная морщинка — в глазах провинившихся мелькали робкие проблески надежды, но когда обе лохматые гусеницы безысходно срастались в одну ровную линию — это грозило вызовом родителей или же путешествием «на ковер» — к директору.

У Николая Николаевича Басова, директора школы, будто в насмешку, брови отсутствовали напрочь, и каждый раз жертва седьмого «А», вызванная на ковер, при всем трагизме ситуации силилась не прыснуть от смеха, и все, словно по сговору, скромно опускали глаза от лица директора на цветастый ковер под ногами, пытаясь сосредоточиться на его витиеватых узорах. У директора тоже была кличка, звали его Сом — за сонный, почти неподвижный взгляд огромных серых навывкате глаз. Сом был справедливый и добрый.

— Турбин, выйди из класса...

Он встал, со стуком откинув крышку парты, бледный, с непроницаемым лицом, и медленно пошел по проходу своей удивительной, гордой походкой. У самой двери он чуть повернул голову, и Кузя с ужасом ско-

рей почувствовала, чем увидела, как презрительная усмешка тронула его тонкий рот...

Длинный пепельный столбик развалился на белом подоконнике в серую маленькую горку. Легчайшие частички пепла зашевелились от ветра и через секунду растворились, растаяли бесследно.

На кухне из крана текла вода, текла безостановочно. Она заливала мне глаза, щеки, затекала в рот и уши, холодила шею прохладными струйками, стекала знобко вдоль позвоночника.

Мне казалось, что прошла вечность. Минуты исчислялись годами. Может быть, прошло мгновение, а может, жизнь... Это мое состояние было вне всех существующих измерений.

Беспокоила лишь одна навязчивая мысль: такое уже было... Не я — моя природа проживала это странное оцепенение. Разум был не в состоянии вспомнить, помнили клетки, кожа, хранящие в своей дышащей оболочке пульсирующие, мнущиеся толчки грозящей прорваться крови...

Я силилась вспомнить — и не могла. Я чувствовала то всегда смешившее меня утреннее бессилие, когда попытки сжать руку в кулак тщетны и забавны...

Перед глазами мелькали разноцветные крестики и какие-то черточки, похожие на иероглифы, в виски резко билась кровь, но Кузя и не думала останавливаться. Она неслась по тротуару, впечатываясь иногда с размаху в прохожих и вместо извинений лишь переводя дух.

Люди ругались или просто укоризненно покачивали головами, оторопело смотрели вслед.

Ее неприлично рыжая голова дымилась в морозном воздухе, летящий изо рта пар мгновенно индевел на бровях и ресницах, щеки горели немыслимым жаром, а в горле стоял тугой горький комок, который никак не таял и не глотался.

На углу машина сгребала снег в огромную кучу, и Кузя, не успев затормозить, нелепо растопырив руки, пролетела в сугроб. Взметнулся вверх пушистый снежный фейерверк, дружно заржали первоклашки, стайкой



слетевшие со школьной резной ограды, улыбнулась хмурая толстая дворничиха...

Мать Игоря Турбина, молодая женщина с немолодым лицом и странными, вывернутыми в косточках суставами пальцев рук, была уже в кабинете Сома. Посреди пустынного коридора, неуютного и непривычного без звонкого школьного многоголосья и сутолоки, стоял Игорь.

Кузя, запыхавшаяся, красная как рак, сдернула вывалянные в снегу варежки, шумно хлюпнула носом, шагнула к Турбину. Хотела сказать, но вместо слов из горла вырвался какой-то всхлип. Подняла глаза. Турбин улыбался. Кузя вдруг увидела себя со стороны — лохматую, распаренную, сопливую. Со страхом дернулась: не смеется ли он над ней, нелепой, дурацкой предательницей?

Он не смеялся. Глаза его, высвеченные какой-то особой лучистой улыбкой, глядели ласково и внимательно.

— Это я, то есть мы с Макаркиным... но виновата я, потому что...

Мокрая варежка перекочевала из Кузиных рук, утонула в больших ладонях.

— Не продолжайте, мадемуазель, не стоит того. Я верю, что это была минутная слабость. А ведь надлежит прощать женщинам их слабости, не так ли?

Кузя снова с облегчением всхлипнула, потянула мокрую варежку из рук Турбина.

— У тебя, как у породистого щенка, лапы здоровые...

— Это точно. Но передние конечности — это еще полбеда. Зато интенсивный рост задних приводит в отчаянье мою родительницу. Не напасешься, говорит, обуви на тебя... Милостивая государыня Наталья, не разводите сырости, внемлите речам недостойного раба вашего, тем паче что женских слез он совершенно не в силах вынести.

Но слезы из глаз милостивой государыни Натальи сыпались горохом, а недостойный раб ее комкал в ладонях вымокшие варежки и бормотал под нос слова, которые ровным счетом не были нужны ни ему, ни ей.

Тогда впервые Кузя поняла, что ей хорошо с ним, так покойно и уверенно, как никогда раньше и не бывало. Слезы высохли, варежки заняли свое место на ко-

ридорной батарее, а Игорь с Кузей сидели на подоконнике, болтая ногами, и несли несусветную чепуху.

Когда же распахнулась дверь и появилось лицо Грымзы с распластанными в одну линию бровями, Кузю словно ветром сдуло. В одну секунду очутилась она на ковре перед удивленным Сомом и оторопевшей мамой Игоря.

— Что за выходки, Кузнецова? — просипел сзади Грымзин голос.

— Это не выходки, Антонина Валерьевна. Я пришла потому, что Игорь ни в чем не виноват. Это мы с Макаркиным...

Это они, Кузя и толстый Макаркин, на ледяных дорожках катка в парке культуры «развлекались диким способом», как потом выразилась женщина-лейтенант в детской комнате отделения милиции. Натянули леску посреди дорожки парка, выбили камнем лампу в фонаре, освещающем этот участок катка, и, засев в сугробе, следили за тем, как мальчишки и девчонки, кувыркаясь на льду, квасили носы, расшибали коленки, ревели на весь парк.

Теперь Кузя даже и не могла объяснить причину этого «развлечения». Просто в обществе Макаркина Кузя шалела. Макаркин был другом ее детства, с ним пошла она в младшую группу детского сада, где их горшки стояли всегда рядом и шкафчики с одеждой, на которых красовались ее клубничка и его груша, тоже были по соседству. Их родители дружили семьями, и жили они на одной лестничной площадке.

Макаркин наперекор всем бытующим представлениям о темпераменте толстых людей был невероятно шумный и подвижный. «Дикошарый», — называла его воспитательница Ольга Ивановна в детском саду и, когда детей выводили на прогулку, первым делом объявляла: «Макаркин и Кузнецова, отойдите дальше друг от друга, а то от вашего соседства добра не жди...»

В детской комнате, пока они сидели вдвоем, чуть притихший, но неутихомирившийся Макаркин развалил все игрушки, стащил с полок все книги, и, когда в комнату заглянула женщина-лейтенант, было ощущение, что прошел тайфун.

Кузя назвала свою фамилию и имя, телефон. При ней состоялся разговор с отцом. Отца Кузя очень любила, но знала отлично одно его свойство. Обычно спо-

койный и тихий, он, выведенный из себя, становился белый как мел, и его гнев был страшен.

В такие минуты Кузя боялась больше всего, что с ним случится какой-нибудь сердечный приступ или припадок: таким болезненно-страшным выглядел он в своем гневе. По тону отца Кузя поняла, что дома ее ждет именно это.

Хладнокровный же Макаркин спокойно соврал, что телефона у него нет, а живет он без отца, с одной мамой.

— Ну что же, тогда придется сообщить в школу,— объявила женщина-лейтенант.

— Сообщайте,— пожал плечами Макаркин и подмигнул Кузе: — Турбин Игорь, седьмой «А», школа пятьсот пятьдесят шестая.

Кузя хотела закричать, чтоб он не смел, но не закричала. Хотела вернуться в детскую комнату и признаться строгой женщине-лейтенанту в макаркинском гнусном вранье, но не вернулась...

Макаркин был другом детства, а кто такой этот Турбин — просто новенький...

Когда Турбина отчитывала Грымза, а он стоял бледный и не отпирался, не отрицал ничего, у Кузи в животе было холодно, а на душе мерзко. Она написала Макаркину записку, что если он не признается, то это делает она. Макаркин порвал записку, проглотил ее, как леденец, и пошептался с соседом по парте Генкой Парфеновым.

Потом они оба многообещающе показали ей по кулаку, сооротив при этом самые зверские физиономии.

Перед началом уроков Кузя еще в полупустом классе выболтала двум своим подружкам, что побывала вчера в отделении милиции за хулиганство в общественных местах. Кузя говорила об этом несвойственным ей пижонским тоном, бравируя своей наглостью и выдавая ее за отвагу. Не называя имени сообщника, она взяла с подруг слово, что все, о чем поведала, останется между ними в тайне. Те пообещали молчать.

Но вдруг белобрысая Тимошка-очкарик прыснула и мотнула головой в дверной проем, где маячила фигура новенького. Он слышал... Он думал, что это она, Кузя... Это было непереносимо.

В тот день на уроках она ничего не слышала, не

воспринимала. Презрительная усмешка на тонких губах новенького стояла перед ее глазами.

Кузина мама, пощупав голову дочери, вернувшейся из школы в состоянии тупой отрешенности, попыталась уложить ее в постель. У Кузи было необычное свойство: когда случались какие-нибудь неприятности, она много ела и спала.

И в этот раз, плотно пообедав, Кузя уснула мертвым сном, лишь коснувшись щекой прохладной подушки. Проснувшись час спустя от прикосновения ко лбу мягкой маминой ладони. Оторопело глянула на часы и, сорвав шубу с вешалки, без шапки вылетела из дома.

Часы показывали четверть пятого, и мама Турбина конечно же уже была в школе.

У них были одинаковые глаза. Только у Игоря без той непонятной оловянной поволоки, которая время от времени туманила взгляд его мамы. В такие мгновения казалось, что снова и снова уходила она во что-то дорогое и далекое, недоступное и невозвратное. Даже когда она смеялась, ее глаза вдруг обращались в прошлое. Казалось, что чем лучше ей было сейчас, тем острее скорбела она о чем-то навсегда ушедшем. Она была верна той своей жизни, и даже дети не могли вернуть ее в сиюминутность...

А потом Кузя попала домой к Турбиным, когда понесла больному Игорю домашнее задание. Вскрабкалась по выщербленным ступенькам на второй этаж и очутилась на огромной деревянной галерее с двумя дверьми, ведущими в комнаты. Отсюда, с террасы, был виден весь дворик: запорошенные снегом крыши сараюшек с длинными причудливыми сосульками, заснеженная голубятня, несколько рядов чуть голубоватого от синьки, схваченного морозом, стылого, заскорузлого белья.

Повеяло каким-то ароматом другой, незнакомой Кузе жизни. Долго стояла она на старинной деревянной галерее и не могла отвести глаз от зимнего дворика.

А потом очутилась в одной из двух маленьких комнаток, где жили Турбины.

Игорь мыл пол. Увидев Кузю, кивнул ей, бросил под ноги отжатую тряпку и, отвесив старомодный поклон, попросил охрипшим от простуды голосом зайти в «хоромы». «Хоромы» по сравнению с Кузиной современной квартирой, с изысканным полированным гарнитуром

были маленькие и полупустые: круглый обеденный стол с табуретками, обшарпанный буфет, две железные кровати с сетками и всюду множество книг.

Мама Игоря сидела за столом и читала. Игорь поднял ее вместе с табуреткой и понес в другую комнату.

— Гошка, сейчас же прекрати, живот заболит, надорвешься,— смеялась мама Игоря, и лицо ее розовело и становилось девчоночьим.

— Мамочка, своя же ноша-то, как раз та самая, которая рук не тянет.

— Ох и дурной ты у меня, Гошка, здоровый вроде бы, а дурной. Правда ведь, Наташенька, дурной?

— Да нет, он у вас хороший,— улыбалась смущенно Кузя.

— Да ну? — нарочито удивлялась мама. — Неужто хороший? А я думала, дурной. Ну-ка покажись, может, я что-то просмотрела.

Игорь медленно поворачивался вокруг себя, вытянувшись на носках и сложив руки, как балерина, над головой.

— Точно, просмотрела. Глаза-то какие голубые. Ой, Гошенька, да ты у меня хорошенький какой!

Она всплескивала руками, смеялась, а глаза подергивались уже знакомой Кузе поволокой.

Кузя с Игорем, разложив учебники, занимались за круглым столом. А мама кипятила чайник и выкладывала из банки в вазочку вишневое варенье, «Гошкино любимое», своими неловкими больными руками.

— Это полиартрит,— пояснил Игорь, перехватив взгляд Кузи,— такая болезнь. Когда папа умер, маме очень тяжело приходилось. Петька с Алешкой совсем маленькие, помощи ждать неоткуда. Мама работала на двух работах и, видимо, надорвалась. Вообще она у меня грандиозный человек. Очень сильная, и воля железная... Ну, давай, чего там задали?

По всем предметам Турбин был первым учеником. Давалось ему все это без усилий. Одаренный от природы поразительной цепкой памятью и каким-то особым складом ума, он все хватал на лету и усваивал прочно и навсегда.

За два урока контрольной он успевал решить четыре варианта, и весь класс без зазрения совести пользовался его шпаргалками и подсказками.

Грымза, поначалу невзлюбившая новенького, уже

через месяц таяла и млела, когда Турбин выходил к доске и вместо положенного параграфа выплескивал на притихший класс ворох интересных, раздобытых неизвестно где сведений о Магеллане, Беринге, кругосветных путешествиях, экзотических африканских странах.

Одна Кузя знала, откуда он их выискал. Библиотека Игоря Турбина была уникальной.

— От отца осталась,— неохотно ответил однажды Игорь на Кузин вопрос, откуда такое количество книг. Старые, спожелтевшими от времени страницами, в тяжелых золотистых и кожаных переплетах, все они были аккуратно расставлены по полкам, опоясывающим стены обеих комнат.— Мама хотела продать кое-что, но я не дал. Во-первых, это отцу принадлежало, а во-вторых, тридцатку в месяц я и так зарабатываю.

«Где?» — чуть не сорвалось у Кузи с языка, но она промолчала.

Все связанное с Игорем было необычно и интересно. Кузя стала частым гостем в маленьком дворике. Даже приводила по пятницам из сада двойняшек.

— Помощница моя,— улыбалась благодарно мама Игоря.

Одно оставалось загадкой для Кузи: куда каждый день на три часа исчезает Игорь после школы?

Но и эту тайну он раскрыл ей охотно и без малейших сомнений.

Когда-то у отца Игоря был друг. Как и сам отец, он был физиком и работал в какой-то лаборатории. Чтобы помочь семье друга сводить концы с концами, он взял Игоря лаборантом. Поэтому Кузя не удивилась, когда на имя директора школы пришло письмо из новосибирского Академгородка, в котором говорилось о незаурядных способностях Игоря в области физики, что было ясно из присланных им ответов и решенных задач. Московской школе было предложено послать Игоря учиться в особую школу при Академгородке.

Кузя обрадовалась и огорчилась одновременно. Она уже не мыслила своей жизни без Игоря, без его голубятни и старинной галереи, без глазастых двойняшек и вечерних копаний на книжных полках.

Зато мама Игоря словно светилась изнутри гордостью и счастьем.

— Знаешь, Наташенька, я так рада за Гошку, у нас

ведь там друзей много осталось, отец наш там начинал. И потом, это верный путь в институт. Отец был бы доволен...

### 3

Мама Игоря умерла две недели спустя. Просто не проснулась утром.

— Какая легкая смерть,— приговаривали соседки, сморкаясь в платки и глядя по головам притихших, испуганных двойняшек.

Кузе было непонятно, как смерть может быть легкой, и еще ей казалось, что эти две толстые слезливые бабки даже были рады, что вот не они, а она умерла, еще такая молодая. Словно убийственно несправедливое нарушение очередности вдохнуло в них ощущение собственной незыблемости на этой земле.

Кузя впервые в жизни столкнулась так близко со смертью. Это было непостижимо.

Добрый гармоничный мир, в котором жила Кузя, треснул, развалился.

Совсем недавно на уроке литературы Кузя читала наизусть отрывок из «Войны и мира», который ей выбрал Игорь.

Накануне вечером Игорь проверял уже вызубренный Кузей текст. Это была сцена смерти князя Андрея...

«Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и — далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал,— почти непонятное и ощущаемое...

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время,— о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» — думал он. Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связа-

но одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Когда Кузя закончила читать, в глазах мамы Игоря стояли слезы, и она, не стесняясь их, проговорила задумчиво:

— Боже мой, какой великий писатель! Только гению доступно так написать.

Кузя тогда не поняла. Она выучила этот отрывок потому, что его выбрал Игорь. Она даже не понимала толком, о чем он...

На кухне выключили воду. Стало тихо. Совсем тихо, до напряженного звона в ушах. Уличные шумы, словно покорившись всеобщей минуте молчания, какой-то единой скорби, зависли на уровне моего окна. На кухне чиркнула спичка. Я вздрогнула. Где-то этажом выше жалобно мяукнул котенок.

Я вспомнила. Мое теперешнее оцепенение. Такое уже было.

В белом, бесконечно длинном коридоре послеродового отделения женщина во врачебной шапочке до бровей низким хрипловатым голосом сказала мне, что мой ребенок, мой сын, появившийся на свет неделю назад, не будет жить.

Я почувствовала тогда, как мое тело, перестав принадлежать мне, стало невесомым и, отталкиваясь легкими толчками от какой-то малости меня, способной чувствовать, закружилось и понеслось куда-то, меняясь в размерах, разбухая каждой бывшей моей клеточкой.

А потом наступило то самое оцепенение, когда время обращается вспять и лишь вечность — единственное точное измерение.

Я не плакала тогда, что было, наверное, неестественным и странным, не спрашивала: почему, как же так, за что? Я видела вновь и вновь его маленькое желтое личико в белой косыночке с какими-то лишь одной мне видимыми подергиваниями полуприкрытых век. Потом тупо смотрела в окно, где, задрав вверх неприкрытую голову, стоял под падающим снегом мой тогда уже похудевший Макаркин, смотрела и не жалела ни его, ни себя, ни нашего ребенка. «Что же, так создан мир», —



приказывал мне жестко и трезво мой ополчившийся разум. И я повторяла беззвучно: да, так создан мир...

Моему сыну месяц назад исполнилось семь лет. «Дикошарый», — называет его воспитательница Ольга Ивановна. В сентябре он пойдет в школу.

А я все никак не могу избавиться от его маленького желтого личика в косыночке. Иногда просыпаюсь среди ночи и брожу до утра по спящей квартире, уговаривая себя, что все ведь уже давно в прошлом... Но, видно, все не проходит никогда, иначе откуда эта истязаящая по ночам глухая, отчаянная тоска...

На кухне снова захлюпала присоска, или вантуз, как ее называли в хозяйственном магазине, негодую на мою неграмотность.

Надо было на что-то решаться... «Слесаря вызывали?» — эхом прозвучал в голове насмешливый знакомый голос. Только сейчас я вдруг увидела себя со стороны — невыспавшаяся, ворчливая мегера со всклокоченными после сна волосами, заспанными глазами, в мятом халате, из-под которого на полметра торчит хвост ночной рубашки. «Господи, и это взамен ясной, жизне-радостной Кузи» — пронеслось в голове. Я прислонилась лбом к оконному стеклу в мутных затеках и пятнах наследившего дождя. «Хотя какое это теперь имеет значение?..»

Двойняшек Турбиных отправили к тетке в Подмосковье. У Кузи мучительно ныло сердце, когда на вокзале они с Игорем отрывали от себя цепляющиеся ручонки.

А когда за окном поплыли, качаясь в ритм поезда, одинаковые голубые помпоны рядом с лицом чужой добродушной женщины, Кузя разрыдалась, как маленькая, пряча лицо в колючем воротнике пальто Игоря.

Игорь гладил Кузины волосы и тихонько приговаривал:

— Да полноте, матушка Наталья Алексеевна, я пойду работать и совсем скоро заберу их обратно...

Игорь перешел в школу рабочей молодежи и устроился на завод.

Виделись Кузя с Игорем редко. На носу были выпускные экзамены.

В выходные дни Игорь уезжал к тетке в Подмоскowie. Он очень изменился. Похудел, под глазами залегли темные тени, взгляд стал жестче, а речь определенной.

Однажды, выставленная мамой на улицу — проветрить голову от учебников, — Кузя забрела во дворик.

Заброшенная голубятня уныло мокла под моросящим весенним дождем, одинокий голубь, разгуливающий возле лестницы, увидел Кузю, виновато спрятал голову в подмошки взъерошенные перья и засеменил прочь, подрагивая сложенными крыльями.

Под лестницей, ведущей на галерею, разлилась традиционная лужа. Здесь каждую весну хлупали резиновыми сапожками двойняшки, пуская бумажные кораблики. Отчужденно глядела с террасы бабка Нюта. Бабины глаза со знакомым Кузе сиреневатым налетом старости глядели на Кузю и, казалось, не видели ее.

— Бабушка Нюта, это я, Наташа. Вы не узнаете меня?

Бабка закивала головой.

— Да как же, узнала теперь. Редко заходишь, деточка. Как твоя учеба? Заходи, чайком тебя сейчас напою.

Бабка засуетилась, сделалась словоохотливой и радужной.

Кузе не хотелось чаю, но она не стала обижать бабу и поднялась к ней в комнату.

Тесная, душная комната, с иконостасом в углу, горящей лампадкой, цветами из бумаги и воска, скорей напоминала келью.

Прихлебывая чай из блюдечка, бабка строчила слово за слово, будто читала заупокой по семье Турбиных.

— Истинно божий человек была мать их, Зинаида Ильинична. И чувствовала ведь конец-то свой — и никому даже пожалеть ее не дала. Сгорела ведь, истаяла, как свеча, не пережила смерти Евгения своего. Надо бы взбодриться ей, ради детей зажить. А она все об нем одном тосковала. Игорек у ней золото. На работе своей так вымотается, идет по двору, еле ноги передвигает. Ему бы выспаться, а здесь уроки... заглянула к нему вчера вечером, а он спит за столом с книжкой под щекой вместо подушки. Нельзя ему так

надрывать, у него самый рост организма сейчас. Он, вишь, в отца упорный. Должен, говорит, двойнят в дом забрать, а то без них совсем не жизнь. Я ему: «Игорек, может, у тетки-то им и лучше? Она и сготовит, и постирает, и ласка им, сиротам, женская нужна». А он ни в какую. Сам, говорит, должен отвечать за них. Мама же тащила нас три года одна? Что же я, говорит, не выдержу, что ли? Да я, говорит, бабка Нюта, всяческое уважение к самому себе потеряю. А без этого я никак жить не могу, ежели без уважения к себе самому. А уж как двойнят жалко, уж как их, сироток обездоленных, жалко...

Бабка запричитала, завывала, развернувшись к божьему лику, закрестилась мелко, выпрашивая у господ милости к рабам его малолетним.

Кузя отодвинула чашку и, пробормотав «до свидания», вышла на террасу.

Долго бродила она вдоль арки под мелким моросящим дождем.

Уже стемнело, когда раздались торопливые шаги и гибкая тень заскользила по каменному своду арки.

Кузя кинулась навстречу. Игорь вздрогнул.

— Наталья? Ты чего?

Кузя мотнула головой:

— Я... ничего.

Шагнула к нему, обхватила обеими руками за шею...

На улице по-прежнему противно моросил дождь, время от времени забрасывая резкими порывами ветра охапки сырости в полутемную арку. Фары мчавшихся по набережной машин выхватывали на мгновение из ее полукружия две застывшие фигуры. Голоса редких прохожих обрывками непонятных разговоров залетали в арку. Кузя чувствовала на лбу его теплые губы. Они двигались почти беззвучно, но ей было внятно каждое его движение, чуть уловимый шелест его губ.

— Только не надо меня жалеть. Слышишь, Наташка, ты не должна. Я не хочу... И поэтому ты не смеешь...

— Гошенька, а помнишь, у Достоевского... У него любить — значит жалеть. Я ведь жалею не так, как бабка Нюта. Я в другом смысле, еще не искаженном... Жалею, значит...

— Если я буду знать, что ты у меня есть, — я все смогу... Мне так нужна ты, Кузя ты моя...

...На кухне резко зазвонил телефон.

Еще крепче прижавшись лбом к стеклу, сквозь муть разводов я увидела, как гуськом потянулись на детскую площадку неуклюжие, смешные детсадовцы.

Требовательные телефонные гудки сверлили слух, и с каждым звонком поднималось откуда-то из глубины желание войти в кухню, прижать к уху прохладную трубку, увидеть нарочито презрительную усмешку.

Наверняка звонил мой Макаркин.

Когда я работала дома, он всегда звонил из своего МИДа и каждый раз обеспокоенно спрашивал:

— Ну, ты по мне хоть капельку соскучилась?

Как будто я могла, не солгав ему, ответить: да.

Макаркин часто повторял изумленно:

— У меня такое чувство, что мне всю жизнь предназначено домогаться тебя.

Мне показалось, что есть нечто символичное в том, что именно сейчас я стою, прижавшись лбом к стеклу, и вижу мир через мутную пелену дождевых затеков.

Полтора года назад, вернувшись из-за границы, истосковавшись по Москве, по ее суматошным улицам, непрекращающейся толчее метро, беспорядочной сутолоке москвичей и приезжих, я отправилась бродить по городу. Просто так, куда приведут ноги...

Говорят, подсознание никогда не прекращает своей работы. Человек живет, не отдавая отчета в своих мгновенных, чиркающих, как след падающей звезды, ощущениях, не фиксируя и не запоминая своих ассоциаций, тревожных снов. Он не ведает о разоблачительной деятельности собственного, никогда не дремлющего подсознания, которое вдруг внезапным прорывом из подкормки выдает, как вычислительная машина, результат многолетней работы, расшифровывая и переводя на чувственный, эмоциональный язык свой неведомый код...

Мои ноги словно знали, куда меня привести... Я остолбенела от неожиданности, очутившись вдруг на берегу Канавы и внезапно зажмурившись от нахлынувших детских воспоминаний. Так же, как тогда, спешили возбужденными группами школьники на экскурсию в Третьяковку, а с другой стороны Канавы бронзовый Репин, величественный и покойный, с застывшей навсегда кистью в руке, следил издали за потомками, спешащими на свидание к его картинам. Так же неслись

над водой напевные «и-раз!» — и легкие многовесельные байдарки скользили как бы без усилий по темной неподвижной воде.

Я подошла к красному кирпичному зданию моей школы.

— Тетя, у вас случайно спичек не найдется? — таинственно, вполголоса обратился ко мне долговязый школьник.

— Найдется, деточка, — усмехнулась я и протянула ему зажигалку.

— Ух ты! — восхитился долговязый. — Я сейчас. — И скрылся за углом школы, откуда через несколько секунд послышался дружный кашель.

— Спасибо, — появился долговязый, пряча в кулаке дымящуюся сигарету и с одобрением разглядывая мой фирменный джинсовый комбинезон.

— Да не за что, кашляйте, — ответила я.

Долговязый довольно ухмыльнулся и скрылся за углом.

На тротуаре билась и взлетала тяжелая веревка, и школьницы, выстроившись в длинную очередь, с визгом и хохотом мастерски прыгали через нее, проделывая ногами всевозможные пируэты. «Мы прыгали как-то по-другому. Ишь как все усовершенствовалось» — пронеслось в голове. И я почувствовала вдруг нахлынувшую жгучую зависть к этим визгливым девчонкам с голыми коленками, к их не замутненному дождевыми разводами веселью, ко всему их истовому школьному бытию.

Из распахнутых окон выплеснулся, зажурчал по переулку голосистый звонок, призывавший подняться в классы и продолжить уроки.

Рванулись к школьным дверям растекшиеся по переулку школьники и, образовав пробку, заорали, зашвистели в радостном ажиотаже, завизжали придавленные в толчее первоклашки. Высунул из окна второго этажа толстый флегматичный парень, жующий пирожок, захрюкал, оживился от открывшейся ему дверной давки. А уже через секунду все окна были облеплены смеющимися, сияющими физиономиями, все разом загомонили, заулюлюкали...

Прошествовали шатающейся походкой на вялых ногах обалдевшие курильщики из-за угла. Долговязый

бросил на меня быстрый, хитрый взгляд, замедлил шаг:

— А вы, наверное, учились здесь когда-то? Да?

— Вот именно когда-то. При царе Горохе. В другой жизни,— засмеялась я.

Долговязый понимающе кивнул, опять хитро сощурился.

— А нас учат, что никакой другой жизни нет, есть одна-единственная, да и та принадлежит не тебе, а обществу.

Я опять засмеялась:

— Сочувствую вашим учителям, если все ими сказанное в головах учеников потом таким образом перерабатывается.

Долговязый вдруг стал серьезным и очень конкретно сказал:

— Зачем вы все время смеетесь, когда вам... совсем наоборот? — Он зашагал к крыльцу, махнув на прощание рукой. Потом вдруг в два прыжка вернулся и посоветовал: — А вы не расстраивайтесь. Нам сегодня историк рассказал, будто на обратной стороне перстня царя Соломона знаете что было написано: «И это пройдет...»

И, разогнавшись, долговязый одним ударом пропихнул в дверь визжавшую пробку...

И если умирает человек,  
с ним умирает первый его снег,  
и первый поцелуй, и первый бой...  
Все это забирает он с собой.

Мои умные ноги принесли меня к моему первому... всему. Остальное потом было неправдой. Может быть, случается, что первое остается последним... Только, наверное, надо много прожить, чтобы понять это. Мой провокатор-подсознание копил во мне все эти долгие годы свой безжалостный приговор. Сквозь череду промелькнувших дней проступило единое: сейчас я жила исполнением своего жгучего затаенного желания.

Ноги несли меня к прохладному полукружию арки, к старинной террасе из потемневшего дерева, к голубятне, к незатейливым лужайкам из желтых одуванчиков.

Мое стесненное дыхание будто сэкономило силы для полного глубокого вдоха. Я знала, что лишь во двори-

ке я наконец продохну, словно лишь воздуху моего детства будет дано, как тому долговязому, единым толчком пробить возникшую преграду. Я знала: там наступит долгожданный покой, когда мой разум и совесть, освобожденные великодушием прощения, соединятся в гармоничном понимании содеянного за долгие годы. Я отдавала отчет, что стремлюсь даже не к прощению: кому или чему дано быть судьей жизни человеческой? Я хотела быть понятой...

Наверное, это было непозволительной роскошью — в придачу к моей благополучной жизни...

Мутные затеки на стекле вдруг поплыли, извиваясь, стали расползаться и коржиться, искажая до неузнаваемости знакомую картину двора.

Телефонные звонки, затихнув ненадолго, вновь наполнили квартиру резкими неуместными звуками. Мой Макаркин тщетно зывал ко мне...

Так далеко от него я еще никогда не была.

Инстинктивно я протерла глаза.

Картинка моего двора встала на место. На детских качелях, подпихиваемый в спину несколькими парами ладошек, бесстрашно взмывал к небу, мелькая зачищенными пластырем коленками, мой дикошарый сын.

Я давно не плакала. Пожалуй, с той самой минуты, когда, ничего не понимая, как вкопанная я замерла перед тем местом, куда принесли меня ноги.

Я тупо глядела тогда на аккуратные дорожки, посыпанные песком, на зеленые свежеевыкрашенные скамейки, на густую зелень сквера, по какой-то невероятной ошибке занявшего место дворики Игоря Турбина.

Из глубины сквера холодно и строго светили окна какого-то учреждения, голые, не утепленные занавесками или шторами.

Изумленно посмотрел на меня прохожий в очках.

Участливо глянули глаза толстой женщины с раздутыми хозяйственными сумками в обеих руках.

— Почему плачет тетя? — заинтересовался важный щекастый малыш.

Женщина виновато улыбнулась.

— Митюша, не отставай. Держись за сумку. У те-  
ти, наверное, соринка в глаз попала. Ты ведь сам зна-  
ешь, как это больно, когда в глаз попадает соринка!

По моим ногам прогрохотал игрушечный самосвал  
на длинной веревке, опрокинулся от неожиданной пре-  
грады. Оглушительно заревел щекастый малыш.

Нагнувшись, я поставила самосвал на колеса.

— Ну, вот и все в порядке. Не реви. Просто случи-  
лась небольшая авария.

Малыш радостно всхлипнул, выставил вперед ука-  
зательный палец.

— Сама ревешь...

Женщина поставила тяжелые сумки на асфальт,  
потянула малыша за руку.

— Митюша, не приставай к тете, пойдем.

— Скажите, вы здесь давно живете?

Женщина сочувственно обвела взглядом мое мокрое  
от слез лицо.

— Давно.

— Здесь, на месте этого сквера, был дом... Деревян-  
ный, с каменной аркой... с голубятней во дворе... Его  
снесли... Давно... снесли?

Женщина нагнула голову, пригладила растрепанную  
челку на голове малыша и, не глядя на меня, прогово-  
рила:

— Давно. Года три назад...

— И... куда?..

— Не знаю. Наверное, по новым районам. Как обыч-  
но. Да вы пойдите в райжилотдел — вам скажут.

Я кивнула, отошла к парапету набережной. Снова  
прогрохотал на длинной веревке зеленый игрушечный  
самосвал.

— Мама, а почему тетя плачет? Соринка — очень  
больно, да?

— Да, Митюша, это больно...

Говорят, когда у человека отнимают руку, она, уже  
несуществующая, продолжает болеть. Это потому, что  
клетки мозга еще живы. Они живут долго, истязая че-  
ловека своей несуществующей, нереальной болью.  
А потом... человек привыкает. Привыкает к тому, что  
он навсегда лишен такой, казалось бы, необходимой ча-  
сти себя. Привыкает не только из-за того, что отмирают  
клетки мозга. А потому, что мощью своего сознания по-  
нимает невозвратность, невосполнимость потери.



Это навсегда...

Я поняла, что живуча, как кошка. Моя способность адаптироваться в новых условиях была бесподобной. Она могла привести в восхищение окружающих. Безмерно страдало от этого лишь одно существо — я сама. Остальным всем моим так называемым близким было удобно и легко.

Я даже чувствовала тогда какое-то странное облегчение.

«Ну, вот и все,— думала я тогда.— И все. И пусть... Пусть так. Может, и к лучшему».

Уже потом дано мне было понять, что эта моя тогдашняя невесомость была сродни не облегчению, она была началом моей огромной пустоты.

#### 4

«Так балдеть от музыки...» — неодобрительно заметила Нинка Зиновьева на дне рождения у Кузи, когда после игры в фанты все уселись в кресла и Кузина мама поставила «Болеро» Равеля.

Никто не умел так слушать музыку, как Игорь. Глаза его, всегда насмешливо-тревожные, становились прозрачными и бездонными. У Кузи замирало сердце, когда она тонула в их завораживающей глубине, понимая обреченно, что ей не выплыть, и проживая свою гибель, как волшебный, сладостный сон. Сердце замирало, ноги становились ватными и холодными, и все богатство мира сосредоточивалось для нее в заполонивших голубизной весь белый свет единственных, неповторимых его глазах. Сквозь плотность вобранных им звуков глядел он отрешенно на Кузю, не видя ее замороженного лица, переполненный чудодейственной силой таинственной и непостижимой стихии.

Кузина мама занималась грамзаписью, и в их доме был культ музыки. Огромные динамики, установленные в разных углах просторного холла, передавали все тонкости и нюансы звуков, записанных на диски Кузиной мамой.

Постепенно заскукавшие одноклассники перебирались в Кузину комнату, где яростно вертелась на полу бутылка, соединяя довольных девятиклассников в целующиеся, по условиям игры, пары.

— Темнота — друг молодежи, — торжественно про-

возглашал Макаркин, щелкнув выключателем и поставив на пол горящую свечку.

Лишь Турбин и Кузина мама надолго замирали в удобных мягких креслах, слушая одну за другой пластинки с классической музыкой.

— Это поразительно, как сильно мальчик чувствует классику,— вздыхала потом на кухне мама, перемывая грудку грязных тарелок.

Кузя, зная эту страсть Игоря, часто доставала через свою маму билеты в консерваторию.

Он слушал музыку не расслабленно, как многие,— блаженно откинувшись в кресле и полуприкрыв глаза. Он был весь как натянутая тетива,— казалось, тронь его, и он зазвенит от напряжения.

Сосредоточенный и молчаливый, провожал он Кузю до подъезда и, едва кивнув на прощание, стремительно исчезал в темноте.

Однажды Кузя, забыв отдать ему перчатки, засунутые в карман ее пальто, побежала догонять Игоря.

Он шел, натываясь на прохожих, заложив руки в карманы и почему-то неестественно задрав вверх плечи.

Выйдя на набережную, он повернул в противоположную от его дома сторону. Кузя не осмелилась окликнуть, позвать. Она шла за ним по петляющим переулкам Замоскворечья.

Было пусто, и сухие охапки опавших листьев вятно шелестели под ногами в застывшем, безветренном воздухе. Каждый шаг гулко отлетал к стенам уснувших домов и, отталкиваясь, как бы разбивался, наткнувшись на свое спешащее навстречу повторение.

Игорь шел стремительно, не прислушиваясь к шуму торопящихся за ним ног. На углу неожиданно открывшейся площади он вдруг резко повернул и столкнулся с разогнавшейся Кузей. Он не удивился и не растерялся.

Жестко блеснули в полумраке глаза с незнакомым Кузе выражением. Стиснув до боли ее ладонь, он прошептал отчетливо:

— Из кожи вон вылезу, а Алешку с Петькой буду учить музыке. Так и запомни мои слова...

Кузя поспешно кивнула, протянула Игорю огромный кленовый лист в багрово-желтых переливах осени. Игорь стоял, покусывая длинный стебелек листа, а глаза его были далеко...

У Кузи тогда сжалось сердце от этого нового его жесткого взгляда...

— Ма-а-ма, мам,— пронзительный голос моего сына требовательно взывал в поднебесье.

— Три-четыре: ма-а-ма, мам,— дружно присоединились к голосу моего Петьки солидарные с ним детсадовцы.

Я распахнула окно, махнула рукой: вижу, мол, твои подвиги, горжусь. Вспомнила, как в первый год его пребывания в саду, когда под нашими окнами еще не было детской площадки, я с напряжением, до боли в глазах следила из театрального бинокля за каждой его прогулкой. Маленький, смешной, в оранжевом тулупчике с капюшоном, он старательно слизывал снег с варезек, а я швыряла бинокль и мчалась во весь дух спасать моего малыша от неизбежной простуды.

Укоризненно качала головой воспитательница Ольга Ивановна. Родным с детства, нарочито грубоватым голосом выговаривала мне:

— Кузнецова, возьми себя в руки и прекрати беготню. Ничего с твоим ненаглядным не сделается...

Тогда во мне еще жил атавизм того страха за его жизнь, который терзал меня безуданно с той минуты, когда руки впервые почувствовали почти невесомость врученной мне ревущей перепеленатой ноши. Это был животный, нерегулируемый страх. Уже позже, когда он стал вытесняться постепенно другими чувствами — нежностью, гордостью, ответственностью за его судьбу,— я поняла, что тот страх был самым сильным ощущением в моей жизни. Он был хитроумен и действен в своей потенциальной силе. Доведенная этим страхом до крайности, я не спала тогда, почти не ела, я слушала дыхание сына, и каждый плач сводил меня с ума, отнимал силы.

Этот мой страх мог бы, наверное, будь он преобразован в энергию, совершать невероятные действия.

Кажется, тогда я была способна на все. В редкие минуты просветления, временного освобождения от гнета страха, я ужасалась себе. Как-то вдруг вспомнила случай из моего детства.

На даче у соседской собаки Ласты родились щенки. Их было трое. Три неуклюжих лохматых комочка. Они

только-только встали на свои дрожащие, неумелые лапы и тыкались друг в друга крутособыми мордочками смешно и трогательно. Все над ними причитали и восторгались, гладили счастливую Ласту с блестящими, почеловечески осмысленными от значительности происшедшего глазами.

Через несколько дней за щенком пришел человек. Он только вошел в калитку, а Ластва уже напружинилась, забегала вокруг дремавших на солнце детенышей. Человек тихо переговаривался с хозяйкой, пил чай под навесом и даже не глядел в сторону щенков.

А Ластва тихо скулила и, вылизывая щенков горячим шершавым языком, тоскливо глядела на пришедшего.

Мы, дети, еще не понимая сути происходящего, почувствовали ее тоску и отчаяние, попробовали приласкать ее и щенков, но собака грозно зарычала, шерсть вздыбилась, а в глазах вспыхнули незнакомые злоеющие огоньки. Мы были просто потрясены переменой такой всегда ласковой, покладистой Ласты.

— О, это самый могучий инстинкт из всех существующих — инстинкт материнства, — непонятно пояснила нам тогда хозяйка Ласты, видимо, жалея бедную собаку и сочувствуя ей.

— А зачем же вы отдаете щенка, если сами переживаете? — поинтересовалась я.

Ластина хозяйка грустно усмехнулась и, погладив меня по голове, пояснила:

— Что же делать, деточка?! Не могу же я держать столько собак. Я все понимаю, но что же делать?!

Я всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать и тем не менее делать этому наперекор.

Поражалась до тех пор, пока сама впервые, все понимая, не поступила иначе... Наверное, это был мой первый взрослый поступок.

Ласту заперли на маленькой застекленной веранде, пока хозяйкин знакомый забирал щенка. Собака металась по веранде и выла высоким, отчаянным голосом.

Когда человек, засунув за пазуху щенка, направился к калитке, зазвенели разбитые, падающие на пол стекла, и окровавленная, взъерошенная Ластва разъяренной тигрицей в два прыжка настигла уходящего и кинулась на него.

Страшно закричала хозяйка, завизжали дети, а большая, добрая Лада душила в железных объятиях своего смертельного врага — существо, посягнувшее на ее детеныша.

Я до сих пор помню ее глаза. Тоскливые, переполненные тусклым, отчаянным страхом.

Теперь я спокойно смотрела на бесконечные синяки и ссадины моего сына, тем более что они были непреходящи. Болел он редко и легко.

— Мам, скинь нам карамелек. Заверни в пакет — мы поймаем. Они в вазочке на кухне...

Здрав вверх головы, детсадовцы просительно глядели в окно.

На кухне послышался лязг собираемых инструментов, поспешные шаги в прихожей. Через секунду из вывернутого крана в ванной хлынула вода.

Я вошла в кухню. Мои ноздри с жадностью втянули запах дешевых папирос и какой-то еще чужой, незнакомый запах, ненадолго поселившийся в моей кухне.

Кузя влетела на старинную террасу и, чуть не сбив с ног изумленную бабушку Нюту, повисла на шее Игоря, болтая ногами и дико выкрикивая:

— Ура! Поздравляйте! Принята!

Взлохмаченный Кузиными суматошными объятиями, Турбин счастливо смеялся тихим, добрым схемом, целовал Кузины тугие щеки и приговаривал:

— А кто говорил, что Кузя самая талантливая, самая умная, самая распрекрасная...

Ах, как он умел радоваться чужому счастью, этот Турбин! Как он умел горевать над чужой бедой...

## 5

Кузя была принята в Ленинградское Мухинское художественное училище. Отец Кузи сам кончал Мухинское, был коренным ленинградцем.

В Ленинграде жила любимая Кузина бабуленция. Бабушка, прошедшая голодную блокаду, пережившая смерть самых близких людей, заражала Кузю своей уди-

вительной жизнеспособностью, фанатичной любовью к своему городу.

Каждый год на каникулы Кузя приезжала к бабулениции и неизменно ухватывала хвостик ускользящих белых ночей. Бабушка сердилась на Кузю, когда та возвращалась домой не на рассвете, ворчала, что так можно проспаться всю жизнь.

— Ну, явилась не запыхалась. На улице-то красота какая, а ты спать заваливаешься. Я в твои годы в пору белых ночей и глаз не смыкала. И хотелось спать, а чувствовала — нет, нельзя такое упускать... Бывало, весь Петербург исколесишь. На улицах людно, весело — где песни запевают, где, глядишь, пляски устроят под гармошку. А уж когда на острова выбирались — дух замирал... Нельзя, Наташенька, такое проспаться... Потом спохватишься, да уж поздно будет.

У Кузи тоже замирал дух от той гармонии, которой освящен был Ленинград в пору белых ночей. Казалось, ночь залюбовалась городом и, оцепенев от его простой и торжественной красоты, все медлила и медлила накинуть на него свое темное покрывало. Замешкалась ночь, а тут уж на цыпочках подкрадывается румяный рассвет. И отступала, негодуя и сожалея, чуть виноватая ночь, а сама ждала и томилась полюбившимся видением города и, с нетерпением дождавшись своего часа, вновь и вновь медлила затуманить любимые черты, смешать четкость линий, одарить изнуренных сладостной бессонницей жителей прохладной благодатью.

А потом проходила влюбленность, и все короче становились безудержные свидания.

И наступала пора, когда равнодушно и деловито накидывала охладевшая к красотам города ночь свой волшебный плащ. И обессиленный город смежал уставшие веки, мгновенно и крепко засыпал...

Кузя не очень сопротивлялась желанию родителей послать ее учиться в Ленинград. Она знала, что будет скучать по Игорю. Но они виделись и так редко.

Выпускные экзамены, напряженные занятия рисунком и подготовка работ к творческому конкурсу в училище — это занимало весь день, которого никак не хватало, и приходилось урывать часы, предназначенные для сна. А тут еще внезапная, переродившаяся из детской привязанности любовь напропалую хиппующего Макаркина. Для него вдруг свет клином сошелся на

Кузе. Макаркин таял и сох, сох и таял. Он свирепо ревновал ее к Турбину, грозился убить Кузю, Игоря, себя. Родители Макаркина паниковали, шептались вечерами с Кузиной мамой, приходили в отчаяние от надвигающегося неотвратимого провала их страдающего отпрыска в Институт международных отношений. Макаркинская безумная любовь не вызывала у Кузи особых эмоций.

Она даже немножечко презирала его за то, что он умудрялся выражать все, что чувствует, ничего не оставляя для себя. И все-таки Макаркина Кузя по-своему любила и даже поцеловала его в щеку, когда в день рождения он осыпал ее целым дождем белой сирени.

Кузина мама нарочито равнодушным голосом стала вдруг обращать ее внимание на то, как повзрослел Валерик, какой стал красивый, высокий и, главное, как удивительны его манеры. Кузя смеялась, разоблачая мамины хитрости:

— Мамочка, ну что Макаркин — барышня, что ли?! Видите ли, манеры у него удивительные! И где это ты манеры разглядела сквозь его патлы и драные джинсы? И потом, не надо меня сватать. Все равно не выйдет!..

Кулек с карамельками спилотировал на тротуар. Как по команде, все детсадовцы дружно засопели, зашелестели фантиками, заверещали вразнобой:

— Спасибо, тетя Наташа!

Голоса у всех были умильные, подслащенные карамельками.

Я почувствовала, как мой рот расплзается в невольной улыбке: «Господи, до чего же смешные...»

— А это еще что? Что вы все едите? Сколько раз внушала вам: портить аппетит не разрешаю. Все дети как дети, а вы — как стадо баранов. Наказание, а не дети, — пророкотал под окнами голос Ольги Ивановны. — И кто вас так, кстати, угостил?! А?

Я поспешно спрятала голову за штору. А голос Ольги Ивановны бушевал под окном:

— Кузнецова, прекрати безобразие. И нечего прятаться за штору. Нашкодит, а потом прячется! Это же надо — всей группе аппетит испортить! Сегодня же по-

звоню твоей матери.— И, оставив меня в покое, уже детям: — А теперь все хором плюнем. Три-четыре. Макаркин, почему ты не плюешь?

И счастливый голос Макаркина:

— А я уже все заглотил, Ольга Иванна...

Первого сентября двойняшки Турбины должны были пойти в школу.

Всю весну и лето Игорь работал в две смены. Надо было обмундировать первоклашек по всем правилам.

Вернувшись из Ленинграда после экзаменов уже студенткой первого курса, Кузя повела двойняшек в «Детский мир» покупать школьные формы, ранцы, тетрадки, запастись разными ластиками, линейками, обложками.

Кузя чувствовала в обеих руках потные от волнения маленькие ладошки. Двойняшки впервые попали в «Детский мир» и, изумленные, с восторгом таращились по сторонам.

Здесь, в нарядной громкоголосой толпе детей, Кузя вдруг заметила, как плохо одеты двойняшки. Их застиранные самодельные костюмчики были тесными и неуклюжими. Брюки, едва доходившие до тоненьких щиколоток, пузырились на коленях, рукава рубашек были закатаны, чтобы скрыть их недостающую до запястьев длину. Кузя почувствовала тогда прилив острой жалости и нежности к малышам, мысленно дала себе слово откладывать для них всю будущую стипендию. Тогда Кузя еще не понимала, как легко давать себе слово в семнадцать лет и какая огромная пропасть между словом и исполнением обещанного.

Кузя чувствовала: Игорь очень хотел, чтобы она осталась в Москве на первое сентября, поделила с ним счастливый день вступления двойняшек в школьную жизнь. Он просил ее об этом глазами, вдруг неожиданно повисающими паузами. Просил всем своим существом. Не было только слов.

Великодушно предоставлял ей Игорь возможность оправдаться перед собой за свою несостоятельность якобы непониманием. Он не хотел ради Кузи переводить свою просьбу на язык слов, когда отказать было



бы уже невероятно. Кузя знала это и злилась на себя за жгучее желание начать студенческую жизнь с того дня, который всегда был самым любимым на протяжении десяти школьных лет.

За три дня до начала учебного года заболела бабуленица, и Кузя тут же взяла билет на поезд. Теперь вроде бы ее совесть была чиста.

Двойняшки, замерев от восторга, стояли перед зеркалом в новеньких школьных формах и блестящих ботинках.

Но больше их сиял сам Игорь. Его лучистые глаза заботливо и счастливо оглядывали малышей; руки, ловкие и сильные, любовно расправляли складочки на одежде первоклашек. Перехватив внимательный Кузин взгляд, он отвел глаза и нарочито грозно обратился к двойняшкам:

— Помилуйте, господа, примерка давно закончена. Позвольте помочь вашим сиятельствам снять мундиры.

Двойняшки заливались веселым смехом, смеялся и Игорь, а Кузя стояла посреди комнаты со своим дурацким чемоданом и чувствовала, как Игорю не хочется смеяться.

Потом был вокзал с его привычной сутолокой, с равнодушным, немигающим глазом семафора.

Лицо Игоря, напряженное от усилий сохранить всегдашнюю невозмутимость... Сделать вид, что ничего не произошло... И глаза почему-то виноватые... Его, а не Кузины, виноватые глаза, впервые избегающие ее растерянного взгляда...

Хрустнули суставы переплетенных побелевших пальцев.

Как же все запутанно и сложно, если через столько лет дано было мне понять тот ускользающий его взгляд на шумной платформе Ленинградского вокзала...

Год назад, каким-то невероятным образом разыскав мой телефон, мне позвонила моя школьная подруга очкарик Тимошка.

— Кто это? — не поняла я, услышав, что звонит некто Людмила Ивановна Тимофеева.

После короткой паузы Тимошка удивленно протянула:

— Ну, ты нахалка! Не узнать своей боевой подруги?! Ты эти номера, старушка, приканчивай. Считаю до трех: не узнаешь — повешу трубку.

Действительно, как же меня угораздило не узнать сразу Тимошку?

Я представила себе, как она сейчас обескураженно хлопает бесцветными ресничками — часто-часто, словно промаргивается, — и смешно морщит розовый нос.

— Извини, Тимофей, родненький. Мне простительно — я ведь, страшно сказать, с другого континента недавно вернулась. Знаешь, еще в себя никак не приду.

— Да знаю, лягушка-путешественница. Ну, как ты? Как Валера? Я знаю, что у вас парень уже здоровый. Как зовут?

— Петром Валерьевичем величают. Уже шесть годов стукнуло. Здоровый мужик... Тимош, а ты как? Работает там же?

— Там же. Надоело до смерти. Слушай, Кузька, мы здесь как-то встречались... вас с Валеркой вспоминали.

— Подожди. Кто это вы?

— Ну кто, одноклассники твои бывшие, балда. Господи, такие все другие стали... Я тогда, грешным делом, подумала — может, и не стоило. Веселья было мало, а послевкусие до сих пор сохраняется... горькое-прегорькое.

— Тимош...

— Чего?

— Да нет, ничего. Когда повидаемся-то?

— Господи, да хоть сегодня. Чего спросить-то хотела? Про Турбина, что ли?

— Ага...

— Ничегошеньки про него не знаю. Ой, погоди, как же не знаю? Знаю самое главное. Проучился в медицинском полгода и был отчислен за непосещаемость.

— Почему?

— Нинка Зиновьева видела Грымзу. Правда, это очень давно было. Один из двойняшек очень чем-то болел.

— А чем?

— Ты знаешь, не помню... У них ведь наследственность еще та. Грымза еще вроде Нинке сказала, что Игорь на части разрывается, а мы все свинтусы и могли бы помочь... А потом обвиняла нас, что все мы, бедари вроде бы, институты позаканчивали, а он — самый блестящий и расталантливый... Ну и так далее. Сама Грымза хотела вмешаться в эту историю с отчислением Турбина, сходить к ректору, но Игорь категорически запретил. Ты ведь знаешь, какой он гордый. Да и как Турбин относится ко всем, кто проявляет участие, ты знаешь. Не говоря уже о помощи. Ты-то знаешь...

Да, я знала. Только мне — не теперешней, нет, а тогдашней Кузе — приоткрыл он лазеечку в свою жизнь, в свою судьбу, в свое сердце. Только мне гордый, независимый Турбин дал право участия и суматошной, беспорядочной помощи. Только мне доверил он теплые ладошки своих ненаглядных двойняшек и разрешил им привязаться ко мне, привыкнуть.

«И это пройдет...»?

Нет, царь Соломон с долговязым курильщиком явно ошибались.

Это останется. Как бесконечный невидимый шлейф будет тянуться всегда, опутывать, обескураживать, разбивать разумные доводы и соображения здравого смысла, сбивать с толку — это мое вечное бремя, вечная ноша...

Ленинградская студенческая жизнь оказалась невероятно насыщенной, шумной.

Общительная Кузя быстро обросла компанией новых друзей.

Жить с бабушкой Кузе очень нравилось. Та не угнетала внуку нотациями и советами, не призывала к благоразумию, охотно соглашалась на многочисленные студенческие сборища в своей старомодной петербургской квартире.

Бабушка познакомила Кузю с сотрудниками Русского музея и Эрмитажа, и Кузя по целым дням пропадала в запасниках, извлекая для себя из их богатейших кол-

лекций новые имена, новые впечатления, новые представления о живописи.

Иногда она просила Кузю съездить с ней в Репино, где жила ее дальняя родственница. Кузя брала с собой мольберт, краски, и пока две старушки устраивали чаепитие и вспоминали дорогих ушедших из жизни людей, она бродила по лесу, спускалась к заливу, выбирая натуру, и делала наброски пейзажей, стараясь не упустить никаких нюансов и деталей натуры, за что ее всегда расхваливала бабушка.

В мансарде бабушкиного дома размещалась мастерская. В ней среди засилья гипсовых фигур работала Кузя. Бабушка была прекрасным скульптором.

Кузе очень нравилась ее лаконичная, жесткая манера, мужская, четкая. В то же время скульптуры ее были согреты мудрым, теплым пониманием людей, даже какой-то затаенной снисходительностью к ним.

Больше всего любила Кузя бабушкиного Чехова. Он сидел на садовой скамейке, чуть нагнувшись вперед, его гибкие, нервные пальцы обхватили переплетенные ноги, а голова, красивая, гордая, на длинной шее, была чуть склонена к плечу, словно он прислушивался к себе, одухотворенный пока еще неясными переплетениями человеческих судеб, переполненный любовью и жалостью к своим мятущимся героям.

Чем пристальнее вглядывалась Кузя в скульптуру, тем больше поражалась тому непрерывному движению, которое было передано в абсолютно неподвижной позе писателя, — движению мысли, интеллекта, внутреннему беспокойству и сосредоточенной одержимости.

Кузя могла проследить каждое движение, предшествовавшее запечатленной позе Чехова. Вот он порывисто поднял правую руку, расстегнул тугой стоячий ворот рубахи, крутнул головой, вздохнул глубоко-глубоко и, еще не выдохнув до конца, бросил на колени руки. Еще раз хотел пошевелить головой, освобождаясь от крахмального воротничка, да так и замер, чуть наклонив голову от вдруг нахлынувших ощущений, расслабив от всегдашнего близорукого прищура свои прекрасные всевидящие глаза...

Игорь появился в Ленинграде внезапно.

Как всегда Кузя позвонила в перерыве между лекциями.

— Булька, приветик! У меня все тип-топ. Как ты?

— Тоже тип-топ. Наташка, к тебе гость приехал. Турбин твой. Слушай, замечательное лицо у него. Сейчас таких лиц уже не бывает, знаешь, какое-то народовольческое... Я бы, пожалуй, поработала над ним...

Кузя почувствовала, как ее бросило в жар. Игорь здесь, в Ленинграде. Как неожиданно! Три дня назад получила от него обстоятельное письмо — и хоть бы словечко.

— Буль, подожди. Ясное дело, он тебе будет позировать. А он сам-то где?

— А он отправился Ленинград смотреть. Я его чаем напоила, и он пошел. Я ему, конечно, сказала, что нужно увидеть в первую очередь...

На лекции Кузя ничего не слышала. Ей было не по себе. Она даже не понимала — рада она его приезду или нет. Когда на Ноябрьские праздники как снег на голову свалился Макаркин — она была ему рада...

Да, она была рада Макаркину. С ним было всегда просто и весело. А вот сейчас она никак не могла разгрести той сумятицы чувств, которые нахлынули с появлением Турбина. Что-то неясное копошилось в Кузе, какое-то незнакомое, чужеродное, как соринка в глазу, чувство. Это «что-то» мешало ей собраться с мыслями, принять радостно и ясно его приезд.

После лекций Кузя вывалилась на крыльцо в галдящей толпе студентов. Подхваченная с двух сторон под руки, она скользила по ступенькам, когда вдруг увидела Турбина.

Он стоял, прижавшись спиной к толстому стволу дерева, почти впечатавшись в его изборожденную глубокими морщинами плоть, и глазами выискивал в толпе студентов ее рыжую голову.

Его всегдашние длинные волосы были непривычно коротко подстрижены, открытая худая шея и торчащие уши подчеркивали болезненную бледность кожи и угловатость хрупкой фигуры. Светлый вылинявший плащик казался убогим и нелепым на фоне заснеженных ленинградских улиц. Стиснутая в руках черная меховая шапка, отделанная кожей, так не вязалась с плащом, что он, видимо, понимая это, сдернул ее с головы, неуклюже комкая в руках.

Кузя успела отметить, что на Игоря обращают внимание и даже оглядываются.

— О господи! — фыркнула бегущая впереди блондинка из параллельной группы, оглянувшись назад, стрельнула глазами на застывшую у дерева одинокую фигуру, привлекая к нему внимание однокурсников.

Кузя вспыхнула и опустила глаза.

— Я сейчас... тетрадку оставила... Впрочем, не ждите меня...

Рванулась обратно к институтским дверям, промчалась мимо оторопевшей вахтерши в опустевшую аудиторию, плюхнулась с размаху на подоконник.

В морозном воздухе, как разбухшие бабочки-капустницы, плавно кружились громадные бесформенные снежинки. Их нежелание падать на землю под ноги равнодушным пешеходам, их истовое стремление кружить и плавать в воздухе — где каждая из них хороша и грациозна — словно сообщали им силу, и они задерживали свое неизбежное слияние в бесформенную массу, покоряясь легчайшим дуновениям ветра.

Подоконник был холодным и узким. Дверь в аудиторию распахивалась и со стуком захлопывалась пробегающими студентами.

Снежинки за окном множились, превращаясь в беспорядочный головокружительный хоровод. К вечеру Ленинград завалит снегом... Выйдут на улицу розовощекие дворники с метлами и лопатами, заскребут скребками, скovyривая скользкий утрамбованный нарос. Замелькают в воздухе слепленные снежки, зазвонят разбитые стекла под сердитые крики непонятливых взрослых, покраснеют носами-морковками неуклюжие снеговики во дворах и скверах.

Снег шел вовсю... В окно аудитории со звоном ткнулся туго слепленный снежок. Махнула Кузе рукой незнакомая девушка в лохматой шапке с ушами, сгребла снег для следующего снежка, с хохотом увернулась от настигшего ее на месте преступления растрепанного длинноволосого студента. Отделилась от морщинистого тополиного ствола нелепая фигура в вылинялом плаще, медленно двинулась вдоль институтского здания, комкая в застывших руках меховую шапку и словно нехотя переставляя ноги. Ткнулся в воротник плаща настигший снежок, залиvisto зазвенел смех бегущей извиняться девушки в шапке с ушами — и смолк, споткнувшись о его

лицо. Наверное, у Игоря было такое лицо, что Кузя слышала, как споткнулся этот смех...

Кузя всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать и тем не менее делать этому наперекор. Поражалась до тех пор, пока сама, все понимая, не поступила иначе. Наверное, это был первый взрослый Кузин поступок.

Впрочем, тогда это уже была не Кузя. Это была я...

## 6

В ванной не было слышно ни шума воды, ни звона инструментов, ни шороха движений. Я вдруг четко увидела его, сидящего на краешке ванны.

Застывшая, напряженная фигура чуть внаклон, как тогда в зале консерватории, отсутствующие, распахнутые навстречу нахлынувшим воспоминаниям ненаглядные его глаза, тонкий рот с чуть подрагивающими уголками, копна непокорной спутанной соломы, в густоте которой мгновенно теплеют замерзшие кончики пальцев.

Меня знобило.

Отшвырнув халат, путаясь в джинсах, лихорадочно ввинчивая непослушными пальцами пуговицы кофты не в те петли, я замерла на секунду перед дверью в ванную. Распахнула ее.

Из незавинченного крана, захлебываясь, падали в раковину торопливые звенящие капли.

Тараторя и перебивая друг друга, они, как бы боясь, что их не дослушают, рассказывали какие-то невероятные истории.

Махровый коврик, аккуратно сдвинутый в сторону...

Резиновый вантуз, сохнувший в углу ванной...

Мое бледное лицо в зеркале над раковиной с чужими немигающими глазами.

И все...

Я почему-то очень осторожно прикрыла дверь ванной, вышла в коридор.

Из неприкрытой входной двери доносился шум лифта, звон бутылок в мусоропроводе. Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от коридорного зеркала, ослепил мои глаза своей неожиданной выходкой.

Со стуком упала лыжная палка, перегородив мне дорогу.

Я захлопнула дверь, пристроила палку острием в поролоновый коврик. Откинув со лба упавшую прядку волос, оглядела квартиру, пытаясь определить, на какое время я засяду за уборку. Моя квартира представляла собой довольно тоскливое зрелище...

Я подошла к окну.

Как из другого мира, ворвались будничные голоса прохожих, визг тормозов, смех куда-то спешащих людей.

На детской площадке с жалобным скрипом раскачивались пустые качели. Брошенные, беспомощные, как чье-то безвозвратно ушедшее детство.



## „Тайная вечеря“

У меня кончилась краска...

Я так и знала, что ее не хватит. Деревянный частокол оградки лишь казался небольшим. Неровная, плохо оструганная древесина тоненьких реек словно пожирала краску, оставляя белесые, непрокрашенные прогалинки. Я втерла оставшуюся на кисти краску. Долго пыталась отодрать прилипшую волосину с плохо окрашенной рейки. Но волосина словно приросла. Наконец поддев ее длинным отполированным ногтем, я долго смотрела, как застывает на нем голубая краска.

— Почему именно голубая? А что, зеленой не было? — удивлялась мама, когда я переливала краску в стеклянную банку.

— Зеленая была.

— Надо было купить зеленую. Оградки на кладбище чаще всего зеленые.

— Я купила под цвет своих глаз.

— Оставь свой извечный черный юмор, — вскинулась мама и хлопнула дверью.

В последнее время я часто раздражала ее. Даже когда молчала. Казалось, мое молчание было для нее красноречивей длинных монологов. Хотя она ошибалась. Я молчала просто так. Я была пустая и равнодушная ко всему на свете. Мне было просто лень говорить, и я физически ощущала, как бесполезно и гулко отдается внутри каждое сказанное мною слово.

С сожалением оглядев недокрашенную оградку и воткнув кисть в банку, я села около могилки.

Ветер ворошил мои волосы, плавно покачивал тяжелые головки разросшихся золотых шаров за оградой соседней могилы, разносил слабыми порывами многоголосый хор кузнечиков. Какой-то высший покой осенял старое кладбище. Впервые в жизни я легко подумала о смерти. Без страха, без сожаления. И усмехнулась сво-

им мыслям. Наверное, чем ближе человек к смерти, тем проще сознание подводит его к неизбежной черте небытия.

Мой несовершеннолетний возраст не избавлял меня от животного, знобкого страха умереть, но моя жизнь в последние два месяца как бы сконцентрировалась на этом пригорке, где среди крестов и могил я вдруг обостренно ощутила протянувшуюся нить между мной и теми, кто был когда-то, а теперь лишь легкая насыпь земли и дерна кошунственно просто обозначала их былую жизнь.

В самые первые дни я боялась идти через кладбище. Продиралась в обход сквозь колючие заросли кустарника, обдирая до крови ноги, царапая лицо и руки, чтобы только не идти сквозь ряды застывших крестов и памятников с пугающими ликами в овальных рамках, чтобы не видеть скорбных фигур пришедших сюда людей. Даже нескончаемая песня кузнечиков казалась мне тогда зловещей. Это прошло. Теперь я уверенно шла меж могильных оградок, оглядывая их, как старых знакомых, и примечая любую перемену в этом нехитром хозяйстве. То дождь прошел, подмыло глинистую почву, и старый полусгнивший крест повело, сособочило, так и торчал он теперь набекрень. То вдруг заалел недавно посаженный розовый куст на прежде забытой заросшей могилке, и застенчивое лицо пышноволосяй девушки, впечатанное в низенький гранитный памятник, словно ожило, засветилось. То петляющие дорожки кто-то заботливо посыпал желтым песком. Наверное, Мотя. Мотя была кладбищенской сторожихой.

— Ишь, каждый день ходит. Ничего, это дело нам знакомое. Попервости бывает, что и ходят. Только вот хватает вас всех ох как ненадолго, — раздался как-то надо мной насмешливый голос.

Обернувшись, я увидела тогда крупную женщину.

— Послушайте, какое вам дело?.. — начала я.

— А мне никакого дела нету. Это я вам нужна, — склочно оборвала меня женщина и в ответ на мой остолбеневший взгляд добавила: — Ну, чего зенки-то выкатила?! Мотя я. Здешняя сторожиха. Договориться, ежели хочешь, насчет ограды или памятника — давай ко мне. И не хами! Пигалица еще. Ишь ты, не мое дело! Здеся вот все дело мое.

Мотя раскинула руки, словно обняла всю территорию кладбища, и, сердито оглядев меня с головы до ног, неодобрительно скривила грубо накрашенный рот.

Я с изумлением смотрела тогда на ее цветастое крепдешинное платье, плотно облегавшее мощную фигуру, на яркую зелень теней сильно накрашенных глаз, на огненно-рыжую голову в мелких завитках шестимесячной завивки...

Теплый ветерок высушил краску, и теперь оградка казалась совсем некрасивой, облезлой. Зато завтра она заголубеет под стать небу. Уж теперь-то я точно знала, сколько мне понадобится краски.

— И охота тебе возиться? — лениво пробурчала Мотя, узрев меня у кладбищенских ворот с банкой краски. — Гони на бутылку — Еремееву, заразе! Велю покрасить.

Я отрицательно помотала головой.

— Нет уж, я сама. Спасибо.

— Дело хозяйское. Валяй сама. — Мотя махнула рукой. — Перемажешься с головы до ног — ко мне не беги. Ни бензина, ни ацетона не держу. Усекла?

С сожалением оглядев свой длинный голубой ноготь и засохшие пятна краски на джинсах, я вынула из сумки конверт. Сегодня мне вручил его нотариус.

Вывалился на траву пожелтевший лист бумаги с двуглавым орлом наверху. «Дипломъ» — было напечатано под гербом. А еще ниже текст: «Предъявительница сего, Наталия Арсеньевна Беловольская (рожд. Великанова), дочь мещанина, вероисповедания православного, родившаяся 14 сентября 1893 года, выдержавшая испытания в Историко-Филологической Испытательной Комиссии при Императорском Петроградском Университете по славяно-русскому разряду с дипломом I степени, подвергалась в Историко-Филологической Испытательной Комиссии сессии 1916 года испытаниям для получения звания учительницы средних учебных заведений...»

Я вложила документ обратно в конверт, нащупала небольшой плотный листок бумаги. Это оказалась фотография.

...— Мотя, скажите, пожалуйста, никто не спрашивал про мою... то есть про эту самую могилу? — спросила я как-то, жестоко ненавидя себя за все же вырвавшийся вопрос.

— Нет. Никто не спрашивал.— Мотя удивленно повела плечами и, помолчав, добавила, жалостливо глядя на меня своими круглыми раскрашенными глазами: — Нервная ты все же, Александра. И худая. Кости так и торчат. Ключицы вон.— Она бережно ткнула меня коротким пальцем.

И тогда я заплакала. Впервые за долгий месяц. Я редела в голос, громко, задыхаясь от нехватки воздуха и ощущая, как рядом крепится изо всех сил большая грубая Мотя, чтобы не заплакать вместе со мной.

— Ну, будет, будет,— растерянно приговаривала Мотя, неловко поглаживая меня по голове шершавой ладонью.— Я ведь тоже, знаешь... Не очень-то у меня житуха сладкая. Хочешь, расскажу?

Я кивнула, размазывая по лицу слезы.

— Я ведь, знаешь, Александра, жутко одинокая. Ага! У меня по ночам от одиночества даже под ложечкой сосет. И такая тоска наваливается! Прямо морду хочется запрокинуть и завывать по-волчьи.

Я всхлипнула, а Мотя вздрогнула, впилась в лицо настороженным взглядом, проверяя, не смеюсь ли я над ней. Но мне было не до смеха.

— Мужик у меня был,— продолжала Мотя.— Был, да такой, что не приведи господь. Электричкой его задавило по пьяному делу. А может, и к лучшему. Грех на душу беру, а думаю, правда, что к лучшему... Только при всякой бабе мужик быть должен. Да и детки тоже... От них ведь радость в доме... Ну вот, подруга моя, Таисия, что на станции стрелочницей, меня и надоумила. Иди, говорит, Мотька, кладбищенской сторожихой. Дело прибыльное! И, не ровен час, вдовца какого подцепишь. Он попервости будет на могилу ходить поплакать, а ты, говорит, посочувствуй ему, погорюй с ним, расспроси что да как.

Мотя мечтательно прикрыла глаза ярко-зелеными веками. А я смотрела на ее грубое лицо с толстыми, добрыми губами, на ее руки с широкими, жилистыми кистями, задубевшими от постоянной работы, на ее чересчур девчачье платье с рукавами-фонариками —

и с удивлением понимала, что не чувствую к ней неприязни. Мне даже не было ее жаль. Наверное, я уже начинала понимать, что путь у каждого свой, особый. Иному и идти по такому пути тошно, а он идет и сам не ведает, почему он его выбрал. Глядя на размахнувшуюся Мотю, я вспомнила вдруг когда-то поразивший меня образ. Мир — как огромный ковер, в котором гармония линий прекрасна и законченна, проста и филигранна. Но лишь одному творцу, создателю этого ковра, ведома изнанка, где царят беспорядок и хаос, где бесчисленные нити судеб рвутся и стягиваются уродливыми узлами, путаются и переплетаются. И какое счастье, что никому из живых не увидеть этой изнанки. Так же, как напрасны попытки выхватить взглядом из его лицевой стороны кусок шириной больше ладони.

И Мотина ниточка вплеталась в общий узор ковра, вносила в колорит рисунка жизни незатейливую, грубоватую лепту, выгодно оттеняя чью-то филигрань простотой и надежностью суровой деревенской нити, подчеркивая скудностью своей окраски благородство и нежность соседствующего шелка.

— ...Гадость какая,— брезгливо поморщилась мама, когда я, пытаясь разрядить напряженное молчание за завтраком, пересказала разговор с Мотей.

— М-да,— неопределенно хмыкнул отец, вскидывая от газеты на мамино лицо свои всегда виноватые глаза.

— А ведь ковер-то уже соткан! — неожиданно вырвалось у меня.

— Что? — переспросила мама с вызовом. — Какой ковер? Что ты бурчишь себе под нос?!

— Да вот, кстати, цены на ковры все-таки повысились,— оживленно поддакнул из-за газеты отец.

— Наш разговор,— подвела я черту,— как из популярного журнала «Крокодил».

— Ты становишься невыносимой, Александра! — повысила голос мама. — Тебе надо лечиться. Ты распустилась. Провалишься в университет — не жалуйся. И учти: твои бдения на кладбище святости тебе не прибавляют.

— Да, правда, Сашенька, ты явно перебираешь,—

снова появились над распластанной газетой виноватые отцовские глаза.

Я резко отодвинула стул...

С пожелтевшей фотографии на меня смотрели люди. Их было семь человек. Верней, шесть. Шесть человеческих лиц. Седьмая была — нелюдь. И именно она обнимала нежно ту, чье лицо с покорными глазами глядело из-за полуголубой оградки.

«Скажите, Мотя, никто не спрашивал о моей могилке?»

На обратной стороне фотографии мелким ровным почерком было написано: «Видите, Наталья Арсеньевна, какой я сердитый». И подпись: «Яков Сергеевич Вок». Я снова перевернула фотографию. Худой старик с лихо закрученными вверх пышными усами смотрел на меня тревожно и вопросительно. Но совсем не сердито. Он словно спрашивал меня о чем-то важном и очень хотел, чтобы я ответила на его вопрос. Я достала из сумки ручку, толстую тетрадь в школьную линейку и, подумав, начала писать.

\* \* \*

«Генерал Яков Сергеевич Вок недовольно дул в свои пшеничные усы, ловко лавируя шуплым телом среди разноликой многоголосой толпы людей, прибывших на Новопавловскую станцию железной дороги. Вок любил во всем порядок и дисциплину. И сейчас его раздражала бестолковая вокзальная сутолока и бесполезность приезда к московскому поезду. Генерал не выносил зряшных поступков и действий. Его выводила из себя необязательность и неорганизованность людей, не понимающих цены своего и чужого времени.

Две недели назад пришло из Москвы от Ариадны Сергеевны Вок — родной сестры генерала, «старшенькой», но и в свои пятьдесят пять все еще «шелопутной Адьки» — письмо с датой прибытия в Новопавловск.

Сестры Вок не встретил. Ее просто не оказалось в вагоне, и огромный рябой детина-проводник, акая и растягивая по-московски слова, сиплым, простуженным голосом сообщил, что «дама та, подвижная шибко», сошла двумя станциями раньше.

Поступок сестры был настолько неожидан и, как

бы выразилась сама Адька, «крайне экстравагантен», что у генерала разболелись зубы. Тем более что в генеральском доме, ожидая гостью, встали еще затемно. Чистили, драили, скоблили. А генеральша, замесив с ночи свои знаменитые пироги с капустой, уже перед отъездом супруга на вокзал радостно причитала над хорошо подоспевшим тестом.

— Славно подоспели пироги, уж как славно,— бормотал в усы Вок, раздвигая узкими негенеральскими плечами людей.— Старушня старушней, а все ветер гуляет в голове. Славно подоспело ваше тесто, вот и кушайте на здоровье свои пироги!

Проходя мимо лотка с дымящимися в морозном воздухе шаньгами, Вок, придвинутый толпой к стене привокзального строения, обо что-то споткнулся. Отдернув ногу, он наклонил голову, и глаза его встретились со взглядом, обжегшим мукой и страданием. У видевшего в своей жизни все боевого генерала сжалось сердце, а сверлящая зубная боль тотчас улетучилась, затаилась перед более сильным ощущением. На груди тряпья лежала женщина. Ее широко распахнутые влажные глаза не мигая смотрели на генерала, и в их страдальческом выражении Воку почудилась какая-то святая для него предсмертная просьба. Он склонился над женщиной, и его, закаленного смертями и страданиями человеческими, еще раз поразила обнаженная выразительность взгляда, свойственная только умирающим.

Бледные, спекшиеся губы шевельнулись беспомощно.

Вок наклонился:

— Что тебе, милая?

Два затравленных немигающих глаза скользнули вниз — и только теперь генерал Вок увидел на груди умирающей жалкий сверток, из которого розовело крошечное личико ребенка.

Глаза женщины впились в него вопросительно и все так же требовательно и настойчиво.

Генерал поднял почти невесомый сверток.

Когда он выпрямился, глаза женщины уже не выражали ни боли, ни страха...

Из тряпья, в которое был завернут ребенок, торчал листок бумаги, где было выведено неумело: «Елена Чувалова, год рождения 19...»

...Крупная дождевая капля шлепнулась на тетрадь. Я вздрогнула. Год рождения Елены Чуваловой расплылся в неразборчивую жирную дату. Я удивленно посмотрела на небо. Неведомо откуда взявшиеся сизые тучи по-хозяйски заслонили голубизну неба. Замерла казавшаяся нескончаемой песня кузнечиков. Напружинились стройные стволы сосен с застывшими каплями янтарных слез. Несколько минут я сидела, оглушенная возникшей вдруг тишиной. Даже отдаленный шум электричек покорился минутному затишью.

И хлынул ливень. Дождевые струи так яростно и внезапно обрушились на землю, словно был в этом дурной знак, крайнее недовольство природы земными делами.

Дождь больно хлестал меня, а я с какой-то мучительной радостью чувствовала частые, гневные удары тяжелых капель.

Неужели ковер соткан? И мне предстоит лишь раскрасить уже существующую канву моей жизни, вплетенную в общий узор ковра? Неужели любое мое решение изменить жизнь тоже предопределено, и моему сознанию только подачкой кинута иллюзия свободного выбора?

И кто ответит мне на этот вопрос?

И кому я смогу доверить свою боль?

По ее фотографии за оградкой тоже струились дождевые потоки, а в глазах, кротких и тревожных, жила мука невыплаканнысти.

Она смотрела на меня совсем как тогда...

...Сидела, съезжившись, на диване, подобрав под себя ноги по-девичоночьи и обхватив руками худые плечи, и говорила высоким, тонким голосом. Она была уже совсем старая тогда. Ее руки мелко дрожали от волнения, сухие тонкие губы разъезжались в стороны, не хотели повиноваться, а в глазах поселилась мука невыплаканнысти...

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Вскочил на соседний крест вымокший воробей, напыжился, встряхнулся, смешно растопырил поникшие перышки. Внимательно посмотрел на меня круглыми глазами, раздумывая, представляю ли я для него какую-нибудь опасность, и отвернулся равнодушно. Должно быть, я была такой же взъерошенной и жалкой, как и он.



Через несколько минут я сидела в кладбищенской сторожке, завернувшись в теплое одеяло и поджав под себя ноги в Мотиных шерстяных носках. А Мотя, разложив на полу мои мокрые джинсы, пыталась вывести пятна голубой краски.

— Ну, и что же, Шурочка, дальше-то было? С дитем, которое Вок подобрал? Дальше-то читай.

Я отодвинула промокшую тетрадку.

— Дальше я еще не написала, Мотя.

Мотя с любопытством поглядела на меня снизу вверх.

— Да ведь история-то невыдуманная? Даже концовка уже имеется.— И Мотя ткнула пальцем в голубое масляное пятно с оградки.— Послушай-ка, Александра, давай становись-ка писателем. Мою вот судьбу опишешь. У меня ведь судьба прямо в роман какой просится.

Мотя протяжно вздохнула. А я уже не слушала ее.

На фотографии приемная дочь генерала Вока Елена Чувалова обнимала за плечи учительницу Наталью Арсеньевну, нежно заглядывая ей в глаза. Но сначала был год 19... И «шелопутная Адька» вылезла на станции, не доезжая до Новопавловска. И было это, может быть, так...

\* \* \*

«Провожая глазами плывущие за окном поезда заиндевелые подмосковные леса, Ариадна Сергеевна Вок, в своем недолгом замужестве — Полетаева, незаметно наблюдала за молодой женщиной, сидящей напротив. Наблюдательность была не единственной фамильной чертой брата и сестры Вок. Нежное сердце и способность сострадать ближнему было частью того душевного богатства, которое так притягивало к ним людей.

«Ох, не своим делом решил заниматься в жизни Яшенька,— вздыхала мать, когда сын решительно заявил о намерении посвятить жизнь военной службе.— Какой же из него вояка — мухи не обидит, над побитой собакой слезами изойдет».

Худенький до прозрачности, с большими беспокойными глазами и тихим голосом, Яша Вок действительно мало соответствовал представлениям о военном. Но была в нем та внутренняя сила, благодаря которой

гнется, долу клонится, но не ломается иной хрупкий, как тростинка, человек.

Яша Вок с детства болезненно переживал собственную физическую слабость. Он ненавидел свое тщедушное тело, и поэтому не было в гимнастическом зале гимназии безрассудней и смелей ученика. Он презирал свои частые простуды и недомогания и поэтому вопреки предостережениям домашнего врача обливался по утрам ледяной водой. Он терпеть не мог своего ломкого, слабого голоса и поэтому до хрипоты горланил залихватские ямщицкие песни. Он не выносил свои изнеженные руки с гибкими кистями и потому, выхватив у слуги топор, до изнеможения и кровавых волдырей на ладонях колот во дворе дрова. Он не щадил себя ни в чем, и решение стать военным было для него единственно возможным, чтобы победить «подлую оболочку», как называл он иронично свое щуплое тело. Он рос в постоянной борьбе с собой, и чем суровей были его требования к себе, тем добродушней и мягче воспринимал он окружающий мир.

У Адьки тоже заходило сердце, когда думала она о том суровом мире, в который добровольно вступал Яшенька. Для дворянских детей военная карьера сулила замечательные перспективы, но в семье Вок никогда не было военных, и та жизнь представлялась им суровой, полной лишений и опасностей.

Но дело было решенное, и Яшенька Вок вступил в новую жизнь...»

— ...Мотя, ты не знаешь случайно, в девятнадцатом веке как назывались военные училища, где учились дети дворян?

— О господи,— Мотя вздрогнула от моего неожиданно громкого голоса. Теперь она повесила мокрые джинсы на веревку и, подставив под них плитку, пыталась высушить.— Я думала, ты задремала. Вона и дождик кончился. Я сейчас за водичкой скоренько — и чайком побалуемся. Варенье есть вишневое. Любишь вишневое, Александра?

Я кивнула. Мотя скрылась за дверью, погромыхала чайником.

Год назад я подарила Наталье Арсеньевне розетки для варенья. Розетки были не традиционно круглые,

а в форме виноградной кисти, все разного цвета. И мы ели тогда вишневое варенье, которое послала ей мама. К тому времени Наталья Арсеньевна уже полгода прожила в богадельне, куда ее сдали. Как вещь, как ручную кладь сдают на хранение.

— Не смей называть пансионат богадельней. И вообще не употребляй слова, истинного значения которых не понимаешь,— сердилась мама.

А я упорно повторяла шепотом: «Все равно богадельня».

Наталья Арсеньевна очень радовалась тогда моим розеткам и все приговаривала: «Мне уж теперь ничего не нужно, Сашенька. Только внимание твое мне дорого. Очень они славные. Спасибо, голубчик. И знаешь, Сашенька, ты ко мне часто не езди. Не надо. У тебя много дел, а ко мне ездить далеко. Да и тяжело тебе, наверное, видеть это царство старости. Сердечко у тебя доброе, чувствительное».

Я жевала тогда вишневое варенье и чувствовала, как горько мне во рту от приторно-сладких ягод. Горечь разливалась, становилась нестерпимой и переходила в какую-то неведомую мне ранее боль.

Комната Натальи Арсеньевны была большая, неуютная, с казенной мебелью и противными холодными обоями лягушачьего цвета. Только множество книг в старинных переплетах придавало ей какой-то человеческий облик.

«Прекрасно ее устроили. Комната большая, светлая, с балкончиком. Человеку в ее возрасте и желать лучшего невозможно»,— внушала по телефону больше себе, чем своей приятельнице, мама.

Я слушала маму и чувствовала, как она врет себе. Словно говорила не о ней, не о Наталье Арсеньевне, а о каком-то почти незнакомом человеке, предел счастья которого сводился к обладанию большой светлой комнатой на старости лет.

Наталья Арсеньевна была права. У меня чувствительное сердце. Но слова «чувствительное» и «доброе» далеки друг от друга, как младенчество от старости. Доброе сердце совершает поступки, и порой это тяжкий, мучительный труд рассудку вопреки. Сердце чувствительное, коим я обладаю, лишь созерцает, хотя и рвется на куски от сострадания. Мама, я, многочисленные ученики Натальи Арсеньевны имели чувствительные

сердца. И все вместе, сочувствуя и сострадая, позволили сдать ее в богадельню.

Меня зазнобило. Даже теплые Мотины носки и одеяло не помогали. Чтобы согреться, я свернулась в клубок. Увидела как наяву старомодное двухместное купе вагона дальнего следования. Двух женщин. Одна пожилая, в хорошо сшитом дорожном костюме. Прическа сильно взбита, седые волосы красиво отливают голубизной. Взгляд беспокойных карих глаз устремлен вроде бы за окно, на мелькающие заснеженные пейзажи. А на самом деле незаметно наблюдает барыня за тоненькой девушкой с покрасневшими веками заплаканных глаз, в маленькой меховой шапочке, какие носили институтки и слушательницы Бестужевских курсов, в скромном синем платье с клетчатым воротничком. От внимательных глаз барыни не укрылось, как подрагивают хрупкие пальцы на плотно стиснутых коленях, как судорожно сглатывает девушка слюну.

— Простите, милочка, здесь жарко, в купе, а вы забыли снять шапочку,— мягким, грудным голосом обращается барыня к попутнице. Девушка чуть вздрагивает, виновато улыбается.

— Да, да, спасибо. Конечно, я и не заметила — здесь и впрямь жарко.

Дрожащими пальцами пытается девушка отцепить непослушную шпильку, не отдающую шапочку. Ее лицо покрывается краской, и она снова виновато улыбается, словно просит прощения за свою неловкость. Наконец шапочку удается отцепить, и из распавшегося пучка золотым потоком тяжело обрушиваются по плечам густые длинные волосы. В одну секунду окутывают они, как облаком, маленькую фигурку. По какому-то совпадению из просвета в пасмурном сером небе брызжет, зарывается в золотую густоту волос сноп яркого солнечного света.

— Боже, какая красота! Ну, просто Мария-Магдалина,— не удерживается барыня от восторженного восклицания.

За дверью я слышу Мотины шаги и с досадой громко говорю себе вслух:

— Дура, да и все. И при чем здесь волосы?! У Натальи Арсеньевны всегда была мальчишеская стрижка, и она терпеть не могла свои волосы.

В дверь просунулось сияющее Мотино лицо.

— Александра! Дворянин твой мог служить кадетом. То есть учиться мог в кадетском корпусе, раз дворянином был.

Мотя была так довольна, что я тоже невольно засмеялась.

— Спасибо, Моть. Откуда сведения-то раздобыла?

Мотя хлопотала около плитки, накрывала на стол своими скорыми, мощными руками, нет-нет да и поворачивая ко мне белозубое доброе лицо.

— А я около родничка, Шурочка встретила Игоря Кирилловича. — В ответ на мой недоуменный взгляд Мотя досадливо повела плечом. — Да знаешь ты его. Он на могилку все ходит, что от твоей насупротив. Ну, розовый куст он там недавно пристроил.

Я вспомнила застенчивое лицо пышноволосой женщины, впечатанное в низенький гранитный столбик, согласно кивнула. Наверное, Игорь Кириллович был на примете у Моти, уж больно раскраснелась она, хлопоча у плитки, и грубый голос ее так и гудел без умолку.

— Ну, поздоровкались, слово за слово. Я его и спрашиваю: «Святой водички из родничка испить захотелось?» А он говорит, нет, мол, я здесь брожу просто так, вспоминаю, как любила места эти покойная жена. И вздыхает так тяжело. Я ему стала говорить, что тоже мужа потеряла недавно... Как он, подлый, царствие ему небесное, набравшись по уши, под электричку попер, я ему, конечно, не сказала. А тоже пригорюнилась. Сидим. Тут он после рассказа о муже покойном впервые на меня с интересом стал поглядывать. Да не-е, не так, а как на товарища по несчастью. Тут я ему стала говорить, что это дело такое — поболит, созреет и отвалится. А он не соглашается. Не хочу, мол, чтобы отвалилось, хочу жить с этой болью всегда, и не дай бог, чтобы она иссякла. А я ему перечить не стала и припоминать, как могилка-то его запущенная два месяца пропадала под снегом. Покрасоваться небось захотелось. А руки-то холеные, нежные, видно, умственная у него работа.

Я вскочила:

— Ты, Мотья, чужую беду не смей опошлять. Откуда ты знаешь, почему он два месяца не был на кладбище?! Мало ли что! Ты не знаешь. Не смей, поняла?!

Я сдернула одеяло, прошлепала босыми ногами по полу, стала натягивать джинсы, захлебываясь в злых, жгучих слезах.

Мотя присела на табуретку и, не реагируя на мои слова, внимательно глядела, как, прыгая на одной ноге, я никак не попадала в штанину. Потом миролюбиво вздохнула:

— Нервная ты все же, Александра. Чего орать-то? Ты не разоряйся, чай сейчас пить будем. Игорь Кириллович мне про кадетов и сказал.— И, помолчав, добавила:— А я на тебя не сержусь. Я ведь все понимаю, Шурочка. Это ты сейчас ее пыталась оправдать, ту, что про могилку Натальи Арсеньевны твоей не спрашивала.

Буркнув, что чай выпью потом, я взяла высохшую тетрадку и села на крыльцо сторожки.

\* \* \*

«...Дом генерала Вока стоял на горе. Двухэтажный, с резными ставнями, с ажурными витыми перилами, с потолками сводчатыми в лепных украшениях, дом этот славился во всем городе своей архитектурой. Не пожалел дед генерала немалых средств на строительство, не поскупился пригласить знаменитого зодчего из Красноярска. И вот стоял этот дом на горе, горделиво подбоченившись уже позже пристроенным флигельком, и поглядывал на город прищуренными глазами узорчатых резных ставень или же распахивал их по обе стороны и выставлял напоказ полуovalные удлиненные окна.

Дед Якова Сергеевича Вока был в свое время губернатором и заслужил себе славу справедливого и честного человека. Благодаря его хлопотам было построено два сиротских приюта, больница. В общении губернатор был прост, спокоен и мягок. «Хуже нет необоснованной многозначительности в человеке,— говорил губернатор Вок,— а многозначительность, так же как и важность, вряд ли может быть обоснованной». Внуков губернатор любил и баловал. С особой нежностью относился он к младшему, слабенькому здоровь-

ем Яшеньке. Дед был еще жив, когда любимый внучек вступил на путь военной карьеры. Дождался он и того дня, когда предстал бравый Яков Вок перед дедом в форме кадета, и, налюбовавшись на внука, дед грустно промолвил: «Ну вот, а теперь можно и в дальний путь отправляться».

Отец Якова и Ариадны умер совсем молодым, не оставив следа в памяти детей. Зато мать была для них самым дорогим человеком. Шаловливая и смешливая, как девчонка, она была товарищем в играх своих детей и любила со смехом вспоминать, как застал ее однажды покойный муж сидящей верхом на заборе и, краснея за нее, запинаясь, представил сопровождавшим его коллегам по юридическим делам: «Знакомьтесь, господа, эта моя жена».

Старшая Адька унаследовала шумный, непоседливый характер матери и даже в пожилом возрасте оставалась такой же «подвижной шибко барыней», как называл ее детина-проводник. Замуж она вышла рано, за человека, который был намного ее старше. Он увез ее в Москву, и, рано овдовев, жила она в просторном особняке около Патриарших прудов.

Ариадна Сергеевна была яростной «толстовкой». Питалась вегетарианской пищей, решительно, еще в молодом возрасте, отказалась от прислуги, обслуживала себя сама. Была неперменным членом чуть ли не всех благотворительных обществ и только в одном не могла себе отказать: Ариадна Сергеевна любила красиво и модно одеваться. В этом вопросе ее женская природа брала верх над дорогой сердцу толстовской философией отказа от роскоши и излишеств. Однажды ей удалось даже повидать Льва Николаевича. Ее близкая приятельница, служившая по убеждению воспитательницей в сиротском приюте, много лет вела переписку с Толстым. Он одобрял ее решение порвать с праздной жизнью. Вот она-то и прихватила с собой в Ясную Поляну Ариадну Сергеевну, полыхавшую волнением и ожиданием встречи с великим писателем. Долго перебирали подруги гардероб Ариадны Сергеевны, выискивая платье попроще и построжее. Но даже в простом, элегантном костюме Ариадна Сергеевна казалась себе франтихой рядом с подругой, одетой в непонятного цвета робу из грубой колючей материи.

Толстой поразил Ариадну Сергеевну сочетанием

простоты и величия. На всю жизнь запомнила она его взгляд из-под нависших лохматых бровей. «Поглядел, как наизнанку всю вывернул. Как всю душу рассмотрел за один этот взгляд», — рассказывала восторженно Ариадна Сергеевна.

Брату она писала, что всю оставшуюся жизнь собирается посвятить благотворительству и, кто знает, может быть, закончит свою жизнь в монастыре, как любимая сестра Толстого Мария Николаевна. На что следовал ответ брата: «Помилуй, любезная моя Аденька, но ведь в монастыре не будет Кузнецкого моста с модными салонами, портного мсье Дебрэ и французских кружев». Ариадна Сергеевна хотела было обидеться на шутку брата, но, подумав хорошенько, сообразила, что в каждой шутке есть доля правды, и решила не обижаться. Судьбой ей было уготовано другое.

Спустя полгода после появления младенца в доме генерала умерла жена Якова Сергеевича. Ариадна Сергеевна продала свой московский дом на Патриарших прудах и переехала к брату».

Я поставила жирную точку, скорей похожую на кляксу, и нетерпеливо повернулась к Моте, уже несколько раз заглядывавшей мне через плечо. Уловив мое недовольство, Мотя зашептала, жестикулируя, словно не она мне мешала, а мы обе мешали кому-то третьему, незримо присутствующему здесь.

— Я говорю, Шурочка, чай-то остынет. А ты небось голодная. С утра не ела. И варенье вишневое хотела. Так я положила.

Я поблагодарила Мотю взглядом, а вслух мрачно сказала:

— Я не могу вишневое варенье. У меня от него во рту горчит.

— Ох, и выдумываешь ты чего-то, Александра,— Мотя всплеснула руками и, поджав губы, прибавила с обидой:— Уж мое-то варенье не горчит, не беспокойся. И потом, оно без косточек.— Мотя жалобно поглядела на меня почти умоляюще:— Ну, попробуй вареньица, Александра.

Меня вдруг захлестнула жгучая жалость к Моте, к ее висящим безвольно вдоль тела грубым рукам, которые были еще грубее и неуклюжей без работы. Я по-



думала, что отказываю ей сейчас в той нехитрой радости, которыми так бедна ее одинокая жизнь. Кого ей вот так еще чайком с вареньем придется угостить! Разве что стрелочницу со станции да пьянчугу «заразу Еремеева», что помогает красить оградки и могилы поправлять за трешник.

— Ну, как, не горчит, Шурочка? — беспокойно спрашивала Мотя, глядя, как вяло я жую ее вишневое варенье.

Я помотала головой.

— Да нет, очень сладкое. Просто пошутила. Моть, ты меня спрашивала, куда девалась сестра генерала Вокка. Хочешь, расскажу?

— Вот, вот, расскажи, Шурочка!

И Мотя сложила руки замком под тяжелым подбородком, приготовившись слушать.

— Значит, дело было так. «Еще на перроне Ариадна Сергеевна обратила внимание на молодую пару. Он был... крепкий широкоплечий блондин с удивительно тонкими для его коренастой фигуры чертами лица, она — высокая, худенькая, с кроткими серыми глазами, к которым время от времени подносила смятый в кулаке носовой платочек. Они спорили о чем-то, видимо, очень важном, и спор этот огорчал девушку и сердил молодого человека. С ударом гонга, приглашающего пройти в вагоны, у молодого человека появилась на лице растерянная улыбка, а девушка заплакала навзрыд, припадая лицом к груди молодого человека. Ариадна Сергеевна, чуткая к чужому горю, почувствовала, как зашипало у нее в носу, и отошла в глубь купе. Через несколько минут в дверях появилась девушка с заплаканными глазами. Они познакомились...» Девушка, как ты уже догадалась, Мотя, оказалась Натальей Арсеньевной Беловольской.

Мотя издала странный звук, точно поперхнулась, ударила ладонями по коленям.

— Не догадалась. Совсем даже не догадалась, ежели бы ты не подсказала. — И, с восхищением глядя на меня круглыми немигающими глазами, Мотя протянула: — Ну-у, ты и плетешь, Александра, прям как по писаному. Во язык у тебя подвешен, во подвешен. Ну, давай сочиняй дальше.

— Во-первых, Мотя, я не сочиняю. Я, слава богу, и дневники Натальи Арсеньевны читала, и рассказы-

вала она мне сама о своей молодости. Я, правда, не все помню. Только главное, ради чего хочу и остальное в порядок привести. Понимаешь?

Мотя кивнула.

— А без этого *остального* никак нельзя, не получается. Ну, слушаешь? И вот, Мотя, что поведала о себе попутчица Ариадны Сергеевны. Родилась она в семье управляющего делами богатого золотопромышленника в городе Бодайбо. Ее отец был одновременно и фельдшером. Видимо, очень талантливым, так как люди верили ему и охотно у него лечились. Бывают, наверное, в народе такие самородки. Сознательная жизнь Натальи началась с пяти лет... Наталья Арсеньевна говорила мне, что лозунгом в их семье были слова «Займись делом». Эти слова вошли в кровь. Всю жизнь Наталья Арсеньевна ненавидела праздных людей. Знаешь, она уже старая была — и никак не могла примириться с тем, что не может делать что-нибудь полезное. Она привыкла жить для людей, а ее вдруг взяли и отрезали от жизни. Спихнули в эту богадельню. Но это потом. Про это будет отдельный разговор. Значит, так, Наташе было пять лет, когда она увидела отца последний раз. На приисках случилось несчастье: в шахте завалило рабочих, и до отца дошло, что вину хотят свалить на него. А он виноват не был. И пришлось ему скрыться. Наташе было десять лет, когда получили известие, что отец умер. Нужда в семье Наташи Великановой была ужасная.

— Почему же Великановой? — перебила Мотя. — Вот и наврала ты, Шурочка. Фамилия-то ей Беловольская.

— Погоди, Мотя, — рассердилась я. — Ты дослушай сначала. Беловольская она по мужу была. Но это позже.

— Ага, — снова перебила Мотя, — значит, ее на вокзале мужик ейный провожал. И куда же это, интересно, он провожал?

— Если будешь перебивать, не стану рассказывать, — мрачно пообещала я Моте.

И та даже закрестилась, обещая молчать, хотя, по моим наблюдениям, ни в бога, ни в черта не верила.

Я помолчала, собираясь с мыслями.

— Ну вот, никак теперь не соображу... На вокзале Наташин муж провожал ее к маме в деревню, где На-

талья Арсеньевна до поступления в университет работала учительницей и где, собственно, и познакомилась со своим будущим мужем. Он был старше Наташи и к моменту их знакомства получил юридическое образование. В деревне, где учительствовала Наталья Арсеньевна, было много политических ссыльных. К одному из них приехал повидаться выпускник Томского университета Александр Беловольский. А потом, уже после свадьбы, Наташа уехала в Петербург и поступила на частные литературно-философские курсы Раева, по-моему. Фамилию точно не помню. Впрочем, это неважно. В Петербурге Наташа прожила год...

— Ух ты, это что же выходит, на целый год ее мужик отпустил от себя? Да-а. Не больно, видно, любил,— разволновалась вдруг Мотя, и ее широкое лицо покрылось багровыми пятнами.— Меня мой покойник, бывало, даже к матери в деревню не пускал. А здесь, на тебе, год. И что же, так весь год они и не виделись? Или на каникулы она все же ездила? Как полагаешь, Александра?

Я полагала, что они конечно же виделись. Но вдруг от наивного Мотиного вопроса что-то смутное неприятно зашевелилось во мне, задвигалось, разрастаясь и принимая неясные очертания тревоги. Это «что-то» было гаденькое, прилипчивое. И я уже чувствовала, как, поселившись во мне, звереныш пристраивается поудобнее.

Еще я полагала, что самое отчаянное воображение не смогло бы докопаться до сути взаимоотношений тех двух людей. Наташа Беловольская любила своего мужа. Она любила его всегда. И когда его уже не было в живых. И когда проживала она вновь свою молодость, съездившись под казенным одеялом в богадельне. И когда сознание крылатой тенью прощально коснулось ее лица, и губы скривились, последним усилием принося его имя.

Наверное, она писала ему письма: длинные, грустные и восторженные. Ведь она жила в Петербурге, а тогда это был город Блока и Белого, Шалапина и Собинова. Всегда, до последнего вздоха, она жила духовной возвышенной жизнью, чуть оторванной от жестокой реальности. Может быть, в этом было ее спасение, иначе как было сохранить до последних дней святую непоколебимую веру в доброту и велико-

душие человеческое... В этом же была и беда, ее неподготовленность к предательству, против которого старческая беспомощность не в силах уже была соорудить крепость.

И если ковер уже соткан, то как не позавидовать участи тех узоров, на изнаночной линии которых лишь в самом начале пути рвется и вяжется в узлы тоненькая, гибкая ниточка жизни? И как же сурова и безжалостна рука творца на безупречных линиях благородного рисунка, когда в конечном своем витке грубый шрам взрывает гармонию уже почти законченного узора?..

Все это пролетело в голове как мгновение, и я, ощущая внутри невнятную тяжесть звереныша, сказала Моте:

— Я полагаю, что их отношения были совсем не такие, как у нас. Тогда все было другое. А у них была цель — стать интересней и полезней друг другу. Тем более что ей вскоре пришлось адресовать письма мужу на фронт. Я представляю, как копила все впечатления и ощущения от петербургской жизни Наталья Арсеньевна, как боялась их расплескать. Это для него она хотела быть образованней, лучше, зорче к людям. И все, все, что давала ей жизнь, она откладывала в себе для него и сама с радостью ощущала, как становится тоньше, изысканней. И потом, это у нас сейчас письмо написать, как грузовик с капустой разгрузить. А тогда это была необходимость выразить себя, проверить. Я полагаю, что даже вынужденная разлука их обогащала — понимаешь, Мотя,— а не обедняла.

Я говорила, Мотя согласно кивала, а внутри меня поерывал, потягивался мохнатый неведомый звереныш.

Смеркалось. Надо было возвращаться домой.

С сожалением покинув неуютную Мотину обитель, я шла к станции, а чуть сзади погромыхивала бесполезными словами увязавшаяся провожать Мотя.

— ...Видеть его пьяную морду... никого не пожалю... только по внешности благородные... хочу доброго, человеческого... напьется и храпит... вся жизнь впе-

реди... девочку хоронили... за что детей-то... вся жизнь на кладбище... ничего не боюсь... тошно...

Последний солнечный луч метнулся внезапно, как ниоткуда, высветил купол церкви над посеревшей зарослью кустарника. Кольнул обжигающей мгновенной вспышкой и, заживляя, мазнул напоследок тут же потухшей матовой позолотой.

Помаргивая ослепшими глазами, я повернулась к Моте.

— Вон клиент твой, Матрена, вышагивает. Будем догонять?

Мой голос вместо насмешливой интонации удивил нас обеих взвившейся высотой. Наши глаза, столкнувшись недоуменно, торопливо разбежались.

— Нервная ты все же, Александра,— пробурчала растерянно Мотя и засуетилась, заколыхалась мощным телом, поправляя растрепанные кудряшки и бестолковыми движениями одергивая на груди платье.

Дорога на станцию опоясывала кладбищенский пригорок, и чуть сутулая спина Игоря Кирилловича то скрывалась из виду, то возникала вновь. Он шел размашистой походкой, энергично рассекая воздух резкими взмахами рук.

Теперь я совсем хорошо вспомнила.

У него было румяное, улыбающееся лицо с яркими глазами и длинными густыми ресницами. «Как у девушки»,— невольно подумала я, впервые увидев его лицо, и еще вспомнила, как я была неприятно поражена его улыбкой. Он сидел прямо на траве рядом с могилой жены и улыбался радостной, лучистой улыбкой. Меня даже зазнобило от такой его улыбки.

И сейчас, увидев его спину, я почувствовала, как легкий озноб прохладной змейкой юркнул за воротник и вертко пронесся вдоль позвоночника.

Игорь Кириллович шел быстро, и теперь уже Мотя неслась впереди меня на всех парусах, а я плелась сзади. Дистанция сокращалась, и шагов двадцать разделяло нас и Игоря Кирилловича, когда рядом с ним затормозила машина. Звереныш, удобно расположившийся во мне, внезапно дернулся и собрался в маленький тугой комок. Сердце падало вниз... А «Волга» цвета кофе с молоком уже двигалась мимо нас, набирая скорость. Бледным, уродливым блином зависло в окне машины лицо. Отпрянуло, встретившись со мной чер-

ными впадинами глаз. Секунду я, ошеломленная, смотрела вслед удалявшейся «Волге».

— Мотя, назад. Назад давай. Скорей. Она... приехала.

Я уперлась руками в могучие Мотины плечи, чтобы сдвинуть ее, развернуть обратно. Мотя, ничего не понимая, старалась спихнуть мои руки. Но во мне тогда была уйма сил.

— Пусти, дурочка, больно,— прошипела Мотя, глядя поверх моей головы на удаляющуюся фигуру Игоря Кирилловича.

Сделав несколько неуклюжих прыжков, я оказалась рядом с ним и, обреченно приняв его радостную, изумленную улыбку, просипела, угрожающе вращая глазами:

— Стойте здесь... Пожалуйста... Ждите... мы сейчас.— Снова метнулась к Моте.— Скорей назад! Она приехала. Он подождет... А то у кого же она спросит про могилу? Господи... Тебя же нет...

Ничего не понимая, Мотя послушно двинулась к кладбищу, растерянно моргая круглыми глазами и оглядываясь на застывшего у обочины Игоря Кирилловича. А я снова метнулась к Игорю Кирилловичу, вцепилась в него, недоумевающего, но с неизменной улыбкой на лице:

— Что она спросила у вас? Женщина из «Волги»?

Позже я со смехом вспоминала свои кенгуриные прыжки по дороге. Но тогда мне было совсем не смешно.

— Она спросила, как проехать к зоне отдыха Киевского района.— Игорь Кириллович улыбнулся. И с тревогой поглядел на мое лицо.

За окном электрички в знакомой последовательности сменялись загородные картинки моего привычного маршрута. Покачивалось напротив в ритм поезду румяное лицо Игоря Кирилловича. Глаза его были закрыты. Я знала, что он не спит. Это для меня закрыл он глаза. Чтобы не обременять общением, таким невозможным для меня. На его неподвижном лице застыла полуулыбка.

Я подумала, что, может быть, это у него «чисто нервное», как любила говорить моя мама. Я где-то чи-

тала, что таинственная улыбка Моны Лизы — не что иное, как болезненное свойство лицевого нерва.

Чтобы не ставить Игоря Кирилловича в дурацкое положение, я тоже закрыла глаза и сразу увидела двухэтажный дом генерала Вока с резными ставнями и витыми перилами. Возле крыльца бегала овчарка, а рядом маленькая черноглазая девочка с бантом на голове хлопотала над разложенными на ступеньках игрушками. Время от времени девочка бросала игрушки, подбегала к собаке и, бесстрашно обхватив ее голову, целовала в широкий крутой лоб.

Садилась на корточки и, любовно заглядывая в глаза собаке, приговаривала шепотом: «Ах ты моя ненаглядная, моя самая любимая, самая умная, самая красивая».

А с крыльца доносился смех взрослых, и тихий голос Якова Сергеевича Вока нарочито сердито принимался пенять девочке:

— Вот так да! Я-то думал, Ленусик больше всех дедушку любит, а у нее, оказывается, самая любимая — Дамка. Вот так да!

В нарочито сердитом голосе Якова Сергеевича Ленусик слышала одобрение ее привязанности к собаке. Вок сам любил собак. Их было пять в генеральском доме.

— Я дедушку люблю.

Ленусик обнимала генерала за шею, щекоча бантом его впалые щеки.

— А еще люблю бабушку Аду, и тетю Наташу люблю, и дядю Сашу.

Ленусик загибала тоненькие пальчики, перечисляя всех, кого любила.

— Бабушка Ада, Расскажи, пожалуйста, как дедушка пришел тебя встречать на вокзал, а тебя в вагоне не оказалось. Расскажи!

— Да помилуй, Ленусик, ты уже наизусть знаешь эту историю,— отбивалась Ариадна Сергеевна.

Но девочка уже уселась рядом на ступеньку и, прижавшись к коленям бабушки Ады, замерла в ожидании.

— Ну что же, дружок, слушай, раз такое дело,— неторопливо начала Ариадна Сергеевна.

И сама в который раз вспомнила купе пассажирского поезда, свою тоненькую попутчицу Наташу Бе-

довольскую, взбудораженную разлукой с мужем. Вспомнила ее лихорадочно горевшие глаза, ее сбивчивый рассказ о жизни в Петербурге, когда каждая минута была пронизана страхом за жизнь мужа, который воевал в дивизии сибирских «чудо-богатырей» где-то в Польше с «германцами». Сказкой был его недельный отпуск в Петербурге. Но радость была короткой. Муж заявил, что оставаться в Петербурге опасно. Несмотря на мольбы и слезы Наташи, он был непреклонен в своем решении отправить ее сначала в Москву, а потом в Сибирь, в ту деревню, где учительствовала Наташа и где с той поры жила ее мать.

Потом вспомнилось Ариадне Сергеевне багровое пятно лица Наташи, мечущейся в жару на подушке. Обметанные сухие губы, произносившие бессвязные слова. Склоненная над больной фигура случайного попутчика — доктора, раскачивавшаяся в ритм идущему поезду. Блуждающие отсветы полустанков, тяжелый скрежет тормозов и прерывистый стон, похожий на сдавленное рыдание. И приговор доктора: «Тиф». А потом — заплаканное лицо пожилой женщины с кроткими серыми глазами, ее дрожащие губы, повторявшие без конца: «Господи, сжался над доченькой моей». Убогие сани, запряженные парой хилых лошадей, клубы пара, летящие от их сбившегося дыхания, а по обе стороны дороги надменная стылая тайга, бесстрастно взирающая на стчаянный бег путников по еле проторенной дороге. Перепуганные лица крестьян в немой толпе, собравшейся у дома бывшей «учительки», хлеб-соль на расписном полотенце в опущенных руках молодухи, видимо, из прежних Наташиных учениц, чьи-то сильные руки, принявшие из саней безвольное тело учительницы, и краткое слово «тиф», запущенное круглым мячиком в толпу, метавшееся от уст к устам.

— Ну вот, — вздохнула Ариадна Сергеевна. — А дедушка в это время встречал меня на вокзале. Но не могла же я оставить ее в жару, без сознания на каком-то диком полустанке... С матерью-старухой. До весны выхаживали мы Наташу. А весной пришло выздоровление. Вот по весне я наконец добралась до Яшеньки. А через полгода и Наташа переехала к нам поближе благодаря моим настояниям. Посмотрела я, как ей, бедной, тоскливо должно быть в этой деревенской глуши,



и принялась уговаривать ее переехать в город. Учителя везде нужны, а уж такое чудо из чудес, как Наташенька наша, и подавно всюду по сердцу придется! Тем более что новопавловская квартира Александра Людвиговича и Наташи была в целости-сохранности под присмотром ее двоюродной сестры Сони.

Ленусик улыбалась, довольная еще раз услышанной историей. Бережно охраняли ее любящие люди от того, чтобы, не дай бог, не узнала она о том, как ступил нечаянно генерал Вок на платформе вокзала на сбившееся в кучу тряпье умирающей, как истступленно выкрикнули мольбу немигающие черные глаза. Как решилась нежданно-негаданно судьба неведомого младенца.

— Тети Наташи давно не было,— недовольно надула Ленусик пухлые губы и вопросительно глянула на бабушку Аду.

— Некогда ей, деточка. В школе дел много.— И, обращаясь к брату, засмеялась: — Знаешь ли, Яшенька, какое прозвище Наташеньке приклеили? «Матрешинская богородица». Улица-то, по которой из школы она идет, Матрешинской называется. И прямо от церкви начало берет. Наташа по дороге из школы церковь ту огибает — и похоже, что из нее появляется. Идет, а вокруг толпа учеников. Это уж будто ритуал какой: ждут ее ученики у школы и, окружив, до самого дома провожают. Любят ее! А директор огорчен. Вся школа, говорит, только литературой занимается. Она ведь и сама живет в каком-то придуманном мире. И школа гудит и ходуном ходит от ее фантазий. Несколько дней назад урок литературы за городом проводила. Среди красоты природы, говорит, человеческий дух раскованней и восприимчивей к прекрасному. «Полтаву» им читала. Наизусть...

— ...Спите, Саша? — издалека позвал голос.

Я открыла глаза и увидела перед собой «Джоконду» улыбку Игоря Кирилловича.

— Извините, я потревожил вас. Хотел сказать, что, возможно, та женщина в «Волге» зону отдыха имела в виду как ориентир. Знаете, так бывает...

Я поблагодарила Игоря Кирилловича за участие и, вздохнув, ответила:

— Да нет. Просто я обозналась...

Игорь Кириллович согласно кивнул и снова закрыл глаза.

...Я тоже знала наизусть всю «Полтаву». Наталья Арсеньевна очень нравилось, как я читала.

— Тебе бы артисткой быть, Сашенька, а не биологом. У тебя редкое обаяние, замечательный темперамент и голос очень красивый, выразительный.

— Нет уж, Наталья Арсеньевна, увольте. В нашей семье один артист уже есть.

Мой старший брат Николаша два года назад окончил школу-студию при МХАТе и теперь работал в ленинградском театре. В принципе я неплохо относилась к своему ближайшему родственнику, но мне почему-то всегда было немножко стыдно говорить, что мой брат — артист. В детстве я мечтала, чтобы он был космонавтом, а потом представляла его знаменитым хирургом или физиком, делающим великие открытия.

— Сашура, подчитай мне текст, — часто просил он меня, готовясь к репетициям в школе-студии.

И я с удовольствием читала за Джульетту или Нину Заречную и получала похвалы за «чувство такта», благодаря которому не выбивала его из какого-то найденного «зерна роли». Педагоги шептали родителям, какая интересная актерская индивидуальность у Николаши и что он «гордость курса», а мне было почему-то стыдно за него, когда он, «зазерненный» в Ромео, блистал настоящими слезами под балконом у Милки Скворцовой, «зазернившейся» в Джульетте, и весь красный, распаренный от страсти к ней, карабкался на балкон из папье-маше.

Впрочем, я, наверное, ни черта не понимала в искусстве. Меня с детства больше интересовали лягушки, червяки, гусеницы, я часами изучала жизнь муравейника и с вдохновением исследовала кишки жабы, отдавшей концы у крыльца нашей дачи.

Как-то незадолго до смерти Наталья Арсеньевна обратилась ко мне с просьбой. Она очень редко просила. Почти никогда. А когда все же приходилось, то краснела, как девочка, до корней волос и говорила виноватым голосом.

— Сашенька, голубчик, ты уж извини, что посягаю на твое время. Очень бы славно было, если бы ты со-

гласилась почитать «Полтаву» в нашем «мире отверженных». У нас ведь радостей мало, а это бы стало событием.

В назначенный час я приехала в пансионат. Поднялась к Наталье Арсеньевне, прижимая к груди томик стихов Пушкина. Такой я видела Наталью Арсеньевну впервые за все время ее жизни в пансионате. Черное вязаное платье с белым воротничком и белыми манжетами, короткие седые волосы тщательно уложены, на груди цепочка со старинным медальоном. Кроткие серые глаза сияют ласково и торжественно.

Я представила себе, как входила она в класс первого сентября, такая же вот торжественная и величавая. Она священнодействовала на своих уроках литературы. И сейчас тоже поразила меня вдохновенным сиянием, которым светилось ее лицо.

— Ты, голубчик Сашенька, читай погромче. А то люди здесь старые, многие слышат плохо...

Мгновенно сердце молодое  
Горит и гаснет. В нем любовь  
Проходит и приходит вновь,  
В нем чувство каждый день иное.  
Не столь послушно, не слегка,  
Не столь мгновенными страстями  
Пылает сердце старика,  
Окаменелое годами.

Мой голос, звенящий от волнения, заполонил белую гостиную, и привыкшие к глубокой ненарушимой тишине стены, казалось, вздрагивали от непрошенных звуков моего голоса, а стекляшки люстры досадливо позвякивали, сопротивляясь моему вторжению. Недоуменно и скорбно глядели на меня десятки тусклых старческих глаз. Мне казалось, старики не слушают меня, а просто смотрят на мое румяное лицо, на мои стремительные жесты и втайне сетуют на быстротечность жизни, так скоро лишившей их молодости.

Тиха украинская ночь,  
Прозрачно небо. Звезды блещут.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочет воздух...

Даже мой брат Николаша не смог бы, наверное, разрушить ту стену, которая молчаливо и бесповоротно воздвигалась между мной и внимающими мне стариками.

Мои зрители не были благодарными слушателями. Наверное, слишком много накопилось в душе каждого горечи и бессильного протеста против того мира, который заточил их сюда и, не заметив утраты, так же стремительно неся в круговерти своих будней и праздников, удач и потерь. По ту сторону все бурлило, кружилось, захлебывалось, а здесь время насмешливо замедляло свой строптивый бег, щедро расплескивая свои избытки, такие драгоценные там, а тут пугающие и ненужные.

Здесь властно ворочались жернова воспоминаний, перемалывая по крупницам зерна в пыль и пытаясь рассеять ее и забыться. Но просеянная пыль оказывалась еще назойливей. Она оседала на окружающей мебели, покрывала невидимым налетом деревья и кустарники парка, окутывала легкой паутиной седины головы стариков, забивалась в глаза, уши, проникая подчас в самое сердце и поражая мгновенной смертельной болью.

И еще здесь ждали. Мучительно, долгими часами, днями, неделями, ненавидя и проклиная себя, ждали тех, кто сдал их сюда как ручную кладь. Это ожидание превращалось постепенно в пытку, истязало, уродовало, выхолащивало, подтачивало и так уже слабеющие силы.

И все же люди продолжали жить: обижаться, ссориться, приходить в восторг и впадать в уныние, прощать и каяться, хитрить и обескураживать бескорыстием. Здесь были свои беды и свои радости.

Болью Натальи Арсеньевны были молодые люди, работающие в пансионате.

— Как же так, Сашенька, голубчик? — дрожащим от волнения голосом говорила Наталья Арсеньевна, умоляюще глядя на меня кроткими глазами в ожидании ответа, который бы подарил успокоение ее страдающей душе. — Откуда у них это циничное превосходство над людьми, которые прожили огромные, долгие жизни? Неужели молодость дает такое превосходство?! Понимаешь, Сашенька, вот у меня комнату убирает девушка с таким славным лицом, молоденькая совсем, после школы только. Так она даже позволяет себе не разговаривать со мной. Словно я какое-то бесполезное, выжившее из ума существо. Или вещь какая-нибудь. У нее даже выражение лица... брезгливое. Это же непереносимо. Кто дал ей такое право? Ведь не мо-

лодость же, правда? Старость — это страшно, но это неизбежность... Как же не воспитывать в человеке уважительного отношения к ней?! Нет, это огромный пробел в воспитании. Не знаю... Я всегда верила в благородство своих учеников. И я думаю, что среди них не могло вдруг проявиться презрение к старому человеку.

Я не знала, что сказать. Врать Наталье Арсеньевне даже ради ее спокойствия было для меня невозможным. Поэтому я не находила слов успокоения и прятала глаза. Она была святая... И, умудрившись прожить свою жизнь, не замечая грязи и пошлости, только сейчас познавала людей в их истинном обличье.

Можно ли было это допускать? Слишком немилосердно и кощунственно это прозрение в глубокой старости. Хотя с понятием «милосердия» наш век был не совсем в ладу, думала я.

Наверное, когда-то в те дни, когда земля дрожала от мощной поступи людей, одержимых прекрасной, выстраданной веками идеей справедливого переустройства мира, и шла кровавая, беспощадная борьба, невзначай опрокинули люди понятие «милосердия», смешав воедино церковь и веру, порочную по своей сути власть попов над людьми с хрупкой неременной потребностью человека верить в божественность своей души. Не сразу, наверное, сказался этот факт. Но жизнь шла, и отмененное заодно с поповской церковью милосердие не нашло в человеке достойной замены. Свято место пусто не бывает. Карамазовское «все дозволено» настойчиво стучалось в человеческие души, переиначивая, перекраивая сознание.

— Твои рассуждения, Сашенька, очень незрелы. Надо больше читать, детка. Не торопись с выводами. Все не так просто,— как-то утром из-за распластанной газеты вынырнуло удивленное и недовольное лицо отца в ответ на мои размышления.

— Я понимаю, что совсем не просто. Я как раз и утверждаю, что очень было сложно разглядеть и предусмотреть все. Но ведь воспользовались этими «издержками», если так можно выразиться, всякие дряни мерзкие, люди, которым это было выгодно. Представляешь, какой кусок был им кинут! Раньше существовали в больницах сестры милосердия и этим было все сказано. А теперь... Ты вспомни бабушку.

Мать моего отца умирала в больнице от самой

страшной болезни, а мы, растерянные, беспомощные, дежурили около нее по очереди. Врывалось три раза в день в палату воздушное существо в белом мини-халатике, переступая нетерпеливо стройными, тонкими ногами в модных лодочках, расставляло по тумбочкам тарелки с едой. Троим парализованным ставила тарелки с кашей на грудь... И исчезала, унося на лице то самое безгливое выражение, про которое говорила Наталья Арсеньевна. Возвращалась она через двадцать минут, собирая тарелки с нетронутой кашей, политой бессильными слезами смилившихся старух, страстно жаждущих лишь одного — избавления от затянувшегося финала.

— Вспомни, ведь они не могли сами есть. У них ведь руки не работали. И вот подумай, разве могла бы истинная сестра милосердия вот так равнодушно унести нетронутую тарелку от голодного, умирающего человека?

— Ну хорошо, доченька. А что же ты, наблюдая все это, не бросалась после школы туда кормить с ложки этих несчастных? Ты же, однако, бежала в зоопарк, в свой кружок, к своим подопечным зверюшкам. Потому что тебе это нравилось, а обслуживать умирающих стариков — тяжкий, неблагоприятный труд. А если бы, однако, каждый исполнял свой долг, все было бы стройнее и чище в жизни. Мы ведь сидели у бабушки до последнего ее вздоха, а тех несчастных даже никто и не навестил.

Я слушала тогда папу и чувствовала, как моя бедная голова начинает разламываться от тщетных усилий свести воедино несовместимое.

И где ж Мазепа? Где злодей?  
Куда бежал Иуда в страхе?  
Зачем король не меж гостей?  
Зачем изменник не на плахе?

Бледная от негодования застыла Наталья Арсеньевна между двумя задремавшими в креслах стариками. Ей, всю жизнь трепетавшей от пушкинского стиха и познавшей магическую силу его строк, не дано было победить одного — свалившейся как снег на голову старости. Своей и чужой. Чужой и своей. Меня уже давно не слушали, а я читала — азартно и упорно. Мой брат Николаша, наверное, воздал бы должное моему актерскому мужеству. Я видела погасший интерес ко мне в их туск-

лых глазах, на уставших и равнодушных лицах. Слышала шелестящий шепот, сопровождавший строки пушкинской поэмы. И наконец, полуприкрытые глаза, осевшие в мягких креслах тела и даже легкий храп. Но пушкинские слова подобно туго заведенной пружине раскручивались во мне упруго и с дальним прицелом, виток за витком, до самого последнего слова.

Но дочь преступница... преданья  
Об ней молчат. Ее страданья,  
Ее судьба, ее конец  
Непроницаемою тьмою  
От нас закрыты...

Распрявился последний виток пружины, и одновременно пришло в голову простое решение. Оно зрело во мне исподволь, сопровождая своим параллельным течением историю жизни Кочубея, Мазепы и Марии. Не пересекаясь, не прерывая плавного течения пушкинского стиха, решение это как бы естественно проклюнулось сквозь оболочку прочитанной мной поэмы.

Незадолго до моей неудавшейся гастрولي в богадельне вечером я возвращалась из зоопарка. Было уже темно, и я почти бегом спешила поскорей миновать противный, мрачный переулок, разгороженный по одной стороне стройкой, оставившей для меня лишь узкий проход.

«Сашенька, я тебя прошу обходить этот жуткий переулок. Проиграешь три минуты, не больше, а я хоть волноваться не буду. Тем более, говорят, у нас в районе какая-то банда орудует», — звывала ко мне моя мама.

Она вообще обладала редкой способностью страшить. Только я начинала шмыгать носом, мне ставился диагноз «гайморит», а если покашливал Николаша, на меньшее, чем «туберкулез», мама не соглашалась.

И когда, закатывая глаза от ужаса, мама пугала меня бандой, я улыбалась, представляя, как разгулявшийся первоклашка мутузил своего приятеля средь бела дня в соседнем переулке, а остальное дорисовывало мамино воображение.

Однако что-то зябкое шевелилось во мне, когда я бежала в тот вечер по переулку. Предчувствие меня не обмануло. Как из-под земли выросла передо мной долговязая фигура парня в кепке, надвинутой на гла-

за. Я вздрогнула, остановилась, сердце отсчитывало по сто бешеных ударов в минуту, во рту пересохло. Отделилось бесшумно от забора стройки еще несколько молчаливых фигур, заключая меня в сомкнувшийся круг. Мамины гены мгновенно нарисовали картину моих похорон. Я даже услышала причитания родственников и увидела грозный огонь в глазах Николаши. «Наверное, надо закричать», — кольнула скорая мысль. Но меня оставили силы. И вдруг стало все равно. Я покорно ждала своей участи.

И раздался тихий, насмешливый голос:

— Тю-ю, ребята, это же Шунька Веселова. Точно, она, собственной персоной.

Шунькой меня называли только мои одноклассники. Усилием воли стряхнув с глаз возникшую от страха пелену, я узнала в долговязой «кепке» Сережку Бестужева, год назад перешедшего в художественную школу.

«Не стыдно тебе, Бестужев, позорить такую прекрасную фамилию?» — вынырнул вдруг издалека голос классной руководительницы Евгении Осиповны. И Сережкин ленивый голос пробурчал невнятно в ответ: «Так ведь он же еще и Рюмин был, Евгения Осиповна».

Этот повторяющийся диалог сопровождал нас четыре года и вызывал неизменные приступы «рефлекторного», как объяснила Евгения Осиповна, смеха. Сережке «паяли» наследственность от знаменитого декабриста, он сопротивлялся и возражал. Ему такое родство было совсем не на руку.

— «Каким ты был, таким ты и остался», — насмешливо, Сережке в тон пропела я, приваливаясь дрожащей мокрой спиной к забору и почти с нежностью взирая на Бестужева.

— Я, старуха, сохранился. И да буду таким во веки веков. Аминь! Ша, ребятки, разбежались. Пошутили — и хватит. Не позволите ли, мадам, сопроводить вас до дому до хаты? — галантно изогнулся Сережка и подставил свой острый локоть.

Я поспешно вцепилась в его руку.

Домой я вернулась под утро. Мы бродили с Бестужевым по ночной Москве, вспоминая нашу бесшабашную школьную жизнь. Перебивали, захлебываясь, друг друга, хохотали и вдруг проваливались в долгое щемящее молчание, слушая лишь свое дыхание да шелестящие набег ветра на верхушки деревьев. Потом я плакала, уткнув-



шись лицом в рукав его ковбойки, рассказывая о том, как сдали Наталью Арсеньевну в богадельню. Одна деталь моего рассказа произвела на Бестужева большое впечатление. И потрясенный Сережка пошел в атаку.

— Так. Погоди, Веселова, не хлюпай. Этим горю не поможешь. Тебе же некуда ее забрать? Некуда. Значит, ты не виновата. Здесь другое. Гадов надо наказывать. Ты сказала, они ее в богадельню выперли из своего деревянного особняка в замоскворецких переулках?— И глаза Бестужева засияли вдохновенно.— Сжечь! Дерево гореть отлично будет! Сожжем все их музейное барахло — и с концами! Если я правильно тебя понял, Веселова, им же на человека плевать, им другое дорого. Вот и запалим их гнездо. Ну, чего уставилась? Не бойсь, на себя беру. Ты только дом покажешь — и гуляй.

У меня даже слезы просохли в одну секунду. Я со страхом и восхищением смотрела на Бестужева, а он полыхал огнем мщения.

— В конце концов, я ведь Бестужев. Надо учитывать этот факт! — заметил Сережка под финал своего стремительно придуманного плана.

— Но ведь не Рюмин же, — возразила я.

И мы оба засмеялись, очень довольные друг другом.

На прощание Бестужев до боли сжал мою руку и, глядя в глаза своим сумасшедшим немигающим взглядом, сказал с видом заговорщика:

— Значит, замечано. Как только решение в тебе созреет, дай знать.— И прибавил, задумчиво покусывая губу: — Запомни, Веселова, гадов надо наказывать!

...Задремавший звереныш потянулся внутри меня, расправляя затекшие мохнатые лапы и давая понять, что он жив-здоров и намерен бодрствовать. В вагоне вдруг запахло земляникой. Я открыла глаза.

Напротив меня спал Игорь Кириллович. Может быть, ему снилась земляничная поляна, согретая летним солнцем, и пышноволосая девушка с застенчивой улыбкой жмурилась на солнце, а он нес ей пригоршню спелой крупной земляники.

Впрочем, наверное, ему ничего не снилось. У него было напряженное, измученное лицо, и даже всегдашний румянец притаился, уступив место синеватой блед-

ности. Глубокая, как траншея, морщина резко впечаталась между бровями.

Проплыл за окнами книжный магазин для слепых «Рассвет», в который раз покоробив непродуманной легкостью названия. Прогромыхал тяжелый товарняк. Заметались, точно отскакивая в разные стороны, перепутанные рельсы.

Я тронула Игоря Кирилловича за плечо. Он спал. Я потрянула его сильнее. Густые влажные волосы упали на лоб, закрыв морщинку-траншею. Не открывая глаз, Игорь Кириллович валился на меня.

Вскрикнула испуганно сидящая рядом с ним женщина. А он тяжело падал мне на руки, и синеватобледное лицо ткнулось ничком мне в колени.

— Вечно что-нибудь с тобой случается! Какой инфаркт?! Какой Игорь Кириллович? Ты совсем заморозила мне голову! Немедленно езжай домой! — рокотал в трубке испуганный мамин голос.

Стянув в кулаки концы серого пухового платка, туго обхватившего худые плечи, смотрела на меня, не моргая и, казалось, не дыша, старенькая мама Игоря Кирилловича.

Я положила трубку, откинулась в кресло. Надо было ехать домой. А я медлила и медлила. У меня с детства была дурацкая привычка: ставить себя на место других людей. Со временем я научилась вживаться в обстоятельства их жизни с такой отдачей, что могла, наверное, умереть от отчаяния и тоски или лопнуть от смеха, проживая вместе с тем, кому сопереживала. Кто знает, может быть, Наталья Арсеньевна была права и во мне погибла великая актриса.

Я представила, как до рассвета будет бродить бесшумной, легкой тенью по просторной квартире старенькая мама Игоря Кирилловича. Как будет вспоминать без конца маленького Игоря, впервые ступившего неверными детскими ножками на пол и совершившего первый в жизни шаг.

А потом тоненький подросток с вечно разбитыми коленками свершит еще один важный самостоятельный шаг: выберет жизнь с матерью и твердо скажет отцу «Уходи» в ответ на его сбивчивые объяснения, что теперь они с мамой должны жить отдельно. А потом еще один шаг: в их доме засветится застенчивая улыбка.

ка пышноволосой женщины. А потом деловито и обстоятельно переступит беда порог их дома. Обведет траурной рамкой недолгое счастье сына. А потом... а потом...

Я решительно встала из кресла. Глаза Игоря Кирилловича глянули с лица старушки, знакомой полуулыбкой насильно разъехались пересохшие губы.

— Спасибо вам. Это удача, что вы рядом оказались. А то ведь, знаете, часто так бывает, подумают люди — пьяный, мол, уснул, пусть проспится. — Старушка поднесла платок к дрожащим губам. — Это его Анечкина смерть подкосила. Не хотели врачи выписывать раньше времени, так нет, все к ней рвался, на кладбище. К ней... А кто знает, где она и надо ли ей теперь все это?..

Голос старушки сорвался на шепот. Я быстро попрощалась и, осторожно прикрыв дверь, прыгая через три ступеньки, вылетела на пустынную предрассветную улицу. Раскинула руки, прокричала шепотом:

Москва пуста, вослед за патриархом  
К монастырю пошел и весь народ.  
Как думаешь, чем кончится тревога?

Ах, черт! Неужели ковер соткан?! Глупость какая, а?! Ненавижу! Следовать рабски предначертанному, предопределенному! А может, лучше сразу самой — раз... и с концами. По крайней мере сама. Ха! Как бы не так! Это небось тоже учтено хитроумным всезнайкой-творцом. Что вылетит, мол, однажды пробкой на пустую ночную улицу Шурка Веселова, разбежится из всех сил, взлетит, не чуя ног, на двенадцатый этаж какого-нибудь безмятежно спящего жилого дома, расправит невидимые крылья за спиной и спилотирует плавно на мягкую, как пуховая перина, мостовую. Вниз головой! Ах, черт! Какой пассаж! Какая короткая блестящая жизнь! «Гадов надо наказывать», — учил меня, благовоспитанную пятерочницу, хулиган и оторва Сережка Бестужев, ощущая пульсирующие толчки благородной, праведной крови своего блестящего предка. И как только мне подумалось о нем, он возник, точно по мановению волшебной палочки. Возник из зияющей черноты распахнутой двери моего подъезда совсем как тогда, в переулке, и в той же неизменной кепке с длиннющим, сверхмодным козырьком.

Лицо его, полузакрытое кепкой, казалось злым и напряженным.

— Как дурак шестой час прогуливаюсь под вашими драгоценными окнами.

— Гулял бы как умный.

Сережка сдвинул кепку на затылок, блеснули в полумраке его дерзкие глаза, полыхнули зеленым кошачьим пламенем. Чуть выше запястья я почувствовала его железные пальцы.

— Пусти, больно.

— Сейчас будет еще больней. Где ты шлялась?

— Ой-ей-ей, не заходишь, Бестужев. Я никогда ни перед кем не отчитывалась. И потом, я тебя просила раньше субботы не появляться. Сегодня среда. Ты своим вторжением сбиваешь меня. Мне сейчас надо одной... Не вторгайся, Бестужев. Прошу тебя. Хотя бы до субботы не вторгайся.

Железный «браслет» ослаб, наверняка оставив синяки на онемевшей руке. Сережка снова надвинул кепку на глаза и привалился плечом к косяку двери.

— Веселова, выходи за меня замуж. У меня... мне... как-то совсем не получается без тебя. Черт бы тебя побрал, Веселова. Глаза закрою — и сразу твои веснушки скачут. Хамить опять всем стал...

Сережка протяжно вздохнул и съехал спиной по косяку на корточки.

— Зачем хамить? — произнесла я ненужные слова и с ужасом почувствовала, как мои руки сами, без моей на то воли, сжимают Сережкину голову и через пальцы в меня переливается какой-то нестерпимый жар от его пылающих ушей.

— Потому что они все, понимаешь, отвлекают меня.

— От чего?

— От тебя. Я хочу думать о тебе, а они задают вопросы, заботятся о моем здоровье, предлагают еду. А я сыт по горло. Ты у меня уже через уши вылезаешь.

Зазевавшийся звереныш, словно опомнившись, мягким движением своей мохнатой лапы мазнул меня прямо по сердцу. Я резко встала, оттолкнула Сережку и молча двинулась в подъезд.

— Постой, Веселова... Так не уходи... Я ведь запросто могу умереть, если ты сейчас так уйдешь... Помнишь, как ты решила тогда поджечь этих гадов? Пос-

ле чтения «Полтавы». Помнишь? И как сказала тогда, что ближе меня у тебя никого нет. Скажи еще раз...

Близко-близко зависло передо мной в предрассветном синем воздухе бледное лицо Сережки. Такое бледное, как было у Игоря Кирилловича. Я испуганно дернулась к нему, умоляюще заглядывая в глаза, зашептала быстро:

— Сереженька, я тебе сказала те слова не на раз, а навсегда. Ты знай это. Просто мне так тяжело, что непременно надо быть одной. Это пройдет. А сейчас мне никак нельзя быть счастливой. В субботу приходи...

Зияющая пропасть подъезда разделила нас с Сережкой. Я пробралась на цыпочках в свою комнату. Подошла к окну. Бестужев сидел на тротуаре, прислонившись спиной к фонарному столбу. Запрокинутое лицо с четким тонким профилем казалось прекрасным неживым слепком. Это тусклые предрассветные звезды так печально излучали свой умирающий свет.

«Я люблю тебя», — безмолвно сложились в извечную и всегда первозданную конструкцию слова. Я мысленно переправила их Бестужеву. Он вздрогнул, лишь коснулись они его лба, и, отвесив мне шутовской поклон, с упорством маньяка распластал свою длинную фигуру поперек газона прямо под моим окном. Я знала, что он никуда не уйдет.

Я сейчас лягу спать и опять увижу во сне Наталью Арсеньевну, которая будет улыбаться мне своей виноватой, покорной улыбкой. А мой верный Бестужев будет лежать на газоне прямо под табличкой, запрещающей мять траву, и тихие бледные звезды будут слать ему тоже покорные гаснущие улыбки. Впрочем, что казалось моего сна, это было неправдой. Какой мог быть сон, когда под моим окном, взбаламутив неприкосновенность газона, упирался прямо в небо длинный голубой козырек. И нетерпеливо ждала скукожившаяся от дождя школьная тетрадь в линейку.

Стараясь не замечать мохнатой возни обнаглевшего звереныша, написала...

\* \* \*

«В доме генерала Вока с самого утра было суетно. Гости были приглашены к пяти, и солнце, посвятив свой дневной ритуал черноглазой имениннице, уже

завершало свое торжественное шествие, даря на прощание благосклонные взгляды искоса, как бы слегка сожалея о невозможности присутствовать на званом вечере. Да полно, скажет кто-нибудь недоверчиво, уж и само солнце просияло в честь неведомой шестнадцатилетней именинницы да еще и пригорюнилось, не желая расставаться. Да чем уж так хороша она, эта девочка без роду без племени, этот жалкий подкидыш, облагодетельствованный, возвращенный добрыми людьми? Какими такими достоинствами пришлась она по душе своенравному светилу? В чем ее отметинка? Быть может, суждено ей прославить род человеческий, и потому дарит ей владыко-солнце авансом благосклонный взгляд?! Ах, бросьте, вновь засомневается кто-то, а разве не шурились в благодарной улыбке учителю глаза Иуды, высвеченные неразборчивым солнцем? Ах, ах, ответят ему, не было бы Иуды, не стало бы и Христа.

А впрочем, время покажет, неумолимое, трезвое время. Распределит все роли, распишет все тексты, рассредоточит все мизансцены.

А пока что, ах как хороша Ленусик в свои шестнадцать лет! Глядят из-под кудряшек на четком лбу влажные глаза, черные как антрацит, гордо и чуть надменно выступает вперед узкий подбородок, подчеркивая гибкость длинной нежной шеи, густой темный румянец обозначает немного выступающие скулы, а длинные густые ресницы придают глазам манящее загадочное выражение. Редкой гостьей появляется улыбка на губах девочки. Но зато, когда улыбается Ленусик, самое хмурое лицо освещается улыбкой. Изгибаются, взмываются вверх стрелы бровей, вспыхивают дразнящие чертики в черных глазах, полные красивые губы открывают белоснежные ровные зубы. Голова запрокидывается назад, дрожат черные кудряшки, нимбом осеняющие голову, и заразительный смех Ленусика привораживает, закабаляет.

«Колдунья» — называют ее одноклассники. И впрямь есть что-то неуловимое, колдовское в ее обаянии. То, что не подчиняется рассудку и не слушает доводов здравого смысла. Наваждение, да и только.

С утра хлопочет высокая тоненькая девочка Ленусик, устраивая праздник для своих гостей. Стремительно носится она по дому, и то там, то здесь звучит ее высокий, красивый голос, напевающий какие-то наспех придуманные замысловатые мотивы. Щедро наделенная

абсолютным слухом, Лена Чувалова с легкостью занимает первые места на школьных конкурсах. С небрежной беспечностью садится она за рояль, одаряя недоверчивое жюри своей колдовской улыбкой. И откуда берется вдруг необыкновенная мужская сила и страстность в ее тонких, хрупких пальчиках? Но бросает она их резко на клавиши, и поработенный инструмент взрывается мощным шквалом звуков. А потом замирает на мгновение Ленусик, приподняв над клавиатурой вдруг обессилевшие кисти, и нежная грусть, кажется, льется прямо из ее души. Гордятся старики своей девочкой, своим ненаглядным Ленусиком. Хотя и непросто подчас справиться им с ее своенравным, строптивым характером. С ужасом вспоминает Ариадна Сергеевна прошлогоднюю осень, когда собралась Ленусик уехать в Москву. Заезжий пианист-гастролиер нарушил ее покой, и, вдохновленная его похвалами, а главное, как показалось Ариадне Сергеевне, дерзкими серыми глазами, собрала решительно вещи Ленусик и объявила о своем отъезде. Сердилась и плакала Ариадна Сергеевна, хмурился и вздыхал генерал, а Ленусик, бледная, с пересохшими губами, твердила одно: «Я знаю, это моя судьба». В ход была пущена тяжелая артиллерия. Обожаемая Ленусиком Наталья Арсеньевна долго разговаривала с девочкой. Ленусик вышла из комнаты еще бледней обычного, и лишь два багровых пятна горели на скулах. «Я остаюсь». Губы девочки скривились презрительной, жалкой гримасой. Сняв с вешалки пальто, Ленусик вышла из дому.

Час спустя, встревоженные долгим отсутствием девочки, бабушка Ада и Наталья Арсеньевна обнаружили ее в саду. Девочка сидела на краю огромной бочки и, стиснув зубы, глядела, как схватывается льдом вода, в которую опущены ее голые ноги. Ленусик хотела умереть. Но ей была суждена долгая-долгая жизнь. Она не переболела даже насморком, и уже неделю спустя как ни в чем не бывало раздавался по затихшему было, насторожившемуся старому дому перестук ее резвых каблучков, и привычные гаммы, адажио, пассажи неслись из комнаты девочки.

Казалось, промчавшаяся в душе Ленусика буря не оставила и следа. Так же внимательна и ласкова она со своими стариками, так же заботливо вывозит в сад после обеда деда Якова Сергеевича, тщательно завернув в

тулуп его отказавшиеся ходить ноги. Так же каждый день после уроков провожает девочка до дому своего идола — Наталью Арсеньевну, так же жадно и ревниво ловит на уроках литературы взгляд любимой учительницы и властно, негодуя, оттирает ждущих у школы сверстников. Стариков радует привязанность девочки к Наташе Беловольской. Но и пугает и настораживает одновременно.

— Господи, ни в чем-то у нее меры нет. Все на пределе, все в крайностях, — вздыхает Ариадна Сергеевна.

А Ленусик удивляется, пожимает плечами.

— Бабушка, ну о чем ты говоришь? Какое может быть чувство меры в отношениях к Наталье Арсеньевне? Чтобы не выражаться высокопарно, я могу... просто, если ей понадобится, я умру ради нее. — И, мрачно поблескивая глазами, Ленусик добавляет недовольно: — Только, к сожалению, не я одна. По-моему, весь наш класс сходит по ней с ума. Но ведь они все придумывают, а я действительно просто жить без нее не могу.

Ленусик не преувеличивала. Она действительно не могла и дня прожить без Натальи Арсеньевны.

— Страшно подумать, что бы было, если бы бабушка тогда не оказалась вашей попутчицей, — говорила девочка, преданно глядя на свою учительницу и даже бледнея от мысли, что все могло бы сложиться и таким образом.

Наташа Беловольская обожала Ленусика и очень жалела, никогда не проявляя этой жалости, глубоко пряча ее от пристальных глаз девочки. Наталья Арсеньевна чувствовала, что ей, любимой учительнице, адресовано нерастраченное дочернее чувство, жажда материнской любви. Уже не раз с тревогой вглядывалась Наталья Арсеньевна в дорогие ей лица стариков Вок, и от нее не могло укрыться то непостижимое отрешение старости, которое пока еще ненадолго, но нет-нет да и подергивало старческие глаза бесстрастной поволокой, напоминая о том, что приподнялась уж завеса и восхождение к небытию началось. «Мы уходим, поторопитесь. Не оставляйте в душе неоплаченных векселей. Живому можно вернуть долг. Долг перед навсегда ушедшим страшен. Поторопитесь», — читала Наталья Арсеньевна в покорных стариковских глазах. И еще чудилось, что завещают ей мысленно старики заботу о девочке.

«...Ах, не отвлекайтесь на печальное, — скажет не-



кто,—ведь нельзя же так: начать за здравие, а кончить за упокой, мы же настроились поприисутствовать на званом вечере!»

Итак, возбужденная девочка Ленусик встречала гостей. Подставляя розовую щеку для поцелуя, благодарила за подарки, а глаза томились по кому-то еще не пришедшему, но уже долгожданному. Гости с восхищением разглядывали изящное платье Ленусика, перешитое к этому дню из наряда Ариадны Сергеевны. Легчайший розовый шелк, отделанный тонкими кружевами, был к лицу девочке. Она знала это — и еще кокетливей изгибались дуги ее бровей, еще ярче и лучистее светились глаза, и мрачнели от ревности друг к другу ее тайные воздыхатели. Но уж этого она не замечала совсем или не хотела замечать. Ее внимание было приковано к двери, и по стремительному нетерпению, с которым кидалась она на каждый звонок, по еле уловимой досаде, капризно кривившей рот, заинтересованный наблюдатель мог почувствовать ее беспокойное ожидание.

Таким наблюдателем был Яков Сергеевич. Он сидел в своем кресле и через распахнутую дверь гостиной неотступно следил за девочкой. Для него не было секретом то, чего не замечали или не понимали гости Ленусика. Она ждала ее, своего идола, а та почему-то задерживалась.

На миг волнение девочки отдалось в сердце генерала каким-то неясным предчувствием беды, но тут же Яков Сергеевич отмахнулся от промелькнувшего ощущения, приписал его нервам. А уж этого генерал не терпел. Откинувшись в кресле, Яков Сергеевич прикрыл глаза, и мысли его заспешили, отматывая стремительно время назад, к тому заснеженному февральскому дню, когда уготовано было судьбой вручить в надежные руки генерала маленький сверток с невесомым телом ребенка.

— Дедушка, я не знаю, что и думать.

Громкий шепот Ленусика вернул генерала с продрогшей платформы вокзала в жарко натопленный дом. Зябко повел узкими плечами Яков Сергеевич, словно выпроваживая ощущение стылой изморози, увидел над собой большие глаза Ленусика.

— Что такое, деточка? Стряслось что-нибудь?

А Ленусику только и нужны были эти слова, чтобы

поползли в разные стороны поджатые губы, наполнились моментально слезами черносливые глаза и беспомощно затрепыхалась жилка на виске.

— Дедушка... значит, я... просто ей не нужна. Она знает... я так жду.

Генерал притянул к себе голову девочки, широкой ладонью осторожно вытер слезы с розовых щек.

— Довольно мокроту разводить. Капелька неразумная. Мало ли по какой причине Наташа задержаться может. Ты знаешь, Александру Людвиговичу нездоровится... Может быть, Наталья Арсеньевна боится его одного оставить. Нельзя так, Капелька, нельзя, моя родная. Ты должна сегодня быть веселой, гостеприимной. Ну полно, полно! А то нос распухнет...

А Ленусик чем больше сдерживалась, тем сильнее и горше жалела себя, и слезы текли без удержу. Голос срывался, дыхания не хватало, но девочке надо было выговориться.

— Дедушка, понимаешь, все ребята ее ждут и думают, что я обманула их. И еще они ведь думают, что она, значит, меня не очень любит. Я же вижу, как злобно улыбается Милочка Богданова. Она сама вечно липнет к Наталье Арсеньевне. Даже зимой ей цветы достает... Теперь они все подумают, что не я у нее... на первом месте. Ой, дедушка, ты же не понимаешь, но это ужасно, ужасно...

Слова девочки насторожили Якова Сергеевича, исчезла с лица генерала улыбка, замерла широкая ладонь на темных кудряшках.

— Подожди, деточка. На вот тебе платок. Высморкайся, вытри слезы.

Ленусик, мгновенно уловив перемену в голосе деда, вопросительно подняла заплаканное, в багровых пятнах лицо, торопливо вытерла слезы.

— Видишь ли, Капелька, реванш в отношениях с людьми — дело неумное и недостойное. Ты сейчас возбуждена и, может быть, поэтому не совсем понимаешь, что говоришь. Мне бы не хотелось, чтобы когда-либо в своей жизни ты принимала в расчет то, что скажут люди о твоих взаимоотношениях с другими. Прислушаться не грех, а ориентироваться не стоит. Ну, хорошо, не сердись на деда, что маленькую нотацию прочитал. И еще. Я ох как много людей повидал за свою жизнь! Разных, всяких. И иной раз дорогой ценой распла-

чивался за свои заблуждения. Вот и стал, видимо, мудрее. Наташа — редкое, поразительное существо. Обидеть ее очень легко: слишком открыта, обнажена душа ее. Это большой подлостью было бы! Впрочем, зачем я тебе говорю все это? Беги к гостям, Капелька. И верь, пожалуйста, Наталье Арсеньевне. Если она опаздывает, значит, есть на то серьезная причина.

Ленусик внимательно слушала генерала. Слезы высохли, глаза снова заискрились, забегали в их блестящей глубине лукавые чертики. Расцеловав деда, убежала она к гостям, а старик, откинувшись в кресле, снова вернулся на заснеженную платформу.

Гости Ленусика, оценив по достоинству кулинарное искусство именинницы, перешли в гостиную. Ленусик открыла крышку рояля, положила руки на клавиши. Зазвенела на кухне посудой Ариадна Сергеевна. Перелистнул следующую страницу биографии Ленусика поддремивающий генерал. Замерли в ожидании музыки гости.

Подал голос звонок. Коротко, словно всхлипнул и споткнулся, еще и не начав звенеть. Встрепенулся в кресле генерал, зашепила, на ходу вытирая полотенцем руки, Ариадна Сергеевна. Взылась со своего вертящегося стула у рояля Ленусик. Он был странный, этот звонок. Словно сигнал о бедствии, зов о помощи.

На пороге стояла Наташа Беловольская. Дрожащими руками тянула она Ленусику букет красных роз, а на бледном лице вымучивалась улыбка. На спутанных непокрытых волосах таял снег, стекал узенькими струйками на лицо, но она не замечала их. Ее немигающие глаза были опрокинуты в то страшное и невероятное, чему только что была она свидетелем...

Напряженная до звона в ушах тишина разрешилась тревожным голосом генерала:

— Кто пришел?

Наташа переступила порог, обвела всех незрячим взглядом и, улыбаясь жалкой, виноватой улыбкой, проговорила:

— Извините, я опоздала, но... — И прибавила почти шепотом: — Дело в том, что Александр Львович... застрелился.

Ох как вытянулся во всю длину и ширину своего мохнатого существа отвратительный, липкий от страха

исчезнуть звереныш! Как он всколыхнулся, как отвратительно заелозил, заметался в поисках спасения! Но теперь-то он был обречен: мгновенной вспышкой высветилось понимание моего беспокойства.

Я закрыла тетрадку, подошла к окну.

Светлое, голубеющее небо совсем вытеснило, стерло очертания звезд. Московские улицы оживали, стряхивали дремоту, перестраивались на дневной ритм. Проехала поливальная машина, окропив газон с распластанным Сережкиным телом. Он вскочил, погрозил кулаком изумленному шоферу, расстегнул прилипшую мокрую ковбойку, вскинул голову. Я распахнула окно.

«Доброе тебе утро, Бестужев»,— прошептали губы беззвучно.

Он улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой.

«Доброе утро, Веселова,— сказали его сияющие глаза.— Я принимаю этот день как подарок прямо из твоих рук. Ты рада мне, Веселова?»

Я вытянула вперед руки, согнув кисти, словно обхватывая упрямый Сережкин затылок, а он наклонил голову и потерялся лбом о мои сомкнутые руки.

«Доброе тебе утро, Бестужев. Я так рада видеть тебя в рождающемся дне. Мне уютнее жить с тобой в одном дне. Но и немножко тесно...»

«Подвинуться?»— спросил Сережка собравшимся в гармошку лбом и отпрыгнул, освобождая часть газона.

«В тесноте, да не в обиде»,— засмеялась я.

А он развел руками: как, мол, хочешь, Веселова, как скажешь.

Выкатился из подворотни на кривых ногах заспанный дворник со вчерашним лицом, глянул угрюмо на взбаламученный газон, набрал в грудь воздуха для брани. А Бестужев подмигнул ему нахальным, хитрым глазом и исчез, испарился, оставив после себя примятую траву на газоне да изумление на лице дворника, не успевшего раскататься для ругани.

Два года назад, еще до перехода Бестужева в художественную школу, у нас в классе была устроена выставка его рисунков. Один из рисунков назывался «Автопортрет». На нем Бестужев изобразил себя в широкополой соломенной шляпе, дырявой и сильно поношенной, с небрежно повязанной ленточкой на шее. Один глаз его был нахально прищурен точь-в-точь как в немом диалоге с дворником.

Мне отчаянно захотелось рассказать Бестужеву о своем единоборстве с мохнатым зверенышем, которого все же одолела настырная память. Он умел *слушать*, мой верный рыцарь!

Я мысленно поблагодарила свою память, которая четко и стройно, словно это было вчера, вернула мне этот день.

Была ранняя весна. Дорожки в парке пансионата развезло. Взбухла, набрякла земля, пропитанная талым снегом, и небо было такое же — набрякшее от влаги, сизое. Уже во всем ощущалась притаившаяся весна. Казалось, еще секунда — и, разорвав небесный купол, брызнет солнечный дождь. Но прорыва этого все не было и не было, а люди и природа изнемогали от ожидания. Это была последняя весна Натальи Арсеньевны. В тот день я прямо из школы, не заходя домой, помчалась в богадельню. Правильно говорила моя мама, что у меня чутье как у собаки-ищейки.

В комнате Натальи Арсеньевны не оказалось. В конце длинного неуютного коридора переговаривались две старушки, ее соседки. Донеслись обрывки разговора:

— А Мария Николаевна так вчера убивалась, так унижалась перед дочерью, чтобы та ее обратно домой забрала. Вот уж напрасно... Нужна она ей!

У меня даже зазвенело все внутри. В этой богадельне, казалось, сосредоточились все проявления человеческой подлости и предательства.

Я подошла к старушкам, спросила, не видели ли они Наталью Арсеньевну. Некоторое время они молча смотрели на меня. Одна с заискивающей, почти подобострастной улыбкой, которая была непереносимо знакомой. Так часто смотрят старики, как бы умоляя не списывать их со счетов, не воспринимать как выживших из ума, и дарят за это улыбки, лишённые достоинства. Другая глядела напряженно и с вызовом, каждую секунду готовая низвергнуть мощным словесным потоком все привилегии молодости. Про нее мне как-то рассказывала Наталья Арсеньевна... Переезжая в пансионат, старушка подарила внучке на свадьбу сбереженную сумму денег. Прошло два года, часть денег, оставленная для оплаты этого пансионата, кончилась. «А я все живу», — сокрушенно вздыхала старушка. Теперь ей надо было переезжать в другой, где оплатой была только пенсия. К старушке никто не приходил, ее не навещали, посове-

товаться было не с кем, и поэтому поделилась она своими горькими мыслями с Натальей Арсеньевной.

«Знаешь, Шурочка, так она и сказала: «Я не считала свою жизнь»,— вспомнила как-то Наталья Арсеньевна, глядя сквозь меня кроткими глазами, в которых плескалась мука невыплаканности.

— К ней пришли, и они в парке,— таковы были сведения, которые выдали мне старушки.

Черные стволы деревьев, уже отогретые дыханием весны, с надутыми пахучими почками на ветвях, не загораживали дорожек парка. И все деревья просматривались насквозь, не замаскированные нежными кружевами листьев. Торчали уродливые переплетения корней из вздувшейся бурой земли. Я даже поежилась— таким неуютным и убогим казался парк. Сразу бросились в глаза две фигуры, притулившиеся на любимой скамейке Натальи Арсеньевны. Она любила сидеть на этой скамейке, потому что взгляд не упирался ни в дома, ни в служебные строения, раскиданные по парку, а уходил далеко-далеко, туда, где лишь деревья да обнимающее их небо соединялись с жаждущим отдыха взглядом, порождая обманчивую гармонию покоя.

Издали увидела я лицо Натальи Арсеньевны. Белое, неживое, с пустыми, остановившимися глазами. Лишь редкие помаргивания светлых ресниц выдавали ее причастность к живому. «Это все»,— ошпарила мозг короткая, как обрубок, мысль и, налив в ноги свинцовую тяжесть, улетучилась.

«Что случилось?» — настойчиво требовали ответа мои глаза, а язык молот без разбору расспросы о самочувствии, оправдания по поводу моего недельного отсутствия. Конкретный, но по-прежнему неживой, тусклый взгляд Натальи Арсеньевны, устыдив мой язык за приблизительность, соединил меня с незнакомой женщиной. Прозвучал лишенный интонации голос:

— Познакомься, Сашенька. Это моя бывшая ученица Милочка Богданова, Людмила Николаевна. С Ленусиком за одной партой сидели.

Она замолчала, споткнувшись о какое-то пришедшее на ум воспоминание. Молчала и я, встревоженно пытаясь пробиться к пониманию того, что произошло на этой скамейке. Молчала пожилая Милочка Богданова, внимательно оглядывая меня. В другое время мне стало бы неловко от этих изучающих глаз, но сейчас было все

равно. Усилием воли, добавившим бледности на лице, Наталья Арсеньевна продолжала:

— А это Сашенька, дочь моей московской ученицы. Мы занимались литературой. С пятого класса. А теперь она десятый уже заканчивает... Хочет стать биологом... Очень любит все живое... Извините... Сашенька, детка... Приезжай завтра, голубчик. Ты проводи Людмилу Николаевну до остановки троллейбуса... Она сюда-то на такси... Идите... Мне обедать пора... Посижу вот... и обедать...

Я замотала головой. Попросила шепотом: «Можно я провожу и вернусь?»

Неожиданно жестко и строго приказал незнакомый мне голос Натальи Арсеньевны:

— Я сказала, Сашенька, завтра!

Дернулась, засуетилась в словах Людмила Николаевна, уговаривая «милую, бесценную Наталью Арсеньевну» не принимать близко к сердцу. Она не могла не сказать ей, мучилась много лет у себя в Иркутске. И вот теперь, приехав в Москву на курсы повышения квалификации, решила окончательно. Пусть не сердится «дорогая, незабываемая Наталья Арсеньевна».

Отчужденно глядели на заблудившуюся в обилии слов бывшую ученицу немигающие глаза Натальи Арсеньевны. А мне сверлила мозг одна и та же короткая мысль: «Это все, это конец. Это все...»

Мы уходили, не оглядываясь, разъезжаясь ногами по тропинке, и я спиной чувствовала тусклый, неживой взгляд.

До остановки мы шли молча. Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не накинуться с расспросами на эту женщину, которую уже ненавидела. Я чувствовала, как поглядывает она на меня искоса своими белесыми глазами, и сдерживалась так, что от напряжения ломило в висках. Наконец женщина нарушила молчание.

— Знаете, Саша, все время я была уверена в своей правоте. В том, что должна открыть глаза Наталье Арсеньевне, а теперь я не знаю, надо ли было...

— А вам не кажется, что Наталья Арсеньевна уже не в том возрасте, когда нужно ей открывать на что-либо глаза? — взвилась я, еще не ведая, о чем шла речь.

А женщина жалобно собрала губы в тугой комочек, и глаза ее часто-часто заморгали.

— Я так понимаю, Саша... вы очень близкий человек Наталье Арсеньевне, поэтому секреты ни к чему... Дело в том...

Права была простодушная Мотя, насторожившись, учуя какой-то подвох в добровольной разлуке Наташи Беловольской с ее мужем. Видимо, в этом месте, на изнанке ковра, завязан был огромный уродливый узел. И нити переплетенных судеб Наташи и Александра Беловольских были разорваны, а потом по никому не ведомой прихоти собраны вновь, связаны в узел. Но не было видно на прекрасной лицевой стороне ковра этого препятствия.

Быть может, неведение — грех и подлежит жестокой и беспощадной каре?! Пусть так. Но пусть тому, чье неведение однажды взорвется немилосердным прозрением, будет отпущено долгое время жизни, чтобы зарубцевались раны от свершенного предательства, чтобы нашлись жизненные силы преодолеть беду...

Но это была последняя весна Натальи Арсеньевны. Не предначертано ей было судьбой оправиться от соболезняющих откровений бывшей ученицы.

«Нельзя хамить старшим, доченька», — с детства выслушивала я наставления родителей. И тогда, на троллейбусной остановке, слушая, как пытается оправдаться женщина с белесыми глазами, я сдерживалась изо всех сил.

— И что же, эта самая родственница Натальи Арсеньевны, она где? Жива? — стиснув зубы, спросила я.

Бегающие глазки застыли.

— Да, да, конечно. Она ведь младше Натальи Арсеньевны. Когда та уехала учиться в Ленинград, то есть в Петроград по-тогдашнему, Сонечке было шестнадцать только. Вот с тех пор и до самой своей смерти Александр Людвигович был... связан с ней. И сын у нее родился, его сын, он тоже учился у Натальи Арсеньевны. Да знаете вы его. Он известный журналист. Евгений Симаков. Слышали?

Я растерянно кивнула. Может быть, и слышала. А может, и не слышала. Какое имело это значение?

Имело значение только одно: среди благоухающего уже по-весеннему парка, вдыхая воздух, переполненный обещаниями скорого чуда, сидела старушка с покорными глазами, сданная в богадельню, словно ручная кладь,



и ощущала, как медленно вливает в нее смерть свой холод.

А над ней было безмятежное небо, не треснувшее гневно пополам от увиденного, щебетали и перекликались вокруг птицы, не онемевшие от свершившегося, рядом жили счастливые от предчувствия весны люди.

«Находясь в здравом уме и твердой памяти, я лишаю себя жизни до того, как неумолимая старость постепенно лишит меня физических и духовных сил, парализует энергию, разобьет волю и превратит в тяжкий груз для себя самого и для других».

Эти слова французского марксиста Поля Лафарга, которые оставил он в объяснение своего самоубийства, часто повторяла в последнее время Наталья Арсеньевна. Я даже выучила их наизусть — так часто приходилось их слышать.

Мама посылала через меня снотворное для Натальи Арсеньевны, а я, услышав однажды от нее эти слова, с замиранием сердца протягивала ей таблетки. Конечно же встретились как-то мои испуганные глаза в такой момент с внимательным взглядом Натальи Арсеньевны, и услышала я ее спокойный, чуть насмешливый голос:

— Не волнуйся, голубчик, это исключено. Ведь это из твоих рук. Слишком непомерное бремя вины взвалила бы я на тебя, моя хорошая.— И, помолчав, испытующе посмотрела на меня, словно проверяя, стоит ли продолжать:— Когда застрелился Александр Людвигович, впервые в жизни мне не захотелось жить. Слишком невероятной и бессмысленной казалась жизнь без него. Я стала как дальтоник. Все краски мира померкли. Я видела вокруг себя серое небо, улицы серого города с серыми домами, серых людей, бесконечно далеких от меня, с их радостями и бедами. А мне надо было воспитывать детей, учить их видеть жизнь прекрасной и звонкой. И тогда я решила уйти. Набрала полную горсть таких вот таблеток. И вот ведь не судьба, значит, была. Застучали в окно, загалдели встревоженно... Оказалось, что в городе пожар. Горел дом Вока, и очень пострадала Ариадна Сергеевна. Так спасти ее и не удалось. Когда она пыталась вынести хоть самое необходимое из вещей, обрушилась на нее горящая балка. Осталась Ленусик одна с парализованным дедом. Тут уж пришлось мне засучив рукава приниматься за устройство их в мо-

ем доме. А вскоре и Яков Сергеевич умер... Ленусику исполнилось тогда семнадцать лет... Вот, Сашенька, какая была история в моей длинной жизни.

Тогда я осмелилась на вопрос, который никогда не решалась задать Наталье Арсеньевне.

— Почему застрелился Александр Людвигович? — И, чувствуя, как лицо заливает жаркий румянец, пробормотала поспешно: — Извините, я не хотела...

— Нет, отчего ж, голубчик, я никогда не делала тайны из этого. Просто раньше очень больно было говорить... А теперь... Теперь все так болит, что та боль как бы растворилась, слилась со всем остальным. А уж ты, голубчик, как никто другой, имеешь право знать... Тебя ведь и называли в честь Александра Людвиговича. Так захотела твоя мама. Наверное, чтобы сделать мне приятное. Я очень много рассказывала ей об Александре. Он был самый удивительный, самый блестящий человек из всех, встреченных мною в жизни. Он был талантливейший адвокат. Люди шли к нему за справедливостью, несли ему свои израненные души,веряли сокровенные тайны. Они знали, что их не предадут, что они в надежных руках. Даже будучи совсем молодым человеком, он был мудр как старец. Каждый миг нашей совместной жизни был для меня высшим даром. Только несколько раз я не сумела понять его. Впервые это случилось в пору моей студенческой жизни. Я вдруг перестала получать письма от него. Думала — заболел или случилось что-нибудь страшное. Его работа предполагала множество опасностей. Приходилось иметь дело с преступниками. Я просто места себе не находила. А потом пришло письмо от моей подруги, она сообщала, что он жив-здоров и оснований для беспокойства нет. Мне показалось тогда, что она недоговаривает чего-то, но мои нервы были слишком напряжены в тот момент, и во всем чудилось больше, чем было на самом деле. И действительно, вскоре я получила виноватое и даже растерянное письмо Александра. Как я и полагала, он был в отъезде в связи со сложным, запутанным делом... — Наталья Арсеньевна передохнула немного и продолжала: — Второй раз я не сумела понять, объяснить для себя его поведение уже после нашего переезда в Новопавловск. Мы очень ссорились тогда. Я пыталась устроить переезд к нам Сонечки, моей двоюродной сестры, а Александр вдруг с каким-то непонятным упорством

стал сопротивляться ее переезду. Этого я не могла понять. Он знал, как привязаны мы друг к другу, знал, что Сонечке трудно одной. В конце концов вмешалась Ариадна Сергеевна — и все уладилось. Сонечка переехала к нам, Александр устроил ее на работу в свою контору, вскоре у нее Женечка родился. С появлением на свет этого ребенка было много непонятного, а для Сони трагического. Она не была замужем. Но я никогда не позволяла себе вмешиваться, обременять распросами. Ей и так было нелегко. А ребенок — это самоценно. Какое, в конце концов, имеет значение, почему он появился на свет. Он был потом моим самым любимым учеником. Своими блестящими способностями, острым умом, повышенной эмоциональностью он часто напоминал мне Александра Людвиговича. Он даже имел привычку так же тереть указательным пальцем переносицу, когда пытался разрешить какой-нибудь мучивший его вопрос... Месяца за три до смерти Александр Людвигович опять занимался каким-то нелегким делом. Мы редко виделись. Александр уставал, нервничал, мучился бессонницей. Я беспокоилась за него. У него было больное сердце, и всяческие перегрузки кончались, как правило, сердечными приступами. В ответ на мои распросы о деле, которым он занимался, Александр не отвечал. Он вообще мало говорил тогда. Лишь иногда я вдруг чувствовала на себе его виноватый, какой-то даже затравленный взгляд. Однажды ночью я проснулась от такого же взгляда. Он сидел у меня в ногах, и даже при лунном свете было видно, как он бледен. Я вскочила, обняла его, но он поспешно отодвинул меня, лицо его задергалось, искривилось незнакомо и страшно. Он ушел к себе в кабинет, закрылся и на мои просьбы объяснить, что происходит, ответил из-за двери напряженным, ровным голосом: «Все в порядке, Наташа, иди спать».

Наталья Арсеньевна опять передохнула.

— А через несколько дней мы поссорились из-за чепухи. Ему нездоровилось, доктор велел полежать дома. А в тот день Ленусику исполнилось шестнадцать лет. Я собиралась ненадолго забежать, поздравить именинницу. Александр захотел пойти со мной, я ответила, что он должен полежать. Слово за слово, произошла размолвка, каких немало бывало и раньше. Я не придавала этому значения, поспешно заканчивала проверять тет-

радки, чтобы совсем освободить себя на этот вечер. Вдруг услышала над ухом голос Александра: «Прости меня, Наташа, прости за все». Я не ответила ему, продолжала проверять диктанты. «Ты не прощаешь меня?» И, господи боже мой, куда делась в тот момент моя всегдашняя чуткость, но только я опять ничего не ответила. Он постоял за моей спиной несколько секунд, произнес как-бы в раздумье: «Та-ак» — и быстро вышел из комнаты. Через несколько минут в его кабинете раздался выстрел... «У него была глубочайшая депрессия», — озадаченно повторял доктор. Но дело было не только в его нервном состоянии. Я не верила, что это была истинная причина. Без участия разума Александр никогда ничего не совершал в жизни, в каком бы крайнем напряжении ни находились его нервы. Началось расследование. Я ни во что не вникала, хотя приходилось отвечать на какие-то вопросы... Позже в одной из его книг по юриспруденции я нашла странную коротенькую записку, датированную тремя месяцами до его смерти: «Я решила. Имей в виду, я теперь способна на все. Если в самое ближайшее время ты не поставишь сам все точки над «и», я расскажу все ЕИ. Теперь уже речь идет не только о нас с тобой, и поэтому я, повторяю, готова на все». Записка была без подписи. Буквы, выведенные дрожащими пальцами, кренились в разные стороны. Я подумала, что это могла быть бумага, причастная к какому-нибудь делу Александра, а не адресованная ему. Видимо, так и оказалось... Александр Людвигович был честнейшим человеком из всех, с кем довелось мне встречаться в жизни. Самым тяжким наказанием была для него ложь. Возможно, то дело, которое он тогда вел, было в чем-то непосильным для его совести. Хотя какое это теперь имело значение? Его не стало, его нельзя было вернуть... Вскоре я удочерила Ленусика. Ну а остальное все тебе вроде бы известно.

Да, остальное было мне известно. А тогда, на троллейбусной остановке, вообще все стало на свои места. Верней, в одно мгновение все поменялось местами, смешалось в голове в каком-то хороводе ощущений, мыслей. Я чувствовала, что сейчас же, немедленно должна вернуться к Наталье Арсеньевне, и одновременно понимала ненужность и бессмысленность этого поступка. Ощущала острейшую необходимость, ничего не объясняя, расстаться с этой женщиной, не дав своему языку

прорваться в гневный и напрасный монолог. Но я продолжала тупо смотреть на обвешанный ошметками подсыхающей грязи сапог и слушать над своим пылающим ухом ее чужое дыхание. Чувствуя тошнотворные толчки подступающего отчаяния, я мечтала разрыдаться, прижимаясь лицом к Сережкиной пестрой ковбойке. Но знала, что увижу его,— и все равно не по силам будет растопить перекрывающий дыхание комок в горле, в котором больно и тесно скапливаются слезы.

Прошепелявил стертymi тормозами троллейбус, раздался над ухом голос женщины: «Этот троллейбус наш?» Не отрывая глаз от своего сапога, я ответила: «Это — ваш!»

— А вы... вы разве не поедете, Саша? Я думала, мы по дороге обсудим, как быть дальше...

Я медленно подняла голову, и женщина вдруг запнулась о мой взгляд. Не знаю, что прочла она в нем, но только охнула тихонько и как-то неуклюже, боком втиснулась в переполненный троллейбус. А я захохотала ей вслед и тут же замолчала, услышав со стороны этот истерический хохот.

Даже сейчас, вспоминая тот смех, я покрываюсь мурашками и почему-то втягиваю голову в плечи. Тогда мне на какое-то мгновение показалось, что я, наверное, схожу с ума. Может быть, не стоило так долго сдерживаться, чтобы не вылить на эту женщину поток злых, жестоких слов. Но даже в тот момент я оставалась интеллигентной девочкой из хорошей семьи. Мои родители могли мной гордиться. Я до самого конца оставалась на высоте. И только смех, выплеснувшийся помимо воли, был проявлением моей неблагопристойности.

Я сидела на подоконнике, обхватив колени руками и чувствуя почти невесомость от исчезнувшей тяжести лохматого звереныша. Пыталась понять, каким образом могло ускользнуть, затаяться такое важное для меня звено — вся эта история любви Александра Людвиговича — и как искусно и упорно стремилось мое подсознание к полной ясности. Впрочем, мне так не хотелось в это верить. Даже бедной Моте досталось за подозрение.

Мне смертельно хотелось спать. Мысли путались... Во сне я бегала по ковру, похожему на луг, а на-

встречу мне неслась тоненькая девушка. Не добежав до меня, она снимала шляпку, похожую на те, которые носили слушательницы Бестужевских курсов, и сноп длинных волос окутывал ковер. Девушка смеялась, закидывая голову и стряхивая волосы, и под волосами оказывалась короткая мальчишеская стрижка. Я пыталась разглядеть ее лицо, а она вдруг снова укутывалась в длинное золото своих волос, прядями падающих на лицо, и вновь бежала по цветастому лугу, еле касаясь земли легкими босыми ногами. Я хотела проснуться и чувствовала во сне свое пробуждение, но девушка вдруг умоляюще протягивала ко мне длинные, гибкие, точно ивовые ветви, руки, и я, вновь опрокидываясь в сон, видела, как разливается по коврам зловещая черная тень. Задрав голову, я следила за темной тучей, медленно опускающейся на луг. Туча эта, плотная издали, расщеплялась на узкие полоски по мере приближения к земле, и теперь было уже видно, что полоски эти не что иное, как черные птицы с длинными гуттаперчевыми крыльями. Я чувствовала на своем лице прохладный поток воздуха от множества крыльев, осызала кожей их губительное приближение. Одна из птиц, далеко оторвавшись от стаи, коснулась луга и побежала на длинных изогнутых ногах, сильно откинув длинное, иссиня-черное туловище и сложив крылья. С криком метнулась ко мне девушка, а птица глядела на нее белесыми глазами — и я с ужасом узнавала в ней ученицу Натальи Арсеньевны. Ее приближение становилось непереносимым, я задыхалась, чувствуя, как тускнеет в глазах и звоном наполняется голова...

— ...спать в одежде, — сказала птица маминым голосом.

Я с трудом разлепила глаза. Свинцовая тяжесть в затылке припечатала голову к подушке. Тело затекло и ныло.

— Я говорю, Саша, последнее дело — спать в одежде. И потом тебя к телефону.

Звонила мама Игоря Кирилловича. Только что она вернулась из больницы. Игорь Кириллович просил передать мне благодарность и сожаление, что уж так нелепо получилось...

Переулок был пустой и жаркий.

Я кралась, как вор, по разбухшему от зноя переулку.

Мои каблуки проминали мягкий асфальт, и он, как сообщник, скрывал звук моих шагов. Здесь, почти в центре Москвы, умудрялись звенеть кузнечики, притаившись в бурой от пыли траве. Частые удары сердца противно отдавали в расплавившийся асфальт. Я задыхалась от волнения.

Три года подряд я вышагивала по этому переулку. И всегда радовалась предстоящей встрече, зная, что меня так же радостно ждут. Теперь меня не ждали, и небольшой на первый взгляд, но весьма вместительный особнячок отстраненно и чуждо глядел на меня равнодушными провалами распахнутых настежь окон. На подоконнике *ее* окна так же пестрели фиалки в аккуратных горшочках и, как живая, пузырилась и собиралась жалобными морщинками белая тюлевая занавеска. «Дом образцового содержания» — кичились буквы на эмалевой табличке, прибитой к фасаду дома. При *ней* таблички не было. Видимо, после ее смерти воцарился показательный покой в этом доме. Я отчетливо представила, как увозили ее отсюда в богадельню. Погрузили в багажник «Волги» цвета кофе с молоком ее немудреный скарб, связки книг. А она в последний раз спустилась по ступенькам крыльца, маленькая, сухонькая, с виноватой улыбкой на лице, и торопливо, не оглядываясь, юркнула на заднее сиденье.

Бестужев был прав. Он бы хорошо горел, этот деревянный особнячок, забитый антикварным барахлом. «Боже мой, сколько вкуса, сколько изящества!» — восторгались гости Ленусика, разглядывая мебель и всякую старинную утварь. «Сколько сил, времени ушло на это! Ведь это все надо найти, подобрать, реставрировать», — с восхищением чирикали многочисленные приятельницы Елены Сергеевны. В одной из комнат царило средневековые и даже стояли рыцари в латах, надвинув забрала. К ним никак не удавалось привыкнуть добродушной собаке Джаньке, и она время от времени облаивала их, ополчась на их торжественную недосыгаемость. По стенам висели гербы каких-то неведомых графств, похороненных под руинами истории, сиял неподвластными времени яркими цветами нитей огромный гобелен, изображающий средневековый турнир. А комната Ленусика утопала в пуфиках, бантиках, завитушках кокетливого рококо. Бархатные и атласные подушечки с шелковыми кистями вызывали новый

взрыв восторга очарованных посетителей. Величественным, торжественным барокко изнемогал кабинет Вадима Александровича. И непростительной вопиющей простотой отличалась комната Натальи Арсеньевны. Туда посетителей не приглашали. «Ну а здесь комната мамуленьки, куда моей фантазии путь закрыт. Она против моего увлечения антиквариатом. Возвышенность идеалов не позволяет опуститься до увлечения материальным», — добродушно посмеиваясь, указывала Ленусик гостям на комнату Натальи Арсеньевны.

Мне лично всегда было не по себе в антикварных комнатах Ленусика. Я мысленно даже видела тоненькие веревочки, которыми ограждают в музеях экспонаты, и таблички с надписями «Не трогать руками».

Перед отъездом в богадельню Наталья Арсеньевна подарила мне книгу «Петр Первый» Алексея Толстого. Я еле удержала тогда в руках том — такой он оказался тяжелый. Это было подарочное издание романа с крупным шрифтом и иллюстрациями Шмарина.

«На память о том, как много надо трудиться, чтобы создать нечто огромное, нужное людям», — было написано Натальей Арсеньевной.

«Наверное, это невероятное счастье — иметь дар выразить себя в книге, в картине, в симфонии...» — думала я тогда, плетясь домой и уже не ощущая ноши, оттянувшей руку. Меня тогда занимало другое: а разве не бесценен талант отдавать своим ученикам душу и разум, редчайший дар видеть людей добрыми, красивыми и щедро, легко делиться этим даром с другими. По крупинкам сеяла его учительница Наталья Арсеньевна в души своих учеников. А много ли было добрых всходов?! Как же странно устроен мир. Несправедливо и безжалостно жестоко. Впрочем, что говорить о справедливости, когда ковер уже соткан. Так я думала тогда, прижимая к себе толстую книгу, а сквозь размытость моих растекающихся горьких мыслей проступала виноватая улыбка Натальи Арсеньевны. Поджав горестно тонкие, бескровные губы, тихонько покачивала она головой, укоризненно и чуть недоумевающе. Шелестящими набегами легкого ветра прозвучал ее голос: «Нет, голубчик Сашенька, это самое простое — увидеть мир несправедливо устроенным. Человеку дано величайшее свойство духа — мужество. И это великий путь к тому,



чтобы разгадать в человеке высокое, доброе начало. Я больше всего любила мужественных людей...»

Тогда она уже говорила о себе в прошедшем времени, не замечая того. Она оправдывала нас всех, сдавших ее в богадельню, не сетовала, не жаловалась, лишь еще отчаянней плескалась в ее глазах мука невыплаканности, когда говорила она о своих новых знакомых в пансионате.

Тогда я, наверное, плохо понимала ее слова о мужестве. Уже позже, сопоставляя все сказанное, вспомнила старика, занимавшего соседнюю с Натальей Арсеньевой комнату в богадельне. Он сам настоял, чтобы его переселили в пансионат. К нему часто ездили, привозили маленького черноглазого правнука. Однажды, с трудом преодолевая подступающее отчаяние, он попросил не привозить мальчика.

— Я бы не хотел, чтобы он привязался ко мне. Потом... будет скучать.

...Налетевший внезапно сухой жаркий ветер промчался стремительно по переулку, сметая в охапку песок, мусор, щепки. Швырнул их мне в лицо и исчез. Я сощурила запорошенные глаза. Подтянувшись на руках, заглянула в комнату Натальи Арсеньевны. «Как воровка», — устыдила мелькнувшая мысль и исчезла, не будучи удостоена вниманием. Руки дрожали от напряжения. Подтянувшись из последних сил, я оперлась о подоконник коленом, перевела дыхание. Мои глаза цеплялись за знакомые предметы в комнате. Все занимало свои места. Хозяйка этих вещей ушла из жизни, а неодушевленные предметы продолжали свое нескончаемое бытие. Так было и среди людей. Словно за интенсивность проживания забирала смерть лущих...

Красовалась над изящным старинным бюро большая фотография. Наталья Арсеньевна и Ленусик обнимали с двух сторон мохнатую голову сенбернара. Кричала красными чернилами нежнейшая надпись Ленусика: «Моей бесконечно любимой мамуленьке как доказательство преданной любви. НАВСЕГДА». Каждая буква слова, привлекавшего в свидетели вечность, была искусно выведена и отгорожена от другой буквы поперечной полосой.

Я вспомнила одно из последних занятий с Натальей Арсеньевной. Впервые не она открыла мне дверь — и это было так непривычно и странно, что сразу стало не по себе.

Наталья Арсеньевна ждала меня, сидя в глубоком кресле. Ее рука была перевязана бинтом и сверху обмотана шерстяным платком. А глаза глядели виноватей и покорней обычного. В ответ на мой испуганный вопрос чуть не разрешилась в ее глазах мука невыплакannости, но лишь дрогнули уголки тонких губ.

— Ничего страшного. Это укус... Меня укусила Джанька.

— Вас?! Джанька?! Не-ет... Это невозможно.

Легкая улыбка скривила рот Натальи Арсеньевны.

— Очень я, наверное, зажила, Сашенька. Пора и честь знать. Видишь, даже невозможное становится реальным. Просто зажила...

Джанька, любимица Натальи Арсеньевны, была добродушнейшим существом. Маленьким кутенком попала она в дом. «Сенбернары редко выживают в нашем климате, — недоверчиво покачивал головой один из бывших учеников Натальи Арсеньевны, ставший ветеринаром. — Хотя в Москве и насчитывается определенное число собак этой породы». Джаньку баловали и не жили, как ребенка. И она обожала своих хозяев. Особенно Ленусика. То есть Елену Сергеевну. С годами Джанька выросла в умное и преданное животное. Когда она вышагивала по переулку, пугающе громадная, с длинной, тщательно расчесанной шерстью, позвякивая начищенными медалями, прохожие застывали от восхищения. И случалось, целый эскорт сопровождал Джаньку...

То, что она укусила Наталью Арсеньевну, было невероятным. Никто не любил собаку так нежно, как Наталья Арсеньевна. А я вдруг с изумлением вспомнила тогда иллюстрацию к «Майской ночи» Гоголя. На той картинке синела украинская ночь и при волшебном, призрачном лунном свете белокожая панночка тоскливыми очами следила за утопленниками. А я уже видела ту, на кого сейчас укажет прозревший от жалости к несчастной панночке Левко и кого с тревогой и мукой ищет и не может найти панночка. Ту, чьи глаза вспыхнут колдовским фосфорическим пламенем и чье тело не засеребрится вдруг бесплотной прозрачностью... за-

ставит взгляд наткнуться на твердую черноту, что таится под белой кожей и длинными волосами.

«Ведьма!» — взорвет спокойствие безмятежной украинской ночи жуткий крик, всполошатся покорные звезды, разбежится тревожной рябью уснувшая вода, благодарным румянцем вспыхнут белые щеки панночки. Только в мудрой доброй сказке всегда даровано человеку чудо разгадать вдруг под человеческим обликом черную душу. Впрочем, если было бы так в жизни, создатель заскучал бы...

Я перелезла в комнату, спустила ноги на пол, прислушалась. В доме было тихо. Наверное, Джаньку повели выгуливать к Балчугу. Ее всегда водили по этому маршруту, чтобы она не растолстела. Опять пришла на ум гоголевская «Майская ночь». Уж если нежнейший отец выгнал из дому любимую дочь, безобидную панночку, околдованный злыми чарами ведьмы, то что говорить о послушной собачьей воле, чутко внимающей скрытым, потаенным желаниям любимой хозяйки. Ладно, хватит об этом. А вот портретик с красной надписью я, пожалуй, прихвачу с собой! Сняв с тоненьких гвоздей нашу с мамой фотографию, я потянулась за портретом Александра Людвиговича, и тут мои глаза наткнулись на окантованную фотографию мальчика с большими внимательными глазами, очень похожего на Александра Людвиговича. «Моей дорогой учительнице Наталье Арсеньевне от Жени Симакова», — было написано круглым детским почерком. Эта фотография тоже перекочевала в мою сумку. Надо же... И «самая любимая», и «дорогая», и «единственная», но только до поры до времени, пока любовь приятна, пока она еще не обременяет и не нуждается в усилиях того самого мужества, которое превыше всего ценила в жизни старая учительница, святая «матрешинская богородица». Но как же быть, когда кончается однажды любовь в сердце, а объект той любви не повинен в этом, он не стал хуже — только любовь иссякла? Может быть, тогда вступает в свои права мужество человека — величайшее свойство его духа? Или не вступает...

Опустошив стены бывшей комнаты Натальи Арсеньевны, я с удовлетворением оглядела ее, сразу потерявшую свой привычный вид. Исчезнувшие со стен фотографии лишили жилье принадлежности конкретному человеку. Из-за двери послышался приглушенный разго-

вор вошедших в дом людей. С грациозностью моего подшефного слоненка из зоопарка я перевалилась через подоконник и зашагала по разморенному от зноя переулку.

Моя оградка действительно заголубела под стать небу. Я работала не покладая рук, и теперь не только вокруг каждой рейки растекалось по маленькой голубой луже, но даже щеку стягивало подсыхающей краской. Мои многострадальные джинсы приняли тот вид, с которым так упорно боролась вчера Мотя. Зато голубая оградка надежно обнимала доверенный ей кусочек земли.

— Ох, и измазались же вы! Прямо с ног до головы. Даже на щеках разводы,— послышался тихий смех.

Повернувшись, я увидела прямо перед собой блестящие глаза-пуговицы игрушечного плюшевого медвежонка. Удобно примостившись на руках молодой женщины с очень знакомым лицом, он заглядывал через мою оградку.

— Да, я знаю. Это ничего. Я сейчас к Моте и все ототру. Медвежонок у вас симпатичный, такой глазастый.

Женщина заглянула в мордочку медведя, согласно закивала.

— Да, вы знаете, такой вдруг удачный попался, все какие-то страшенькие, а этот один был славный. У него даже отметинка есть. У всех медведей на ушках с внутренней стороны подшит коричневый вельвет, а этому на одно ухо не хватило — и ему подшили пестрый материал, видите! Смешно, да? А Моти нет сейчас. Она в музей поехала. Еще утром.

— В музей?! Мотя? — Я чуть не захлебнулась от изумления.

А женщина засмеялась, глядя на мое потрясенное, в голубых разводах лицо.

— Да, да. Именно в музей. Я утром приехала, у меня сегодня выходной, так я на весь день сюда. Вот я ее на станции и встретила. Нарядная такая, с новой прической. Я подошла насчет рассады на могилку, у нее есть такая особенная рассада... Вам, кстати, очень советую... А Мотя говорит: в музей, мол, поехала с подругой, если дождешься — так прямо сегодня рассаду выдам. А я, конечно, дождусь, у меня выходной, я на це-

лый день сюда.— Женщина замолчала и взмахом руки показала мне, куда она пришла на целый день.

Я сразу вспомнила ее.

— Мне, знаете, здесь лучше. Нигде места себе найти не могу. На работе, дома так сосет внутри, а здесь мне покойно. С ним потому что рядышком.— И добавила почти беззвучно: — С маленьким моим...

Медвежонок выскользнул из рук женщины и ткнулся мордочкой в голубую оградку.

— Ну вот, неуклюжая какая. Ничего, ничего, не беспокойтесь, я сама вытру. Знаете что, вам ведь все равно теперь Мотю дожидаться, так посидите со мной. И он рад будет, что мы рядом посидим. Или нет? Вы не хотите? Я пойму... Вы скажите, вам, может быть, не по себе. Вы скажите...

Я с усилием проглотила тугой комок в горле и поспешно стала убеждать женщину, что ничего я не боюсь и конечно же мы вместе будем ждать Мотю у могилы мальчика...

Легко сказать, ничего не боюсь... Никогда не могла я заставить себя пройти мимо той могилы еще раз. Наткнулась однажды и всегда потом обходила стороной этот маленький холмик с разложенными игрушками, открытыми коробками конфет, свежевыпеченными пирожками, апельсинами — оранжевыми, самыми спелыми. С размаху, больно впечаталась в пульсирующий мозг надпись на маленьком столбике: «Сыночек, мы всегда с тобой». Для него уже было реальным это «всегда», оно вступило в свои неторопливые права. Легко сказать, не боюсь...

Мы шли по петляющей желтой тропинке, и каждый шаг был для меня свинцово-неподъемным, когда зарокотал вдруг спасительный Мотин голос. Я рванулась к Моте так, словно мною выстрелили из ружья. Обрадованно заглядывая Моте в глаза, я понимала свое малодушие. Это ведь от чужой беды я так метнулась. Чтобы, не дай бог, не принять лишней дозы чужого несчастья. Опять вспомнились слова о мужестве, о милосердии, но я ничего не могла с собой поделать. Пряча глаза от женщины с плюшевым медвежонком, я торопливо и возбужденно требовала у Моти бензин, чтобы оттереть пятна краски, пока они, слава богу, еще не засохли. Понимающе-тоскливо глядели на меня потусторонние глаза женщины. Она была слишком далеко от меня, от Мо-

ти, от всех наших бестолково-суетных земных дел. Она и впрямь была с ним, со своим ушедшим мальчиком, и обретение этой связи было величайшим таинством. Именно эта дистанция, между нами вдруг отчетливо выявившаяся, лишала меня чувства вины за неумение просто и спокойно сидеть на маленькой скамейке возле могилы мальчика.

Снова Мотя терла мои джинсы, а я слушала нескончаемым потоком льющиеся ее впечатления от музея. Верней, я делала вид, что слушаю. Мысленно я была уже наедине со своей тетрадкой — и строчки ложились ровными рядами, гладко, без усилий. Но я знала, что лишь пальцы стиснут ручку — строчки распадутся на неуклюжие, неповоротливые слова...

Это было как бы игрой в жмурки. Пока повязка еще сдвинута на лоб, так легко и удобно ухватить любого из прыгающих вокруг людей, ловким крепким движением стиснуть в объятиях. Но лишь стоит надвинуть повязку на глаза, как исчезает уверенность и тычешься, неуклюже растопырив руки, пытаясь выхватить из безмолвия плотное тело необходимого слова.

— Господи, да ты не слушаешь меня, Александра?!

Мотя обиженно поджала губы и смотрела на меня укоризненно.

— Слушаю, Моть! С чего ты взяла, что не слушаю? Я все слышу.

— Повтори тогда, что я сейчас сказала. Ну, повтори! — с детской дотошностью допрашивала Мотя. — Вот видишь, не можешь... Бессовестная ты, Александра, вот и все!

Я засмеялась.

— Да слышу я! Чего ты пристала? Я просто думаю, как это ты здорово сообразила такую прическу. Очень идет тебе.

Расчет был точным. Обида моментально вытеснилась с Мотиного лица довольной улыбкой. Только беспокойство пробежало еле заметной тенью... Наивная Мотя. Боялась, как бы я не заметила сходства с пышной прической жены Игоря Кирилловича. Фотография девушки с застенчивой улыбкой, видимо, не давала покоя Моте.

— Так вот, я и говорю, что забыла название той картины. Хотела записать, да Таисия все колготилась — чего встала и стоишь, пойдем да пойдем. Название у этой картины такое печальное и торжественное. Вот,

черт, из памяти выбило! Теперь до вечера промучаюсь, пока не всплывет. Да ты-то уж точно знаешь, ученая ведь. Экскурсовод рассказывала, что изображен момент, когда Иуда Иисуса целует, а сам, кобель поганый, уже закладывает его. Я вот что и говорю тебе. Сходство я уловила с фотографией твоей, где подкидывш, генералом найденный, благодетельницу свою, учительницу-то, за плечи обнимает и в глаза заглядывает. Ах ты... какое же название?

— «Тайная вечеря»,— подсказала я, с трудом ворочая пересохшим языком.

— Во, точно. Так и есть. Ну, слава богу, а то у меня аж голова разболелась. Александра, ты бы умыла рожу-то. Смотреть тошно, вся в пятнах голубых. Ты чего уставилась? Не видала, что ль?

— Мотя...

— Ну?

— Моть...

— Ну, дальше-то чего? Тридцать пять уж, как Мотя. Нервная ты все же, Александра! Ну, чего затряслась опять?

Я обхватила Мотю за твердую шею, с трудом сдерживая озноб, рвущийся наружу.

— Ох, и худоба же ты, худоба! Один скелет да кожа. Ну, чего ты зашлась? Поступай-ка ко мне, Александра, на откормку. Я знаешь как готовлю — лучше чем в любом ресторане. А то будто вешалка: ни фигуры, ни форм никаких. Пора бы тебе жирку поднакопить. А то не перезимуешь...

Снова плыли за окном знакомые подмосковные картинки. Все было как вчера. Только не Игорь Кириллович, а Мотя сидела напротив, у окна электрички, полуприкрыв глаза.

Я перезимую. Должна перезимовать. А то, что нервная,— это ничего. Буду тренировать нервную систему, как учил Бестужев: «Хреново тебе — иди в больницу сиделкой или в детский дом нянечкой. Жестко, да? Не нравится — кисни дальше и разлагайся. Превратишься вскоре в Ленусика. Человеку вообще нужны жесткие рамки, только тогда он себя ощущает по-человечески. Волей очень немногие способны себя удержать... Надо сознательно менять образ жизни, чтобы не ты, а он, образ жизни, держал тебя».

Мотя тяжело вздохнула, поправила прическу, обли-  
зала кроваво-красную помаду на толстых губах. Думает,  
наверное, как встретит ее Игорь Кириллович в больнице.  
И чего поперлась, может быть, и вправду влюбилась.

Вот уж воистину пути господни неисповедимы. Дума-  
ла ли я, когда впервые возникло передо мной грубовато-  
е Мотино лицо и нарушил мое одиночество ее зычный  
голос, что так просто, точно и без малейших на то уси-  
лий будет включаться в мои проблемы ее доброе сердце.  
Как же это она про «Тайную вечерю»?! Просто уму не-  
постижимо. Я знала, как относились к Моте те, кому  
неведомо было, что скрывается за ее неказистой внеш-  
ностью, ее отпугивающей работой и образом жизни. «Ха-  
пуга», «Ничего за душой святого», «На чужом горе на-  
живается». И ведь не объяснишь каждому, что совсем  
это не так,— никто не поверит, да и Мотя не больно-то  
к себе подпустит, так шуганет, что больше неповадно  
будет. Я как-то спросила, чего это она вдруг проник-  
лась ко мне. И ответ получила исчерпывающий: «Да по-  
жалела я тебя, уж больно худая ты, кости так и торчат!»

— Ну и название присобачили! «Рассвет». Это для  
слепых-то! Сколько раз мимо проезжаю — столько по-  
ражаюсь. Для слепых-то что рассвет, что закат — все  
едино. Во люди! Скажи, Саш!

Я согласно кивнула.

— Вот здесь Игорю Кирилловичу вчера плохо стало.

Мотя закусила губу, горестно покачала своей наряд-  
ной головой:

— Бедненький Игорь Кириллович... Правду говорят:  
пришла беда — открывай ворота. А я, знаешь, Алекса-  
ндра, на минуточку к нему зайду. Скажу только, чтоб  
о могилке сердце у него не болело. Я все сделаю: Ере-  
мееву, заразе, велю ограду подновить, скамейку пусть  
вытешет. И рассаду свою в ход пушу. Так что пусть не  
беспокоится. Ему теперь ведь покой нужен полный.—  
Мотя задумалась, потом, наклонившись к моему уху,  
тихо попросила: — Александра, достань мне джинсы.

Я оторопело вскинула голову, а Мотя предупреждаю-  
ще зашипела:

— Ладно, ладно, нечего глаза таращить. Знаю, что  
сейчас насмешки твои идиотские начнутся. А я страсть  
как о джинсах мечтаю. Размер небось тоже можно  
отыскать. У них ведь, на Западе-то, зады тоже разные  
бывают. Не все плоские, как ты. Доска, да и только.



Думаешь, очень красиво, а совсем это безобразно даже.— И закончила вдруг жалостно: — Очень я нелепая, да, Александр?

Наша электричка зашипела на прощание тормозами, дернулась, и гнусавый голос сообщил о прибытии на станцию Москва-Пассажирская. Пробормотав под нос что-то невразумительное о том, что Матрена совсем наоборот — писаная красавица и воплощение грации, — я вывалилась из вагона. Мотя за мной. И сразу же вокзальная суতোлка подхватила и захлестнула нас галдящей, душевной волной.

\* \* \*

«Просторная квартира Натальи Арсеньевны, казалось, изнемогала от заполнившей ее музыки. С детства Ленусик выражала музыкой все оттенки своих чувств, все переменчивые настроения. А сейчас просто музыкальный шквал обрушился на съезжившийся дом. Ленусик стонала и плакала, жаловалась и, не находя сочувствия, взрывалась бешенством и гневом, молила о любви, умирляла себя всхлипом короткой паузы, взвивалась звенящим призывом о помощи и вдруг мощным натиском гордыни сметала любое участие.

Притихшая Наталья Арсеньевна сидела над своими тетрадками, взволнованно прислушиваясь к несущимся из комнаты Ленусика звукам. Сегодня ей не работалось. Впервые за три года воспоминаниям удалось подчинить ее.

Из далекого детства всплыла шоколадка в красной обертке, слабо похрустывающая под пальцами внутренней серебряной оберткой. Близорукое лицо отца, его большие руки, больно стиснувшие ее под мышками. Его запах, всегдашний знакомый запах карболки, йода, каких-то незнакомых лекарств. Он держал ее на вытянутых руках, повернув лицом к окну, вглядываясь жадно близорукими глазами. Так смотрят, запоминая навсегда. А она непонимающе таращила заспанные глазенки, прижимая к груди хрустящую шоколадку...

Отцовский шепот обжег жаром склоненную над раскрытой тетрадкой голову Натальи Арсеньевны.

Она вздохнула, откинулась в кресле, поджав ноги, свернулась клубочком.

Пробежали по клавишам пальцы Ленусика, рассыпалось, заметалось по комнате верткое стаккато, дразня и

насмехаясь, догоняя и уворачиваясь от неведомого, одной лишь девушке внятного преследования. Такого конкретного, что учительница покачала головой и слабая понимающая улыбка тронула тонкий рот.

Пренебрегая запретом, предательница-память высветила лицо Александра Людвиговича. Застонала Наталья Арсеньевна, а мелодия песни Сольвейг выпроводила вдруг прорвавшуюся боль, и качнулась в проеме распахнутой двери его коренастая фигура. Загалдели недоуменно ученики, вспыхнула смущенно Наташа, а он хохотнул, как камешки во рту перекатил, встал рядом с Наташей за ее учительский стол и пророкотал густым басом: «Здравствуйте, дети».

«Здра-а-асть», — прокатилось в ответ. «Любите учительку свою?» — «Лю-ю-бим-бим», — отозвалось незамедлительно вразнобой. «Правильно делаете, что любите. Таковую разве можно не любить? А что, если отправить ее в Петербург учиться, в университет?! Как считаете, птенцы? Голова уж больно светлая у вашей учительки, пусть знаний поднаберется».

«А к нам не вернется?» — пискнул чей-то голосок. И подхватили встревоженно в десятки голосов: «Не вернется? Нет? Не вернется?»

Вернулась... Обессиленная тифом, с круглой бритой головой, снова вошла в свою избу-школу, в свой храм, перед которым крестьянские дети, проходя стороной, степенно снимали шапки и, прижав руки к животу, благоговейно кланялись... Ее ученики. Где они? Разбрелись кто куда по белу свету.

Наталья Арсеньевна зябко повела плечами, снова услышала дружное: «Лю-ю-бим-бим».

И потом, когда никто уж не мешал им в опустевшем классе:

— Зачем ты так? Какой университет? А деньги? А мама как? Боже мой, совсем ты мне голову заморочил. И почему при детях?

Александр вытащил из кармана толстый конверт и провозгласил торжественно:

— Итак, сударыня, отныне вы супруга адвоката с приличным окладом. Я принят на службу в город Новопавловск, куда прошу вас последовать за мной сразу после окончания учебного года. Учение ваше университетское финансирую!

А потом их последние деревенские вечера с прощаль-

ными, предзакатными бликами солнца на лицах, обращенных в будущее. Впереди была долгая жизнь.

С волнением переступает Наташа порог своей новопавловской квартиры. Неужели она хозяйка этого нарядного, изысканного дома? Мебель красного дерева, может быть, чуть тяжеловата, но зато подобрана с большим вкусом, обита материалом бордового цвета. Полы натерты до блеска, до сияния. Тяжелые гардины на окнах, под цвет мебелиной обивки, оттягиваются к полу золотистыми кистями. А вот и ее, Наташина, комната! Здесь мебель воздушная, легкая, с гнутыми спинками. Бюро для бумаг. Вместительный письменный стол, книжный шкаф с пока еще пустующими полками. И всюду вазы с цветами.

Наташа даже не дышит от восторга.

— Неужели это все ты сам?

— Частично. Сонечка помогла. Она прелестное существо!

Наташа благодарно улыбается мужу, обнимая черноглазую Сонечку, дочь папиного брата, всю жизнь прожившего в Новопавловске. Теперь Сонечка сирота. Но ничего, ей будет легче с их переездом.

— Я не привыкла к такой роскоши,— шевелятся Наташины губы чуть слышно.

Александр снимает дорожную шляпку с Наташиной головы, гладит по волосам, плечам, целует глаза, губы, щеки. Потом спохватывается:

— Ах, да, Наташенька, тебе же ванна приготовлена. Ты должна отдохнуть с дороги, помыться.

Переодевшись в простенький халатик, сшитый маминими руками, переступает Наташа порог ванной и застывает в изумлении.

По поверхности воды кружат лепестки голубых роз. Их такое множество, что воды не видно,— и лишь алмазными слезами поблескивают прозрачные капли в углублении изогнутых лепестков. Какое-то время Наташа неподвижно сидит на краю ванны... «Мама не видит...» — мелькает в голове.

Со счастливым вздохом она ложится в ванну. А лепестки кружатся, растекаются, вновь занимая всю поверхность воды, щекоча Наташину шею, погружая ее в душистое облако. Наташину полудрему нарушает стук в дверь. В руках Александра огромное пушистое полотенце, тоже голубое.

«Я тяжелая», — расслабленно шепчет Наташа, а он, сильно и бережно прижимая к груди ее, запеленутую в махровое полотенце, так же шепотом отвечает: «Ты невесомая, ты самая отрадная ноша...»

Опадают с Наташиных волос голубые лепестки, редким нежным пунктиром устилают полы комнат, как бы обозначая их недолгое счастье.

Воцарившаяся в доме тишина вернула Наталью Арсеньевну к тетрадкам. Сделав машинально несколько пометок красным карандашом, учительница вновь откинулась в кресле. Из комнаты Ленусика просачивалась напряженная тишина. Наталья Арсеньевна легонько постучала в дверь. Приглашения не последовало. Наталья Арсеньевна приоткрыла дверь. Откинутая крышка рояля обнажала ряд ощерившихся белых клавиш. Раскиданные по комнате ноты создавали ощущение беспорядка и как бы свидетельствовали о том, что творилось в душе Ленусика.

Девушка лежала поперек кровати, стиснув голову подушкой. Наталья Арсеньевна тронула ее за плечо. Ленусик резко бросила подушку, села, скрестив на груди руки.

— Я стучала — ты не слышала, — не торопясь пояснила Наталья Арсеньевна.

Ленусик молча тряхнула головой, спутавшиеся кудряшки упали на глаза.

Наталья Арсеньевна заправила упавшие на лицо пряди за уши девушке и задумчиво проговорила:

— У тебя большой талант, Ленусик. Замечательно ты играешь. Даже я беззащитна перед твоей музыкой. Вся жизнь прокрутилась под ее звуки. Я не позволяю себе вспоминать, но твоя музыка оказалась сильней. Я сдалась. Тебе непременно надо ехать в Москву, в консерваторию. Нельзя такой дар похоронить, это преступление и, извини, неумно. Может быть, тебе неприятно возвращаться к нашему разговору, но, ей-богу, я не могу не настаивать на этом.

Ленусик тяжело вздохнула, глаза ее мрачно блеснули...

— Мамуленька, я же сказала, без вас никуда не поеду. — Голос ее звучал упрямо и капризно.

— Ну, погоди, давай хорошенько все обсудим. Я не

собираюсь вторгаться в твою личную жизнь, но, насколько я понимаю, ваши отношения с Вадимом заслуживают уважения, и мне он нравится. Есть в нем достоинство и ум. Тебя он обожает... Не кори меня, я без твоего на то разрешения разговаривала с ним вчера. Он тоже видит в тебе талант и считает, что надо ехать в Москву. Что касается меня... Ты же знаешь, как я приросла к этому месту. Здесь похоронены мама и Александр Людвигович. Здесь Соня с Женечкой, которым я нужна. А школа? Я так люблю свой класс, своих учеников. Мне их вести еще целых три года. Да и для директора мой уход, честно говоря, был бы просто ударом. Понимаешь, Ленусенька... Поздно мне начинать новую жизнь.

Ленусик слушала Наталью Арсеньевну молча, лишь над напружинившимся лбом подрагивали кудряшки.

— Я все понимаю, но я действительно не смогу без вас. — Голос ее задрожал от жалости к себе, и она порывистым движением обхватила шею ненаглядной мамуленьки. Наталья Арсеньевна была растрогана и взволнована не меньше Ленусика. А та не могла остановиться: — Я очень люблю Вадима, но это все не сравнимо с тем, как люблю вас. Это другое совсем... Мне приятно ощущать, как он меня любит, нравится, что он каждый день дарит мне цветы, покупает на последние деньги подарки... Я люблю свою уверенность в нем, в его чувстве. Но это совсем не то. Ради вас я готова умереть. Так как же я могу оставить вас? Я понимаю, что музыка — это моя жизнь, я так мечтала всегда попасть в Москву, в консерваторию. Но где мы сможем там жить с Вадимом? В огромном чужом городе... Он сам студент, у него нет ни денег, ничего. Жить впроголодь я не собираюсь. Зачем мне это?

Наталья Арсеньевна с трудом вникала в смысл услышанного.

— Ну, ну, не надо так. Мы больше не будем сейчас говорить об этом. Успокойся, девочка моя... Вечером придет Вадим, и мы все решим тихо, мирно, без слез.

Вечером, еще до прихода жениха, забежал на огонек директор школы. Энергичный, с громоподобным голосом, он растирал широкими ладонями застывшие уши и требовал чаю с вареньем. Они пили чай с Натальей Арсеньевной... Ленусик из своей комнаты слышала их неспешную беседу. Поделилась учительница своими сомне-

ниями с коллегой, тот возмущенно всплеснул руками — начались укоры, увещевания, заверения, что в случае ухода Натальи Арсеньевны развалится школа, рухнет все, что создано совместно за долгие годы.

— Ну, удивили, уважаемая коллега, ну, учудили. Надо же, а?! Да ни за что не отпустим. В карцер, на хлеб и воду за одни мысли такие. Поклянитесь страшной клятвой, что сию минуту все планы крамольные — из головы вон. Ешьте землю из горшка со своей обожаемой китайской розой!

Ленусик застыла у двери, вцепившись в ручку побелевшими пальцами. Услышав ответ Натальи Арсеньевны, она с тихим стоном села на пол. Злые, бессильные слезы заливали лицо.

В тот вечер, как нарочно, не пришел Вадим, и Наталья Арсеньевна не стала беспокоить Ленусика. «Спит, наверное», — подумала она, постояв за дверью.

Утром Ленусик не вышла к завтраку, и встревоженная учительница обнаружила ее без сознания. Возле кровати валялась упаковка от таблеток со снотворным.

Ленусик хотела умереть. Но ей была суждена долгая жизнь. Выходив девушку, Наталья Арсеньевна подала заявление об уходе. И в начале лета они перебрались в Москву.

...Я захлопнула тетрадку. Как бы хотелось взглянуть, какое место предназначено в общем рисунке ковра ниточке Ленусика! И еще бы хоть одним глазком глянуть на изнанку. «А на свою ниточку не желательно глянуть, уважаемая Александра Андреевна?» — шепнул откуда-то изнутри подначивающий голосок. Я отрицательно помотала головой. Покачала в руках толстую тетрадку, как будто прикидывая вес. Странно, что уже исчеркала последнюю страничку. Тетрадка исписана, а такая вроде бы толстенная!..

— Саша, ужинать! — крикнула из кухни мама.

Я отправилась на кухню.

— Занималась, Шуренок? — Из-за «Вечерки» вынырнуло папино лицо.

Я кивнула.

— Молодец, доченька. Кстати, звонили по моей просьбе декану, так что главное зависит теперь от твоей подготовленности.

Я, вяло пожевав кусочек хлеба, сказала:

— Только я, наверное, будут сдавать экзамены не в университет.

Вилка из маминой руки сплотивалась прямо на распластанную «Вечерку».

— Та-ак, приехали. Нет, ты знаешь, Андрей, я все-таки права. Дочь наша действительно не в своем уме. Объясни, пожалуйста, что это еще за номера.

— Во-первых, я абсолютно в своем уме. А во-вторых, никакие это не номера... — Я вдруг почувствовала жуткую усталость, даже глаза зажмурились, и я смотрела на своих родителей через узкие щелочки.

— Андрей, ты видишь, она даже говорить с нами не желает. То не спит ночами, все строчит что-то, а то за столом засыпает.

Разлепив пальцами веки, я с чувством прочла:

А между тем отшельник в темной келье  
Здесь на тебя донос ужасный пишет,  
И не уйдешь ты от суда мирского,  
Как не уйдешь от божьего суда.

— Ненормальная.— Мама раздраженно вздернула плечами.— Объясни хоть, что ты там еще надумала.

— Я надумала, что буду поступать не на биофак, а в педагогический. Вот и все. А еще я надумала, что если не поступлю, то пойду работать пока в Дом ребенка. Недалеко от нас, кстати, на соседней улице. Очень удобно.

Я говорила неприятным, тягучим голосом, но мама, уловив что-то, вдруг впервые за долгое время внимательно и серьезно поглядела в мои глаза-щелочки.

— Подожди, Сашенька, я что-то не понял.— Папа нервным движением скомкал газету.— И что же после педагогического? Какие перспективы? Не в школе же литературу преподавать?!

— Именно. Литературу в школе,— тем же вялым голосом проговорила я.— Литература в школе и горшки в Доме ребенка... — И без малейшего перехода спросила: — Мам, помнишь, ты говорила, что у Натальи Арсеньевны были деньги, на которые они купили в Москве комнату?

Мама, все так же пристально заглядывая мне в глаза, ответила:

— Да. У Натальи Арсеньевны после смерти мужа остались деньги, и немалые. Адвокатура приносила

Александрю Людвиговичу большой доход. Потом у нее были украшения, которые при жизни подарил муж. И все это пришлось продать, чтобы переехать в Москву, обзавестись комнатой и существовать безбедно какое-то время. Их ведь было трое. Перед отъездом в Москву Ленусик и Вадим Александрович поженились. А работала только Наталья Арсеньевна. Ленусик с блеском выдержала экзамены в консерваторию, а Вадим перевелся из новопавловского института в Московский инженерно-экономический. Что еще? Какие вопросы еще тебя занимают?

Мама так сказала слово «занимают», будто мой интерес был каким-то постыдным, праздным любопытством. Но я не обиделась. На кухне повисла долгая растерянная пауза. Мама смотрела на меня так пристально, что даже не моргала. Она словно силилась извлечь со дна моих щелочек-глаз подтверждение каким-то возникшим у нее мыслям. А папа пытался разгадать маминно выражение лица, напряженно вглядываясь своими вечно виноватыми глазами.

После того как Николаша «определился в жизни» и уехал в Ленинград, все, что пополам делили родители между нами, обрушилось на меня одну. Тогда я дала себе страшную клятву для блага моих будущих детей не забыть о тех притеснениях, которым подвергали меня родители, и, в свою очередь, никогда этим не злоупотреблять. Моя мама вечно чего-то боялась. А я была жертвой ее мнительности. Ради моего блага мама была самым активным членом родительского комитета. В шестом классе, когда все отправились в двухдневный поход и я, ошалев от свободы, носилась по нашему палаточному городку, разбитому в ночную пору на опушке леса, вдруг раздался голос дежурного: «Веселова, мать на горизонте». Наверное, в тот момент я бы отдала всю свою коллекцию жуков и бабочек за то, чтобы услышаться. Но, увы, чудес не бывает.

Родительница моя появилась в лагере с рюкзаком за плечами и полевым биноклем на шее. Это был такой позор, что до сих пор я переживаю его в самых кошмарных снах. А я-то, дура, радовалась, что так просто и легко отпустили меня в поход. Даже обольщалась мыслью, что родители исправились. Но не тут-то было. Мама,



услышав по радио, что с северо-запада надвигается циклон — как раз туда, куда будет двигаться наш отряд, — нагрузила рюкзак моими свитерами и отправилась следом за нами. Не сбиться в пути ей помог папин геологический полевой бинокль. Я рыдала, а мамин свистящий шепот подслушивался моими одноклассниками с четырех углов палатки:

— Александра, сейчас же прекрати истерику! Ты меня совсем не щадишь!

— Это ты... ты... меня совсем не щадишь. Я же теперь... навсегда опозорена!

Утром, когда наш отряд двигался в направлении так и не захватившего нас циклона, Бестужев, понимая, заглянув в мое распухшее, зареванное лицо, хлопнул меня по плечу так, что я присела, и утешительно изрек:

— Не расстраивайся, старуха. Но учти, родителей надо воспитывать уже сейчас — через год будет поздно.

На кухне по-прежнему стояла напряженная тишина. Я хмыкнула и развеселилась. А мама тяжело вздохнула и ушла к себе в комнату, повернув в двери ключ.

— Не надо обижать маму, Сашенька, — растерянно произнес отец, разглаживая на коленях скомканную газету.

Я удивленно взглянула на него.

— А я и не обижаю!

— Тебе так кажется, доченька! Ты судишь обо всем с молодым максимализмом. А в жизни сложнее!..

— Знаешь, пап, мне кажется, что этим люди оправдывают свою неспособность к бескомпромиссному существованию. «В жизни все сложнее...» Эта фраза у меня в ушах навязла. Именно по невероятной сложности жизни Наталью Арсеньевну спихнули в богадельню? Да?

— Погоди, доченька, не горячись. В конце концов мама не являлась даже ее дальней родственницей. Почему именно она должна была взять ее к себе? Да Наталья Арсеньевна никогда бы и не согласилась на это. Слишком гордым человеком она была. А потом, что она — вещь какая-нибудь, чтобы ее «брать к себе»?

— Вот именно не вещь, — пробормотала я чуть слышно и тут услышала знакомый свист под окном.

Если бы не этот свист, мирный вечер в нашем доме неизбежно кончился бы ссорой. В конце концов я должна была высказаться. А любое мое высказывание... Раз-

умом я всегда понимала, что мои родичи очень даже неплохие и совсем не виноваты, что им в дочери досталось то, что я собой являла. Но, с другой стороны, к себе я тоже относилась весьма ничего. Вывод напрашивался сам: несовместимость. При самом ближайшем родстве — грандиозная несовместимость!

Я молча покинула кухню, открыла окно в своей комнате. Увидев голубой козырек, почувствовала, как густым теплом наполняется мое тело.

— Веселова, я тебя приветствую.

Качнулся голубой козырек, открывая дерзкие Сережкины глаза.

— Привет, Бестужев.

Сережка потоптался на месте и, подпрыгнув, завис на толстой липовой ветке, издав при этом гортанный клич.

— Что прикажете? — раздалось из-под козырька.

Я засмеялась.

Бестужев, спрыгнув на землю, сдвинул кепку на затылок, поднял разгоряченное лицо.

— Слушай, мне срочно нужна общая тетрадь.

Сережка согнулся в галантном поклоне, ударил ногой по асфальту, словно чиркнул копытом, и тихонько заржал:

— В линейку или клеточку прикажете?

— Хоть в горошек. Только поскорей.

А его уже не было в пределах видимости. С ним у меня наблюдалась явная совместимость. Попроси я отца или маму купить мне тетрадь, начались бы расспросы: «Зачем? Для какой цели?» Мама заложила бы на всякий случай под язык валидол, а отец нервно комкал бы в руках газету. Потом они вызвали бы папину персональную машину и, бледные, взволнованные, отправились бы в писчебумажный магазин, обмениваясь по дороге соображениями, зачем мне так подозрительно срочно понадобилась тетрадь.

А Бестужев как внезапно исчез, так и столь же стремительно возник. Под мышкой у него торчала огромная амбарная книга.

— Где увел, Бестужев? — спросила я, интуитивно вглядываясь в переулок: не видно ли какой-нибудь погони?

— Обижаете, сударыня. Все честь по чести. Одол-

жил у знакомого бухгалтера из вашего, кстати сказать, домоуправления.

— Бестужев, не надо... Откуда у тебя знакомый бухгалтер в нашем домоуправлении?

Он задумался и согласился:

— Действительно... может, ты и права. Нет знакомого бухгалтера. Ну тогда... тогда пусть это будет моей тайной. Ты спустишься за тетрадкой... или мне подняться?

— Спускаюсь. Тетрадка нужна позже, на ночь. А сейчас мне в одно место подъехать надо.

По дороге Бестужев рассказывал о своих экзаменах. Он поступал в Строгановское училище. Сережка изображал педагогов, студентов-старшекурсников и даже, встав на четвереньки, показал собаку, с которой явился один из абитуриентов. Почти все рисунки абитуриента изображали эту собаку, и он прихватил ее с собой, чтобы экзаменаторы могли убедиться в «невероятном сходстве» рисунка с натурщицей. Ни одним словом Бестужев не полюбопытствовал, куда мы идем. И только возле дверей многоэтажного здания, включающего в табличках фасада чуть ли не половину названий всех газет и журналов, он спросил:

— Сюда, что ли? — И добавил нерешительно: — А ты уверена, что здесь еще работают? Вечер ведь уже.

Я объяснила, что здесь работают когда угодно и притом меня ждут. Ждет один журналист из бывших учеников Натальи Арсеньевны... Бестужев остался на улице, а я вошла в редакцию.

— Так быстро? — удивился Сережка, когда через пятнадцать минут я спустилась вниз.

Я молча кивнула и быстро пошла прочь от здания. Сережка шел сзади, ни о чем не спрашивая. Московские улицы выпроваживали дневную жару и усталость, погружаясь в ленивую прохладную полудрему. Озабоченные лица москвичей расслаблялись, голоса звучали мягче и раскованней. Город отдыхал от дневной суеты. Даже дрожащие от нетерпения, как стада диких зверей, машины у светофоров срывались с места не с такой одержимостью, как днем.

Я была типичное дитя города. Мне хорошо засыпалось среди незатихающих звуков городской жизни и всегда было неуютно в тиши деревни или просто на удаленных от города кусочках земли, где доводилось бывать.

И сейчас мне было хорошо шагать по утихомирившемуся ненадолго городу. Тем более что сзади плелся Бестужев.

Я знала, что сейчас расскажу ему, как побывала в кабинете известного журналиста Евгения Симакова. Расскажу, как, с трудом сдерживая грубые, обидные слова, молча выложила ему на прощание фотографию большеглазого мальчика с нежной надписью своей учительнице, как удивленно выслушал он мои последние, сорвавшиеся с языка слова: «Зря стараетесь — ковер уже соткан». Хотя на его непонимание мне было плевать с высокой колокольни, я поняла, что до него мне не достучаться, как только он стал делать вид, что вспоминает, кто же такая «эта Наталья Арсеньевна»!

— Погоди, Веселова, не трепыхайся, может, он действительно не понял, чего ты от него хочешь. И потом, если ты с первой фразы стала ему хамить...

Мы сидели в том самом скверике, где Бестужев с ошеломляющей стремительностью разработал план поджога «дома образцового содержания», затерявшегося среди замоскворецких переулков, накинувшего на себя маскирующее обличье благопристойности. Мы пережили уже следующую стадию этой трагикомической эпопеи, а над нами изгибалось синим куполом все то же небо со смиренными звездами. Впрочем, возможно, и небо было над нами уже не то, и десятки звезд тоже прокрутили на своей раскаленной поверхности не один трагифарс. Что мы про это знаем? Нам кажется, что только у нас происходят изменения, а на самом деле все и вся несется в дикой свистопляске перемен и событий, все, что кажется нам неподвластным движению и перестановкам.

— Нет, Бестужев, хамить я ему вообще не хамила. Я сначала соловьем разливалась. Как, мол, здоровье бесценной вашей матушки Софьи Алексеевны и так далее и тому подобное. Но ты знаешь, что меня больше всего устраивает в нашем с ним разговоре? Он меня испугался! Понимаешь? Когда я ему стала доказывать, какой у него замечательный материал в руках, ведь он всегда строчит на нравственно-этические темы и такой вроде бы бесстрашный, даже дерзкий в своих статьях,— он вдруг заюлил, чай стал предлагать, набирать какой-то телефонный номер. А потом стал вякать, что я-де преувеличиваю его посвященность в эту историю, что

ему не совсем удобно братья за подобную тему, так как с академиком Кандаловым (это муж Ленусика — Вадим Александрович) они в добрых отношениях. И работы другой невпроворот. И в длительную командировку он прямо завтра на рассвете уезжает. Врет все, конечно. А я тогда сказала ему, что в таком случае сама все напишу. И он испугался! Я видела, как в его глазах поселился страх, гаденький такой, низменный: как бы карьеру ему не подпортили!.. Тогда я сказала, что все равно ковер соткан, и отдала ему фотографию. Вот и все. А насчет хамства ты зря, его и не было.

Сережка задумчиво комкал в руках свой голубой козырек.

— Скажи, Сашур, а ты твердо уверена, что Ленусик ни разу не приезжала на могилу Натальи Арсеньевны?

— Господи!.. — Я даже подпрыгнула на скамейке. — Как же она приезжала, если даже не знает, где, на каком кладбище похоронена ее «бесценная мамуленька»!

Наталья Арсеньевна умерла вечером следующего дня после посещения бывшей ученицы из Новопавловска. Мое предчувствие меня не обмануло — пережить такое горе она не могла...

Вернувшись из школы, я обнаружила записку от мамы: «Обед на плите. Позвонили из пансионата. Тяжело заболела Наталья Арсеньевна. Я уехала к ней». Мне казалось, что я просидела вечность с этой запиской на коленях. Я знала, что это конец. Это все. И мне было так страшно, словно предсмертное дуновение коснулось и моего лица.

Когда я приехала в пансионат, Наталья Арсеньевна уже никого не узнавала. Не узнала она и маму. Наши лица, теперь уже невнятные для ее угасающего сознания, она соединила в одно:

— Я знала, что ты придешь! — И вздохнула с облегчением, пристально всматриваясь в нас с мамой. — Теперь я спокойна. Иди домой, Ленуся. — И вдруг, спохватившись, спросила, с трудом шевеля бескровными губами: — Как Джанька? Приведи ее ко мне завтра.

Я поспешно кивнула. Слабая улыбка тронула рот. Наталья Арсеньевна забылась.

Мы с мамой вышли в коридор. Сейчас же застучали двери, к нам заспешили со всех сторон. Старые, одино-

кие в своей трагической старости люди. Такие жалкие, хоть и в подобии достоинства, такие забытые — даже те, кого навещали. Смерть не была редкостью в пансионате. И быть может, поэтому в глазах было мало сочувствия и сопереживания, было любопытство, обычное житейское любопытство. Возможно, мне показалось. Но почему тогда я увидела *те* глаза? Они смотрели скорбно и покойно. Я узнала старика, который просил не привозить к нему правнука. Наши глаза столкнулись. Он подошел легкой, нестариковской походкой.

— Ей должна быть уготована легкая смерть... Она святая... — прошептали его губы вместо сочувственных, соболезнующих слов.

У мамы я узнала, звонила ли она Ленусику. «Да, конечно, звонила, — последовал ответ, — но дома ее не застала. Она ушла гулять с Джанькой. Зина, домработница, все ей дословно передаст». — «Когда ты звонила, мама?» — «Часа три назад, может быть, даже четыре». Я вычислила, сколько времени требуется, чтобы добраться до пансионата. Получалось, что при большом желании всего час. При отсутствии желания, но все же с ощущением долга — часа два, не больше. Прошло четыре...

Наталье Арсеньевне становилось все хуже. Ее бледное, заострившееся лицо напоминало посмертный слепок. Жизнь покинула ее тело, и лишь свистящие хрипы еще приобщали к жизни. «Осталось совсем мало», — покачала головой врач, полная рыжая женщина с равнодушным лицом. Я рванулась из комнаты, скатилась по лестнице, разыскала телефон-автомат.

Подошла Ленусик.

— Алло! Это Саша говорит. Елена Сергеевна, скорей, врач сказал, что уже совсем скоро...

Музыкальный голосок мелодично зажурчал в трубке:

— Я еду, еду. Знаете, Саша, у нас случилось огромное несчастье. Какой-то хулиган бросил камень на Кадашевской набережной и зашиб Джаньке ногу. Как она плакала, бедная! Мы вызвали ветеринара. Как только дождусь — сразу еду. Я вся распухла от слез. Боже мой, что я говорю?! Сейчас я позвоню Вадиму на работу. Пусть посидит с несчастной собакой. А я еду...

Моя рука, стиснувшая трубку, онемела.

— Алло, Саша. Вы слышите?

— Сволочь, — жарко выдохнула я в трубку.

— Что? Что такое? — зарокотала трубка. — Ах, дрянь... Да какое право...

Удар трубки о рычаг прервал булькающий голос Ленурика.

— И не приехала? — ужаснулся Бестужев.

— Нет, конечно. — Я усмехнулась, глядя на его растерянное лицо. Таким я Бестужева никогда не видела.

Он резко вскочил со скамейки, бросил кепку на землю, снова сел.

— Ну, знаешь... И удержать меня после этого... Ну ты даешь... Я бы их, гадов, так подпалил!

— Не заходишь, Бестужев. Во-первых, когда речь шла о сожжении дома, она была еще жива. Помнишь, когда я у нее в богадельне «Полтаву» читала? А потом... я посоветовалась с Николашей, он как раз приезжал. И он сказал, что после этого поступка ты увидишь над головой клетчатое небо, а я тебе буду носить передачи. Потом еще в Сибирь за тобой подамся... Ведь ты Бестужев...

— Но не Рюмин же, — мрачно отозвался потомок декабриста.

— И еще пойми: это не метод. Почти каждая старуха в богадельне — такая же или почти такая история. Слишком много домов пришлось бы спалить.

— Дура, — жестко ответил Сережка. — Какая же ты дура, Веселова. Гадов надо наказывать.

И он зашагал прочь, даже не подняв с земли свою знаменитую кепку.

Сережкина амбарная тетрадь была исписана наполовину. Я протерла глаза, глянула на часы. Пять утра. На улице было совсем светло. Я подошла к окну и, упершись лбом в стекло, загадала увидеть сейчас посреди газона распластанное тело. Но он был первозданно не тронут в рассветный час, этот знаменательный газон. Все правильно: Бестужев никогда не повторялся. Я машинально погладила голубой козырек, нависший карнизом над моим лбом. Опять от мыслей о Сережке разлилось по телу блаженное, вязкое тепло. Я посмотрела в зеркало. Глянули на меня с любопытством два серых глаза с бесцветными ресничками, свелись к переносице

такие же белесые брови над покрасневшими веками. «Смехота, да и только! Ниф-Ниф. И нос вполне на пяточок смахивает!» Я тихонько хрюкнула и снова села за стол. Перелистала в обратном порядке длинные листы амбарной тетради. Перечитала только что написанное.

\* \* \*

«Маленький особняк в замоскворецком переулке утопал в цветах. Их было так много, что лишь половина поместилась в комнатах. Остальные в плетеных корзинах стояли возле крыльца, на зависть прохожим.

А цветы несли и несли: в букетах, в корзинах, в охапках. Явилось целое шествие первоклассниц в белых передничках. Каждая из них держала в руке по длинной ромашке. Взволнованная Наталья Арсеньевна каждый раз сама открывала дверь, невзирая на предупреждающий возглас Ленусика: «Я открою, мамуленька!» Первоклашкам дверь открыла тоже Наталья Арсеньевна. Они вошли смущенные и торжественные, держа ромашки в вытянутых руках. Тут же их глаза сосредоточились на огромной пушистой Джаньке, занимавшей ровно половину прихожей. Джанька зевнула, и девочки испуганно стали тесниться к входной двери. Наталья Арсеньевна выпроводила собаку на кухню. «Она у вас громадная, как теленок», — вежливым баском заметила одна из девочек. Наталья Арсеньевна улыбнулась, пригласила первоклассниц выпить чаю с домашними пирожками.

— А вы навсегда ушли из школы? Никогда уже не вернетесь? — поинтересовалась одна из школьниц, жуя пирожок.

Ее невинный вопрос больно стиснул сердце. Наталья Арсеньевна с утра принимала гостей. Были и представители роно, и директриса, и коллеги-учителя не только из ее школы, но даже из соседних, целые толпы учеников, но все это Наталья Арсеньевна мужественно перенесла — и слова прощания, и пожелания здоровья, долгой жизни... И понимающие, полные сочувствия глаза. А вот вопрос вертлявой первоклашки с бантом-пропеллером на макушке захлестнул врасплох.

— Да, конечно. Пора уже, — ответила учительница и



тут же перевела разговор на другое: — А почему у меня в гостях одни девочки? Мальчики куда подевались?

Первоклассницы заговорили все разом.

— А мы отличницы!.. У нас в классе решили отправить к вам отличников... В нашем классе только девочки отличницы...

— Вот так да! — весело засмеялась Наталья Арсеньевна, пытаясь освободиться от нахлынувшей вдруг тоски. Завтра учительница останется с ней с глазу на глаз, а сегодня — нельзя. Не в правилах Натальи Арсеньевны демонстрировать людям свое настроение, особенно детям. Никогда за всю свою долгую учительскую жизнь она не повысила голоса на своих учеников. Под взглядом ее кротких глаз смиряться даже самые неугомонные. Когда Наталья Арсеньевна получила звание заслуженной учительницы, телеграммы со всех концов страны сыпались таким же потоком, как цветы в день ухода на пенсию. В самый грустный день...

— Представляешь, Вадим, — захлебывалась от восторга за ужином Ленусик. — Представляешь, в два часа дня приехали от министра с огромной корзиной цветов, грамотой и хрустальной вазой. На словах он просил выразить надежду, что мамуленька все же одумается и первого сентября вновь войдет в класс.

— А почему бы нет? — пожал плечами Вадим Александрович. — На мой взгляд, Наталья Арсеньевна полна сил.

Наталья Арсеньевна зябко поежилась под теплым платком, обнимавшим худые плечи.

— Нет, Вадик, вопрос решен. Учитель, как и актер, должен уйти вовремя. В этом достоинство профессии. Я стала плохо слышать. Это никуда не годится!..

Зажурчала, замурлыкала Ленусик:

— Да что ты, Вадим, мамуленьке давно пора отдохнуть. Вполне достаточно того, что к ней будут ходить заниматься несколько учеников. Просто так, для души. И издательство просит книжку написать... Нет, ну когда приехали от министра, я просто была потрясена. Думаю: боже мой, какая мамуленька знаменитая!

— Да перестань, Ленусик. — Наталья Арсеньевна досадливо поморщилась. — То, что помнят ученики, действительно дорого. А они помнят... Ничего. Буду заниматься хозяйством, печь любимые Ленуськины пироги, хо-

дять в консерваторию, выгуливать Джаньку. И заживем прекрасно. Правда, Джанька?

Собака растянулась у ног Ленусика, положив ей на колени тяжелую голову. Услышав обращенные к ней слова, подняла глаза и, встретившись взглядом с веселым лицом Ленусика, тоже повеселела, завиляла хвостом, обратила в сторону Натальи Арсеньевны благосклонный собачий взор. Джанька поразительно чувствовала свою хозяйку, была послушна любым оттенкам ее настроения. Если Ленусик хандрила, Джанька как потерянная бродила по комнатам. Стоило хозяйке сесть за рояль, как Джанька ложилась у дверей комнаты, и уже никто не смел помешать Ленусику.

В тот вечер долго ворочалась без сна учительница Наталья Арсеньевна. Давно готовила она себя к этому неизбежно подступающему отчаянию. Но ее мужественная психологическая подготовка оказалась ничтожно слаба перед пронзительным ощущением почти физической боли.

Отзвонит школьный звонок, переступит она порог класса, заколотится сердце под испытующими взглядами множества пока еще незнакомых глаз. На это мгновенное волнение отпущена будет лишь секунда.

«Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста», — услышит она свой ровный, спокойный голос. Застучат крышки парт — и наступит тишина. Снова обожгут лицо десятки внимательных глаз: настороженных и доверчивых, обманчиво-доброжелательных и насмешливых.

«Меня зовут Наталья Арсеньевна. Я буду вести у вас литературу... Постараюсь сделать все, чтобы вы полюбили ее, чтобы научились думать над прочитанным и не стыдились горевать, радоваться вместе с героями книг. Я сделаю все, чтобы вы знали и любили русскую классическую литературу и всегда, чем бы вы ни занимались в жизни, могли обратиться в трудную минуту к ней за советом».

Наталья Арсеньевна говорила и чувствовала свой «звездный час». Уже после первого урока литературы притихший класс смотрел на нее обожающими глазами. Ах, как любили ее ученики! Любили за азартные, всегда неожиданные уроки, за неистощимую фантазию в походах «по литературным местам», за ее тихий голос и кроткие глаза, за талант слушать и слышать душу ученика. Дети чутко улавливали, что она отдает им всю се-

бя до конца, и были благодарны своей неумелой, трогательной благодарностью...

Неужели все это ушло навсегда? Старая учительница ворочалась без сна. Мелькали перед глазами лица учеников, живых и ушедших из жизни. Самых дорогих отняла война. Вспомнилось, как уходили на фронт десятиклассники. Приходили прощаться, с вещевыми мешками за спиной, смешные бритые мальчишки, и уходили навсегда. Потом прибегали матери, чтобы вместе порадоваться письмам с фронта. Многие приносили похоронки, и каждую утрату Наталья Арсеньевна переживала как гибель своих детей. Вспомнились тревожные московские вечера, вой сирены, бомбоубежища, дежурства на крышах домов. Вспомнилось...»

Длинный Сережкин козырек свалился на глаза. «Вспомнилось, вспомнилось...» Что я знаю про это? Про те тревожные вечера, про тех людей, про тот страх... Ничего. Помню только альбом Натальи Арсеньевны с фотографиями мальчишек в траурных рамках. Помню пачку открыток, исписанных ровным почерком Натальи Арсеньевны. Она просила меня опустить их в почтовый ящик в День Победы. Матерям погибших учеников. Я хорошо запомнила тех мальчишек. Они словно впечатались в память.

Зачем они погибли? Или иначе узор ковра не сложился бы? Ах, какой ценой!

А тот, чей скромный холмик иступленно отогревался грудami непременной малышовой утвари, всеми несложными атрибутами беспечного детства? Зачем?.. Посмотреть бы, глянуть на секунду в страшный лик ткача. Я бы дорого заплатила за этот взгляд. Впрочем, по его нещадающим расценкам этот миг должен быть изощренней смерти.

А что я знаю про генерала Вока? Про то, как офицер белой армии отказался участвовать в расстреле большевиков? Как остался жив благодаря этому с приходом новой, революционной власти, а позже своей неподкупной честью, благородством души и чистотой помыслов заслужил уважение и почет новой власти. Наверное, об этом надо было написать. О том, например, как сначала хотели выселить из просторного дома семью бывшего белого генерала, но потом по распоряже-

нию губкома оставили его Воку, вручив при этом документ, ограждающий от чужих притязаний на имущество генерала. Или, может быть, просто достаточно того, что я знаю обо всем этом? Достаточно того внутреннего *знания*, которое, не обнаруживая себя в словесных знаках, сильнее в недоговоренности?

В открытое окно ворвался подгоняемый ветром знобкий рассветный холодок. Но Сережкина кепка, нахлобученная на уши, казалось, сообщала через макушку в мое щедедушное тело устойчивое тепло. От легкого движения воздуха затрепетали раскиданные по столу листки с ровным почерком Натальи Арсеньевны. Это она писала мне в спортлагерь...

Бросились в глаза строчки: «Бывает так, что вдруг как-то сильно заговорит сердце. Откуда-то берутся такие слова, которые спустя день-два и не вспомнишь и не придумаешь... Все может уйти: и дорогие люди, и любовь, и деньги, и молодые силы, а дело, которое ты любишь и умеешь делать, навсегда останется с тобой, тебе не изменит. Я очень верю в твое будущее, Сашенька. Тебе много дано, но много и взыщется...»

А это уже из другого письма: «Береги маму. Она, бедняжка, устала. А любит сильно и все отдает семье. Обидно, что не любимому делу».

И еще: «Сегодня, в День учителя, вспомнили обо мне многие мои ученики, теперь уже пожилые люди. Была Сонечка, привезла «Учительскую газету» и охапку белой сирени от Женечки. Он на рассвете улетел на Север, в командировку, и очень расстраивался, что не может лично обнять меня в этот день. Прислал свою новую статью. Очень-очень смело и поучительно. В «Учительской газете» все посвящено сегодняшнему празднику, много хороших слов об учителе, но словами нельзя передать то чувство особой радости, когда ты помогаешь формированию молодого человека, часто вырывая его из мира ложных, благополучных, сытых представлений о жизни, о людях. Наконец, чувство молодости, острого восприятия жизни, которое свойственно молодежи. Оно заражает, и невольно начинаешь сознавать, что и сам ты еще не стар, что дело твое нужно и дорого людям. А теперь? Но об этом даже писать тяжело. Все в прошлом... До сих пор меня не забывают ученики. Вот только старых друзей, которых у меня было много, я всех почти похоронила. Тяжко, очень тяжело, но неизбежно, когда

человек проживает такую долгую жизнь. Я пришла к выводу, что уйти из жизни легче, чем переживать смерть близких людей. А вот взять на себя эти страдания человеческие (их так много!) совсем невыносимо и не нужно. Живи радостней, веселей. Болеть моими горестями не надо. Лучше дари людям свою ласку и внимание...»

Я отодвинула письма, притянула к себе амбарную тетрадь.

\* \* \*

«...Наступило то первое сентября, когда впервые Наталья Арсеньевна не переступила порог класса. Долго бродила она в то утро по тихим замоскворецким переулкам, пытаясь утихомирить боль. Встала она рано. Дом крепко спал, даже чуткая Джанька не шевельнулась на звук ее шагов.

Замоскворецкие переулки отчужденно глядели на старую учительницу фасадами непроснувшихся домов. Для их обитателей была чужой ее боль, ее тоска, панический страх перед ненавистным, праздным образом жизни. Этот страх был всегда чуть ли не самым сильным ощущением в ее жизни. Он терзал ее всегда, даже в молодости, когда вроде было так преждевременно ощущать его ледяные прикосновения. Мысленно перебирала в памяти Наталья Арсеньевна последние события... Радостным было то, что начали к ней ходить два ученика. Одного надо серьезно готовить к поступлению в университет на филологический. И придется изрядно повозиться: много упустил в школе. А вторая, девочка, попросила позаниматься, не имея, так сказать, дальнего прицела, просто для души. Ярko выраженная одаренность по всем точным дисциплинам — этаким маленький технарь, а душой тянется к литературе: пишет как будущий критик сочинения, но со множеством грамматических ошибок. Наталья Арсеньевна с нежностью подумала о своих новых питомцах.

Вспомнила и о другом. Совсем недавно ей позвонили из издательства. Напомнили, что издательство хотело включить в план книгу старой учительницы. Наталья Арсеньевна пыталась убедить женщину-редактора, что вряд ли это возможно. Она всегда была рада поделиться опытом с молодыми педагогами, рассказать... Но писать книгу? Вряд ли. Никогда не было у Натальи Ар-

сенъевны особого метода воспитания детей, какого-то необычного подхода к ученикам. Просто она любила их и знала, что каждый — *особый*, непохожий на других и никак нельзя со всеми одинаково.

Во время телефонного разговора Ленусик вертелась рядом, подавала Наталье Арсеньевне таинственные знаки, досадливо вздергивая плечами.

— Ну странный вы человек, мамуленька, — зажурчала Ленусик, когда Наталья Арсеньевна положила трубку. — Поразительно. За такую долгую жизнь не усвоить, что нельзя ни от чего... такого отказываться. Особенно от издания книг! Прямо в руки плывет... а вы капризничаєте.

— Да господь с тобой, Ленусик, я не капризничаю. Ты какое-то слово неудачное нашла. Вот уж никогда себе этого не позволяла. Просто я не берусь за то, чего не умею.

— Ну извините меня... я неправильно выразилась. Но разве какое-то особенное умение необходимо, чтобы поделиться своим педагогическим опытом? И потом... все сейчас пишут. И ничего...

Наталья Арсеньевна засмеялась.

— Вот именно ничего! Зачем же мне на старости лет поддаваться модным явлениям и делать как все?

— Затем, мамуленька, что это немалые деньги! Мы с Вадимом, как вы знаете, отпуска на даче не проводим. Снимаем ее ради Джаньки и вас... то есть ради вас и... Но в конечном счете даже не в этом дело. Просто появилось бы увлекательное дело и не оставалось бы времени...

...Наталья Арсеньевна зябко поежилась. Утренние лучи розовели в оживающих переулках, но не согревали. И ее собственная кровь словно лишь поддерживала жизненность тела, не разливая упругой бодрости, которая всегда сопутствовала ей в первый осенний день школьной жизни.

Наталья Арсеньевна поняла тогда, что имела в виду Ленусик, не договаривая последней фразы.

Последнее время устоявшийся покой особнячка в замоскворецком переулке нарушался каждодневно, как ритуал, телефонными звонками. Наверное, телефон звенел как-то по-особому. Иначе почему неслись к его нетерпеливому интригующему зову наперегонки Ленусик и Джанька, сбивая по дороге толстопузые пuffy и чу-

дом не переворачивая мебель. Иначе почему расцветало нежнейшей из улыбок смуглое лицо Ленусика, вспыхивали огоньками ее колдовские глаза, как по мановению волшебной палочки разглаживались морщинки и седина в волосах обретала кокетливость специально нашавшей молодости. Повизгивала изнемогающая от восторга Джанька, переживая всю полноту кратковременного собачьего счастья.

— О господи, Ленуська, ты скачешь, как молоденькая, — вырвалось как-то невольно у Натальи Арсеньевны, чуть не сбитой с ног, когда Ленусик ринулась к телефонному аппарату.

Мгновенным гневом ошпарил мимолетный взгляд, поселив растерянное недоумение в душе Натальи Арсеньевны.

Особнячок наводнили массажистки, портнихи, маникюрши и педикюрши. Часами советовалась Ленусик по телефону с приятельницами по поводу «идущих» и «не идущих» к ее располневшей фигуре нарядов. Вzbивались на кухне яичные маски для лица, варились кремы, взбалтывались лосьоны. Выстроились вдоль зеркала полчища коробок импортной косметики. Резким контрастом бледнело рядом с розовой, возбужденной Ленусиком усталое, неожиданно осунувшееся лицо Вадима. Глуше и растерянней звучал его голос. А Наталья Арсеньевна воспринимала с улыбкой очередную причуду приемной дочери, повторяя полюбившуюся ей фразу Ариадны Сергеевны: «Ни в чем у нее меры нет. Все на пределе, все в крайностях».

Однажды вечером взволнованная Ленусик попросила Наталью Арсеньевну погулять с Джанькой.

— Дело в том, что ко мне придет студент. Мне надо позаниматься с ним дополнительно, а в консерватории сегодня нет свободных аудиторий. Очень неудачно, что Вадим в командировке, он бы, конечно, погулял с собачкой. Хотя можно выйти и пораньше, чтобы было не очень темно.

Наталья Арсеньевна попеняла дочери за такие длительные предисловия к пустячной просьбе.

Когда учительница привела домой Джаньку, Ленусик с учеником играли в четыре руки. Наталья Арсеньевна, не раздеваясь, присела на табуретку возле вешалки. Это было не просто хорошо — то, что доносилось из-за плотно прикрытых дверей. Это было как небо, как море...

«Чем пахнет счастье?» — смеясь, спрашивал, бывало, Наташу Александр Людвигович. А она каждый раз в ответ на его шутливый вопрос прикрывала глаза и через расплывающееся, бесконечное поле голубых лепестков вдыхала слабый запах...

Джанька с удивлением поглядела на расслабленное лицо Натальи Арсеньевны с трепещущими крыльями тонкого носа, беспокойно прислушалась к звукам музыки, заскулила жалобно и протестующе, как ребенок, распласталась под дверь, тоже как бы принюхиваясь к запаху голубых лепестков.

Вскоре музыка стихла, и он вышел в прихожую, близоруко щурясь, высокий, гибкий, с гривой светлых, вьющихся волос. Склонился перед Натальей Арсеньевной в галантном полупоклоне.

— Самородок! Вы знаете, мамуленька, он просто чистейшей воды самородок. Пришел в консерваторию уже после армии, после двух лет работы учителем музыки провинциальной школы...

И опять с пытливым удивлением смотрела Наталья Арсеньевна на помолодевшее, сильно заgrimированное лицо Ленусика. А Джанька долго не могла успокоиться, лежала у входной двери и ревниво постанывала вслед ушедшему «самородку».

Прошло много дней. Как-то вечером сидели за столом Наталья Арсеньевна и Вадим, пили чай, дожидаясь задержавшейся в консерватории Ленусика. Нетерпеливо слонялась возле дверей Джанька. Раздался звонок... На пороге стоял высокий молодой человек с гривой светлых вьющихся волос, близоруко щурился на ярком свете. Наталья Арсеньевна видела, как вздрогнул и напряжился Вадим. А молодой человек, поняв его состояние, усмехнулся слегка и вручил пачку нот.

— Простите, что побеспокоил. У меня не получается по времени дожидаться Елену Сергеевну. Такси ждет. Я спешу на аэродром. Вернусь теперь только осенью, а эти ноты могут пригодиться.

— Больше ничего не надо передать Елене Сергеевне? — вглядываясь с пристрастным беспокойством в лицо молодого человека, насильно спросил Вадим.

Молодой человек вновь понимающе усмехнулся.

— Передайте ей... Впрочем... ничего не надо передавать. Только вот ноты.



И он, слегка наклонив голову, растворился в синеем сумерками проеме двери.

— Как же так? И... больше ничего не передал? А письмо? Письма не было? Адреса тоже не оставил? Как же так?

Ленусик растерянно комкала в руках стянутую с шеи косынку. Наталья Арсеньевна вдруг увидела ее чужим, непристрастным взглядом. Пожилая, сникшая женщина с горестной морщинкой, в одно мгновение прочно пересекавшей лоб. Наталье Арсеньевне и Вадиму было неловко за растерянность Ленусика, за неумение взять себя в руки или хотя бы сделать вид, что ничего не произошло.

А неделю назад ученик Ленусика вернулся в Москву. Вновь неслись наперегонки к телефону Ленусик и Джанька и подавленно молчал Вадим за вечерним чаем. И натолкнулась как-то возбужденная приемная дочь на молчаливый укор в глазах матери. Поспешно отвела глаза, но лишь на мгновение, а потом с вызовом вернула взгляд.

— Пожалей Вадима, Ленусенька. Он устал...

Повела нервно плечами Ленусик, с нарочитым непониманием поглядела на дверь комнаты мужа.

— Нет, понимаешь. Отлично понимаешь, Ленусенька. И мне это все не по душе.

И тут угрожающе вспыхнули колдовские глаза Ленусика, заметались огоньки с трудом сдерживаемого бешенства, чуть не сорвались с губ жестокие многообещающие слова. Заворчала с угрозой и злостью, двинулась к старой учительнице всегда добродушная Джанька...

«Ну, просто у вас было бы увлекательное дело — и не оставалось бы времени... для участия в моей личной жизни», — мысленно закончила Наталья Арсеньевна недоговоренную фразу Ленусика и, тяжело передвигая ноги, пошла к проснувшемуся особнячку. Облокачиваясь на перила, поднялась на крыльцо... и вдруг крыльцо качнулось, вынырнуло из-под ног — и вместо особняка раскинулся перед ней огромный цветастый ковер. Было видно, что узор незавершен, что еще предстоит много работы, чтобы воплотить замысел и увидеть узор законченным... В растерянности застыла Наталья Арсеньевна

перед ковром, выбирая, на какую пустеющую тропинку ступить. Чей-то голос шепнул: «Иди туда!» Она двинулась, не оглядываясь, по канве предложенного ей пути и не видела, как позади расцветал, вспыхивал, преображался узор... Ясная, чистая окраска ее нити вносила целое богатство в запутанный рисунок, делала его осмысленней и гармоничней...»

Амбарная тетрадь ухнула на пол. Я с трудом разлепила веки, подняла голову. В окно насмеялось полуденное солнце. Наверное, я проспала долго. Где-то рядом надрывался телефон. Должно быть, Сережка!.. Сегодня я расскажу ему все, что задумала, и даже скажу, как это будет называться. Он улыбнется своей шальной улыбкой и скажет: «Очень сомневаюсь, Веселова, чтобы кто-то решился принять такое название». А я ему отвечу: «Не заходишь, Бестужев! Не одни мы с тобой умные». Я тихонько засмеялась. Взяла ручку, чистый лист бумаги и написала: «Тайная вечеря», повесть».

И отступила на две строчки. Еще подумала и продолжила: «У меня кончилась краска... Я так и знала, что ее не хватит. Деревянный частокол оградки лишь казался небольшим...»

# Подсолнух

Словно кто-то настойчиво и осторожно подтолкнул его в спину. И он прыгнул. Короткий миг прыжка оказался бесконечным. Он вспомнил всю свою недолгую жизнь, расчлененную памятью на самые важные периоды. Он мог вспоминать еще и еще — так долго длился прыжок. Но, видимо, это было все. Голова стала легкой и просторной, будто, протолкнув сгусток необходимых воспоминаний, он оказался свободен. От всего. От жизни, от памяти. Ноги воткнулись в землю неожиданно больно. На секунду он окунулся в тусклый туман забвения. И, усилием воли выйдя из него, уцепился взглядом за удаляющуюся спину. Чужой голос, вырывавшийся из его собственного горла, изрыгал на одной ноте ругательства и угрозы вслед удаляющейся за сопку спине. И он, слушая этот голос, обостренно понимал, почему тот лишен модуляций и стелется над степью монотонным хриплым воем. Иначе кричать было больно. И воздух, жаркий, тугой, не глотался и застревал у него во рту.

«Не догнать», — с отчаянием подумал он.

И вдруг вспомнил. В гимнастическом зале, где раздавал последние советы тренер, разгорелся спор. Зазвучали ожившие голоса.

— Все это вопреки человеческим возможностям. Не может человек по объективным законам своей природы поднять эдакое. Однако же поднимает! Свершает невозможное! Такая мобилизация всех сил...

Он не дослушал слов, разбежался, чтобы взлететь над рейкой, воспарить легко и свободно. Он уяснил смысл: человек способен свершить невозможное... И теперь он разбежался, как тогда, чувствуя, что отпускает боль, и лишь рыжие сопки прыгают в глазах, затеяв чехарду с рваными тучами на неприбранном небе...

Он прыгнул на ту ненавистную спину, чувствуя в се-

бе сто лошадиных сил. Услышал чужое прерывистое дыхание и стиснул зубы на соленой шее.

— Терентьич, черт тебя дери, высунь рожу в окно, кому говорят,— зывал настойчивый нетерпеливый шепот под окном поселковой больницы.

Сиделка Аким Терентьевич распахнул с грохотом окно, выставил сердитое лицо с вздыбленными от негодования усами.

— Чего орешь? Порядку не знаешь? Быстро убирайся отседа! Ты бы еще под операционную вперлась. Ишь... На печке бы лежала, чем по кустам шнырять.

— Терентьич, не гневи господа, скажи, Христа ради, когда закончат? Сколь же можно терзать-то его, бедного?! — Сиплый шепот под окном перешел в монотонное завывание.

— Замолчь, кому сказано! До чего баба поганая, не лезь на территорию без спроса — сколько раз говорено. Стерильность у нас...

— Это в саду-то стерильности! — Завывания прекратились, и снова нацелился в распахнутое окно протестующий шепот.

— Все. Закончен разговор. Не велено справки через окно давать. И не шнырять мне здесь!

— Кто там, Аким Терентьевич? — окликнул старика из глубины комнаты женский голос.

Старик торопливо прикрыл окно, повернулся, конфузливо дергая себя за усы.

— Да это все Даниловна шастает под окнами, волнуется старуха. Понятное дело... Закончили никак, Алла Сергеевна? — Аким Терентьевич с тревогой поглядел на побледневшее от усталости лицо хирурга. — Чайку, может, согреть?

Алла Сергеевна сдернула шапочку, туго обхватившую голову до самых бровей, коротко вздохнула:

— Спасибо, Аким Терентьевич, можно и чайку. Закончить-то закончили... А кем она, Даниловна эта, ему приходится?

Аким Терентьевич развел руками, словно не зная, что ответить, осторожно откашлялся в кулак.

— Да как вам сказать... Одним словом, четверых Даниловна потеряла на войне. Поперву совсем без воли к жизни была. Потом выправилась, но, видать, не до

конца. Какой-то винтик, видать, выпал. Засбоило в голове малость. Как увидела пациента теперешнего, в прошлом годе он к нам на заставу поступил, так и втемяшилось ей в голову, что внучок он ей. Вылитый, говорит, сын ее младший, Павел...— Аким Терентьевич поморщился, как от кольнувшей мгновенной боли.— Да что говорить, похож в самом деле до чрезвычайности. Людям, что помнят Павла, аж не по себе делалось от сходства такого. А Даниловна так и присохла к нему сердцем. Иной раз, как найдет на нее запямятство, придет к кому из сельчан и сияет от радости. «Внучка моего,— говорит,— не видали еще небось, Никитушку моего?» — «Да как же не видать, видали уж не раз»,— ей отвечают. Жалеют старуху. На заставе спервоначалу посмеивались над бабкой. То молочка парного принесет, то ватрушку, прямо из печи вынутую, и кланчит у дежурного, чтобы внучку гостинчик передали. Спервоначалу посмеивались, подшучивали, но Никита приструнил всех быстро. Золотой парнишка оказался. Не оторопел от бабки, а словно сразу, с первого мгновения все сообразил... Уж такой сердечный попался. Seriously так глянул на нее, когда она, поперву увидав, запричитала да завyla, и сразу все понял. Поощаил ее. Сердцем, видать, учуял всю бабкину тоску.

Алла Сергеевна вслушивалась в рассказ старика, комкая снятую с головы шапочку. Сквозь неимоверную усталость в глазах ее пробилося сострадание. Уже не раз подмечал Аким Терентьевич, что лицо хирурга, обычно моложавое и привлекательное, после долгой операции выдавало ее истинный возраст — проваливались глаза, собирая вокруг тоненькие морщинки, рот становился жестким и тонким, и только под чуть прикушенной нижней губой всегда долго алел яркий след — единственная краска на сразу постаревшем лице врача. Какое-то время Алла Сергеевна молчала, машинально растирая свои тонкие длинные пальцы. Потом тряхнула головой, словно выпроваживая ненужные мысли, и произнесла негромко:

— Да-а, очень будет жаль...

От этой конкретной откровенности у Акима Терентьевича сжалось сердце, а она, снимая его готовый сорваться вопрос, деловито и сухо распорядилась:

— Прошу вас, Аким Терентьевич, быть в послеопе-

рационной постоянно. Мальчик тяжелый... Как проснет-ся — пошлите за мной.

Аким Терентьевич послушно двинулся к дверям, но его снова остановил голос хирурга:

— И пожалуйста, обойдитесь без чехлов на усы. Я давно хотела сказать: над вами персонал и больные смеются. Извините, это просто блажь. Ей-богу, как маленький! — И, видимо почувствовав мгновенно залившую сердце старика обиду, так же глядя в окно, добавила: — Сделайте это для меня. Я вас люблю и не хочу, чтобы вас считали смешным.

Эти слова Аллы Сергеевны смягчили Акима Терентьевича, и, пробормотав что-то про стерильность, он тихо прикрыл за собой дверь.

Сиделкой Аким Терентьевич работал почти всю свою жизнь. Беспризорный, иззябший, вечно голодный, попал он мальчишкой в общежитие «русского дома» в Харбине. Там было пятнадцать сирот... Сыновей белогвардейских офицеров, погибших на фронте. Иверское братство облагодетельствовало мальчишек, заодно приютив и осиротевшего сына прачки Акима Прохорова.

Аким Терентьевич часто вспоминал просторную столовую общежития, длинный, безукоризненно сервированный стол. А во главе стола их наставника — полковника Семена Ильича Водолеева, грузного, с одутловатыми лоснящимися щеками и серыми глазами навывкате. В переднем углу столовой — большая икона Иверской божьей матери. Запах щей и затейливых пахучих приправ, потное лицо повара и затравленный взгляд глазщелочек щуплого бойки-китайчонка. Захлебывающийся от усилий покороче прочесть непременно предобеденное «Отче наш» высокий, ломкий голос дежурного мальчишка... Все эти картинки-воспоминания стали привычными и необходимыми в одинокой жизни Акима Терентьевича.

Позже, в красном отряде Строда, куда занесла приемыша «русского дома» взбалмошная судьба, определилось предназначение всей его жизни. Ночи напролет выхаживал раненых мальчик Аким Прохоров. Его проворные руки и сердце, не устававшее быть милосердным, исцеляли самых тяжелых, облегчали участь приговоренных. Над каждым погибшим безутешно плакал Аким... Поначалу дивились парнишке, называли его меж собой «наш блаженненький». А потом вместе с неточным прозвищем исчезло и насмешливое недоумение. И в глазах

взрослых засветилось сочувствующее уважение к то-  
ненькому подростку. Единственным человеком, который  
никогда не удивлялся поступкам Акима, был маленький  
бойка-китайчонок Тао-Юэн. С ним вместе попал Аким  
поначалу в отряд белогвардейского генерала Пепеляева.  
С ним перебежал к красным. И в какие бы переделки ни  
попадали мальчишки, Аким постоянно ловил на себе до-  
верчивый, преданный взгляд своего друга с глазами-  
щелочками.

Такому доверию положил начало давний случай, про-  
исшедший в столовой «русского дома» в Харбине, где  
проворный бойка разносил тарелки с супом. Тао-Юэн  
побаивался русских мальчиков с приглаженными вихра-  
ми и насмешливыми глазами, особенно же сидевшего  
с краю вертлявого белобрысого Костю. В тот день, когда  
Тао-Юэн поставил перед Костей тарелку с дымящимся  
супом, тот прошептал в ухо китайчонку: «Ходя, соли на-  
до?» — и пребольно ушипнул его. Бойка с трудом сдер-  
жал крик. Быть терпеливым его научило голодное дет-  
ство в провинции Ляонин: Тао-Юэн одной рукой отби-  
вался от таких же, как он, голодных китайчат, а другой  
прижимал к груди кусок гаоляновой пампушки. Но там  
все они были равны, а здесь он бойка, жалкий, бесправ-  
ный прислужник нарядных и надменных юнцов.

Тао-Юэн сдерживался так, что от напряжения зало-  
мило в висках. А за ужином Костя опять, улучив мо-  
мент, ловко залепил бойке в лоб жеваную бумажку. Она  
прилипла ко лбу. Мальчики были очень довольны, сто-  
ловая раздиралась от бессмысленного, жестокого смеха.  
А Тао не мог даже отлепить бумажный комок — в руках  
у него были тарелки с кашей. Боязнь потерять место  
обуздала его гнев. Лишь побледнела всегда желтоватая  
кожа на лице да узкие глаза еще сильнее раздвинулись  
к вискам. А Костя словно задался целью извести бойку.  
После ужина он подкараулил Тао за дверью, когда тот  
выходил из столовой с полным подносом посуды, и вле-  
пил ему подзатыльник. Как ни больно было, китайчонок  
осторожно поставил поднос на пол. И в тот же момент  
от сильного удара сзади полетел лицом прямо в посуду.  
Из носа брызнула кровь. Стиснув ладонями лицо, маль-  
чик лихорадочно вскочил на ноги, ожидая нового удара.  
Но его не последовало. За спиной Кости возникла фигу-  
ра Акима Прохорова. Тот молча и деловито скрутил за  
спиной руки обидчика Тао. Костя взвыл от боли, а Аким,

упершись коленом в Костину спину, заставил его согнуться перед бойкой в глубоком поклоне, приговаривая сквозь зубы: «Проси прощения, мразь! Он тоже человек! И получше тебя! Проси прощения». Затравленное выражение лица бойки сменилось изумлением. Никогда и никто за всю жизнь не вступался за Тао. Мальчик сполз по стене на корточки и зарыдал в голос, размазывая по лицу кровь со слезами.

...Как одна из самых жутких и навязчивых картин всплывала в памяти Акима битва с пепеляевцами под Амгой. Ранен был их командир Иван Яковлевич Строд, чудом остался в живых стоявший в дозоре Тао-Юэн. Аким метался среди раненых, топил снег, кипятил окровавленные бинты, делал перевязки, неведомо какими словами заговаривал нестерпимые страдания раненых. День и ночь слились для мальчика в невнятное временное месиво, начиненное муками и смертями. Хлеба не было, воды не хватало. Из-за недостатка перевязочных средств и медикаментов люди умирали от заражения крови. Тао, может, и не выжил бы в таких условиях, если бы не Аким. Он отдавал другу свою порцию воды, кипятил и перестирывал бинты, рискуя жизнью, совершал бесконечные вылазки за снегом.

Как чудовищное видение, снова и снова восстанавливала память Акима Прохорова давние годы детства.

Сухими, немигающими глазами смотрел тогда Аким на все эти жестокости и люто, до тошноты ненавидел тех, чье зверство вынудило одной безлунной, промозглой ночью его и Тао перебежать к красным.

...Аким Терентьевич осторожно тронул дверь послеоперационной палаты, надвинул на брови белую шапочку. Оглянувшись по сторонам, ловким движением нацепил на усы накрахмаленные чехлы. Всю жизнь свою проработал он в поселковой больнице. Выхаживал, поднимал на ноги и поселковых, и тех, кто приезжал погостить да угодил с разными хворями и напастями в заботливые руки сиделки. Случалось, он поднимал на ноги и молоденьких солдат с примыкавшей к поселку заставы. И всегда его стерильные, накрахмаленные чехлы топорщились на пышных усах, которые он считал разносчиками опасных инфекций. И даже после указания уважаемого хирурга не отменит свое правило Аким Терентьевич.



Недовольно крикнув, он бесшумной, крадущейся походкой подошел к постели больного.

Медсестре Милочке, закончившей доливать раствор в капельницу, указал глазами в сторону двери.

Та взмахнула в ответ длинными, густо накрашенными ресницами и зашептала:

— Аким Терентьевич, я скоренько до Зотовых добегу — Лизку повидать и обратно. В инфекционном все спокойно, а больше никого больных не поступало.

— Беги, беги.

Аким Терентьевич согласно закивал, не сводя глаз с неузнаваемо заострившегося мальчишечьего лица.

Предзакатное разомлевшее солнце цеплялось за вершины сопок на горизонте. И в этом умиротворенном, ласкающем людей и природу свете чудилось заверение в счастливом завтрашнем дне. Казалось, все вокруг принимало на веру обещание благодати: дружелюбно перелбывались поселковые собаки; выползли на завалинки старики погреть старые кости в теплых испарениях накалившейся за день земли; перед вечерним подоем разминали натруженные руки хозяйки, негромко переговариваясь через низкие огородные частоколы; беспечно возились в оранжевой от предзакатных лучей пыли ребятишки, а те, что постарше, носились на велосипедах как оглашенные по узким улочкам, предвкушая скорое наступление ранней забайкальской темноты: она сулила им развлечения, игры... Невозмутимо плескала мелкой рябью река. Замысловатыми руладами озвучивали безветренную тишину разноязыкие птицы. И лишь на небольшом притулившемся к поселку участке земли, обнесенном сплошным забором, не принималось заверение природы в безмятежности грядущего дня. Напряженно и сурово жили здесь люди, потому что от всех других людей, населяющих землю, их отличало одно: ежесекундное, острое, почти болезненное чувство ответственности за покой на земле.

Этим людям было совсем немного лет. Внешне они мало чем отличались от мальчишек, которые оголтело гоняли по поселку на велосипедах и мотоциклах. Их привычно и обыденно называли пограничниками. О быте на заставе знал даже не всякий житель поселка: туда посторонних не пускали. В тот день за высоким

забором было тревожно. Рядовой Никита Пушкарев задержал нарушителя... Сам Никита в больнице, и на беспокойные расспросы о его здоровье врачи отвечали уклончиво: «Пока состояние тяжелое».

С той же тревожной вестью бежала через поселок медсестра Милочка, не замечая сгушавшейся в синие сумерки предвечерней благодати. Недалеко от дома Зотовых она наткнулась на Даниловну. Утопая по щиколотки в густой уличной пыли, старуха осеняла себя размашистым крестом, кланялась в пояс и громко причитала. Ее загорелые высохшие руки взметались к небу, как бы цепляясь за невидимые одежды того, к кому были обращены молитвы, и тут же бессильно, плетью падали вдоль тела, словно усомнившись в милосердии всевышнего. Темная юбка с подоткнутым подолом, впопыхах падая наизнанку, открывала до колен костлявые ноги. Издали Даниловна походила на худого ребенка, и лишь по морщинистому пергаменту кожи можно было определить ее возраст.

У Милочки сжалось сердце. Как и все поселковые, она жалела помутившуюся разумом старуху, помогала ей заготавливать дрова к зиме, частенько забегала помыть полы да подсобить по хозяйству.

— Даниловна, шла бы домой,— осторожно обратилась Милочка к старухе.— А я на обратном пути забегу, карамелек занесу... Посумерничаешь у самовара со сладеньким. Иди, Даниловна.

— Домо-ой? — изумилась старуха, взглянув искоса на Милочку исплаканными глазами и не переставая креститься.— Э-э, милая, да где ж он теперича, мой дом? Вона мой дом где! — Старуха неопределенно взмахнула длинными руками.— Вона тебе и крыша, а вместо стен... ветерком обдует.— Даниловна захихикала, но тут же рот ее скривился в жалобной, плаксивой гримасе.— Ведь ежели помрет внучок-то мой ненаглядный, мне-то для какой такой надобности остаток дней волочить? Он же единственный у меня родненький на всем белом свете.

— Да что ты, Даниловна, какое там помрет! Молодой, крепкий. У него сто лет впереди,— запротестовала Милочка.

А старуха неожиданно приблизила свое черное от горя лицо к девушке и медленно проговорила:

— Сердце чувствует, милая, сердце. А Даниловну сердце ни в жисть не обманывало. Вот так же перед каждой похоронкой трепыхалось.— И вдруг, посмотрев на нее трезвым, разумным взглядом, заключила:— Как бог даст! Как даст бог...

В избу к Зотовым Милочка вошла вконец расстроенная. Перед глазами стояло потемневшее лицо Даниловны с застывшими в бороздках морщин слезами. А сквозь это лицо проступало то... другое — бледное, с запекшимися губами и искаженное невыносимой болью, еще не заглушенной наркозом.

— Теть Марина, а Лизавета разве еще не вернулась? — потеранным голосом спросила Милочка, обводя глазами опрятную горницу.

Марина Семеновна, полная, статная старуха с яркими, молодыми глазами и гладким лицом, хранившим следы былой изысканной красоты, оторвалась от книги. Нервным движением поправила тяжелую, чуть тронутую сединой косу, уложенную полукругом на затылке.

— Вернулась, как же! Я уж думала, не дождусь. Почти сутки пропадала. И откуда в ней фанатизм такой, ума не приложу. Вернулась, еле на ногах стоит, я ее спать укладываю, а она ни в какую. «Ты — говорит, — бабушка, хочешь, чтобы мои труды даром пропали?! Теперь, — говорит, — все травинки надо по одной разложить, чтобы они подсыхали не в куче, а каждая отдельно, сама по себе». Сейчас спит она, мой лекарь-пекарь. Пушкой не разбудишь. А ты что это расстроенная такая? Случилось что-нибудь?

— Случилось, — кивнула Милочка и, присев на краешек стула, торопливо рассказала Марине Семеновне и про Никиту, и про нарушителя, и про Даниловну.

А лекарь-пекарь сидела в соседней комнате на старомодной бабушкиной кровати с медными шишечками и, холодея от ужаса, слушала приглушенный, торопливый Милочкин рассказ. Голова гудела от усталости и страшного известия. А где-то там, в глубине ее, словно вторым планом, «прокручивалась» их первая встреча...

— Дома кто есть? — как наяву услышала Лиза хрипловатый, точно простуженный, мальчишеский голос.

И сразу екнуло под ложечкой, и на мгновение прекратило биться сердце.

Лиза бросила под ноги отжатую тряпку и, шлепая босыми ногами по растекавшимся струйкам, подошла к распахнутому окну.

— Ну, есть.— Легла грудью на подоконник, увидела прищуренные карие глаза, растянувшийся в улыбке детский пухлый рот. Мягкий румянец на скулах, глубокую ямочку на подбородке. Надвинутая до бровей фуражка, казалось, с трудом удерживалась в копне выгоревших от солнца волос.

«Господи, их не стригут, что ли?» — удивилась Лиза.

И, нарочито пристально разглядывая пограничника, сказала насмешливо:

— Я вас чрезвычайно внимательно слушаю! — Вытерев о подол мокрые руки, с хрустом укусила за румяный бок лежавшее на подоконнике яблоко.

Гость улыбнулся, и на щеках пробуравились две глубокие ямки. «Господи, как у девчонки», — неодобрительно отметила про себя Лиза и, еще раз хрустнув яблоком, с преувеличенным вниманием склонила голову к плечу, как бы вся обращаясь в слух.

— А из взрослых дома кто-нибудь есть? — поинтересовался молодой человек.

И скромно потупил глаза, как бы не желая наблюдать за реакцией.

И действительно, от такого нахальства Лиза подавилась яблоком и закашлялась.

Молодой человек терпеливо пережидал, с вниманием разглядывая свои покрытые пылью сапоги.

А Лиза все кашляла.

— Может, водички? — кротким голосом предложил молодой человек. — Или по спине постучать? Помогает!

— Я тебе сейчас так постучу... — невнятно пообещала Лиза сквозь кашель.

Но молодой человек понял.

— Ага, значит, взрослых дома нет, — вполголоса, вроде бы для себя проговорил он и двинулся к калитке. Кашель как рукой сняло.

— Эй, как вас там? — Лиза до пояса вывалилась в окно. — Зачем приходил-то, дедуся? Взрослым что передать?

Прищуренные из-под козырька глаза снова возникли перед окном.

— Это по какой же причине я дедуся?

— По той самой, почему я... малышок.

Пограничник вновь продемонстрировал девчачьи ямки на щеках и произнес вдруг совсем не насмешливо, а так просто и ласково, что сердце у Лизы прытким мячиком опять ткнулось в ключицу:

— А ты и правда еще... малышок. Забавная! Семечко от яблока на подбородке...

— Тебе сколько лет, дедуся? — смахивая с подбородка семечко, поинтересовалась Лиза.

— Девятнадцать.

— Ха-ха-ха! — театрально-торжествующе возопила она. — А мне семнадцать. Восемнадцать почти, дедок. Я просто блестяще выгляжу.

— Да уж, — озаряясь всей той же ласковой и словно бы знакомой Лизе улыбкой, согласился пограничник. — Больше четырнадцати не дашь. — Глянув на часы, он сказал: — Переходим к официальной части: на лирические отступления лимит исчерпан. Мне поручено пригласить к нам на заставу, видимо, твою бабушку, которая является потомком декабриста. Это ведь дом Зотовых?

— Так точно, товарищ рядовой погранвойск. Я тоже являюсь потомком декабриста. Зовут меня Елизавета Зотова. Можете именовать Елизаветой Викторовной. Заканчиваю медицинский техникум. Поработаю годик-другой в больнице, а дальше намерена продолжить образование. Трудолюбие, неукротимая жажда знаний и пылливость ума унаследованы мною от моего блестящего предка, 14 декабря 1825 года вышедшего на Сенатскую площадь, чтобы наряду с другими лучшими представителями русского дворянства вынести приговор самодержавию. Даже в каникулы я лишаю себя отдыха, чтобы не осрамить память знаменитого предка. С утра до ночи работаю над собой. Попрошу вас повернуть голову слегка влево. На стене того вон захудалого строения, именуемого в простонародье сараюшкой, вы можете отчетливо узреть охапки лечебных трав, развешанные там трудолюбивейшим потомком для просушки. Ибо изучению народной медицины и, в частности, лечению травами, грезится мне, должна посвятить я свою жизнь. Сей достойный род занятий позволит мне высоко пронести память о событиях на Сенатской площади...

Тут только до Лизы дошло, что молодой человек не слушает ее. Его прищуренные карие глаза словно заблуж-

дились на ее лице, изучая каждую веснушку, каждую шелушинку на розовом обгоревшем носу.

Лиза никогда не считала себя уродиной, но вдруг так захотелось быть неотразимо красивой. Стало досадно за свои рыжие растрепанные волосы, вспотевшее от мытья полов лицо, семечко на подбородке...

«Да что это я? — тут же воспротивилась собственным мыслям Лиза. — Еще чего! Вот уж никогда не стремилась быть лучше, чем есть».

А молодой человек снова коротко глянул на часы и, резко повернувшись на каблуках, заспешил к калитке, уже через плечо проговорив:

— Я завтра зайду, Елизавета Викторовна. Потрудитесь передать бабушке суть дела.

На следующий день он не пришел. И напрасно, оказалось, умирала Лиза свои рыжеватые кудряшки, превращая их в замысловатую прическу, напрасно подкрашивала выгоревшие реснички, запудривала шелушившийся нос. Напрасно то и дело подбегала к огромному зеркалу в старинной оправе, оглядывая критически свою стройную худенькую фигурку, обтянутую голубыми джинсами. Не пришел он и на следующий день. А ночью, ворочаясь с боку на бок и мучительно припоминая, где видела она его такую знакомую, точно одной ей предназначенную улыбку, Лиза на рассвете вспомнила. В снах своих видела... В тех часто повторяющихся снах, которые разрешаются сладким пробуждением и предвкушением скорого чуда.

Она мечтала, чтобы человек, который полюбит ее, улыбался ей так...

— Побегу я, пожалуй, Марина Семеновна, а то Терентьич там один, — как сквозь вату донеслось до Лизы.

— Погоди, чайку налью. Ваш Терентьич один равняется целой армии санитаров и медсестер. А то и врачей! Ты мне скажи, Милочка: как же этому парню удалось нарушителя задержать? Ведь вышка-то больно высока для прыжка!

В ответ Милочка всхлипнула.

— Ой, и не говорите, Марина Семеновна, ужас, просто ужас. Помните, ливень вчерашний, ураган... Там им всю связь пооборвало... А к утру степь туманом заволкло. Нарушитель, видать, в тумане этом и заблудился, попал в предел видимости... Никита, понимаете, рассчи-

тал, что если по лестнице вниз бежать, то не успеет. Вот и прыгнул тогда. Прыгнул, чтобы не встать... Это против всех законов медицины — то, что он все-таки встал. Да еще и бежал, догонял, стрелял в воздух, чтобы его услышали. Ужас, просто ужас! Вы Лизавете без подготовки не говорите.

Милочка заплакала...

...Он умудрился явиться опять именно тогда, когда Лиза мыла пол. И вновь смотрел заворуженно на ее вспотевшее лицо в нимбе растрепавшихся рыжих кудрей. Но Лизе было уже все равно. От его *такой* улыбки в одно мгновение улетучилась досада на свое бесконечное ожидание и страх, что ничего вообще не было и не появлялся под окном бабушкиного дома пограничник в надвинутой на брови фуражке...

— Слушайте, я вас еще в прошлый раз хотела спросить, да не получилось,— вместо «здравствуйте» ринулась в бой Лиза.

— Да, да, как же, вы тогда еще кашляли,— поспешно подтвердил молодой человек.— Спрашивайте — отвечаю.

— Вас что же, не стригут на заставе? Я полагаю, за такую копну два наряда вне очереди дают.

А он улыбался и не отвечал. Он смотрел на нее так, как, наверное, сама Лиза смотрела несколько лет назад на знаменитую Джоконду, привезенную в Пушкинский музей. С восхищением и недоверием. Ей тогда казалось невероятным, что она стоит перед той самой женщиной, которая покорила весь мир своей непостижимой улыбкой. Но ведь то была Джоконда...

Лизе вдруг захотелось сейчас же, сию минуту, пока лицо ее еще не поменяло выражения, подбежать к зеркалу и взглядеться хорошенько в знакомые черты — возможно, она никогда не замечала в них какой-то особенки, которую углядел в ней этот человек.

Тогда Лиза еще не знала, что не в ней, а в нем заключалась эта редчайшая особенки — уметь видеть в человеке то, что неподвластно взгляду другого...

— Нас стригут,— охотно объяснил пограничник,— но если по стандарту волосы в среднем отрастают за такой-то промежуток времени на один сантиметр, то у меня — минимум в пять раз быстрее.— Он сдернул фу-

ражку. Густые светлые волосы обрушились на лоб, образуя челку, и он сразу сделался совсем мальчишкой.

— Oго! — присвистнула Лиза. — А вы, дедок, без головного убора еще ничего... первой молодости.

За спиной раздался бабушкин голос. Пограничник надел фуражку, отчего в лице появилась жесткость, и представился, но совсем не по-военному:

— Добрый день. Меня зовут Никита Пушкарев. По поручению комсомольцев заставы очень хотелось бы пригласить вас к нам в гости. Нам известно, что вы являетесь потомком декабриста...

Потом бабушка угощала Никиту чаем с ватрушками. А Лиза сидела напротив и, затаив дыхание, караулила тот короткий миг, когда улыбка в ласковом прищуре удлинит его карие глаза и пробуравит девчоночьи ямки на щеках.

Бабушка обстоятельно выпрашивала Никиту о его семье, о планах, о воинской службе. Она всегда тянулась к молодым, в каждом обязательно угляживала черточки своих бывших учеников, которые разлетелись по белу свету. Всю жизнь Марина Семеновна была учительницей в поселковой школе, теперь мучительно переживала свой недавний уход на «заслуженный отдых». Каждого из бывших питомцев помнила она по имени и фамилии, для каждого сохранила в душе особое нежное чувство.

— Слышь, Лизок, что Никита-то говорит. Мама его в Мухинском училище преподает, а там Маша Кострова на третьем курсе учится. И общежитие ее где-то возле ленинградского дома Никиты. Недавно письмо от нее получила, в это лето никак ей домой не выбраться. Сперва практика, а потом всем курсом отправляются деревянную архитектуру Кижей изучать. А вы, Никита, значит, туда же, в Мухинское поступали?

Никита утвердительно кивнул, непослушные прямые волосы тотчас густой челкой закрыли лоб. Он глянул на Лизу, виновато развел руками, словно попросил прощения за то, что не поступил в Мухинское.

— А сейчас вам удастся рисовать? — поинтересовалась Марина Семеновна. — Ведь в этом деле, как я слышала, важно быть в форме: рука должна быть размята.

— Да как вам сказать, — пожал плечами Никита. — В основном мое творчество сводится к оформлению



стенгазет... Хотя, конечно, иногда удается и для себя по-работать. Вот, кстати...

Из нагрудного кармана Никита извлек сложенный вчетверо листок плотной бумаги. Развернул. С листа глянуло на Лизу знакомое лицо с серыми глазами, окаймленными выгоревшими ресничками, с россыпью веснушек на вздернутом носу. Сходство поразило ее. Но было еще что-то такое, чего Лиза никогда не улавливала на поверхности зеркала... Одета была Лиза в длинный старомодный плащ с капюшоном, полуспадающим с растрепанных от ветра волос. И стояла она на горбатом ленинградском мосту, а сзади сумеречно синело небо с лохмотьями облаков, сновали пролетки и прогуливались прохожие в костюмах прошлого века. Марина Семеновна всплеснула руками.

— Бог ты мой, да вы, Никита, талант! И так все по-своему, так необычно. А Лизочек-то вроде бы как живая. Но что-то ей несвойственное в лице есть. Не то скорбное, не то горестное... Вот складочка поперек переносицы и не ее вроде.

Лиза чувствовала, как запылали уши, а все лицо закололо невидимыми иголками. Никита, словно понимая, что происходит с ней, не смотрел в ее сторону, деловито договаривался о встрече Марины Семеновны с пограничниками, благодарил за угощение.

— Проводи, Лизок, гостя до калитки,— подтолкнула оцепеневшую внучку Марина Семеновна.

Лиза долго глядела ему вслед. Он шел удивительно штатской, совсем не вязавшейся с его военной формой походкой — высокий, с тонкой талией, туго схваченной широким армейским ремнем. В конце улицы он обернулся...

...— Так ты разузнай все как следует, Милочка! Ежели что, сразу с Москвой свяжемся. Нина, Лизина мать, из-под земли любое лекарство достанет. Она же у нас фармацевт...

— Ой, да знаю я, Марина Семеновна! Ну, побегу...

— Погоди!.. Я тоже с тобой!.. Я сейчас... я скоренько!..

Лиза вылетела из соседней комнаты, чуть не сбив с ног Марину Семеновну, и закружила в поисках платья, одновременно пытаясь сдернуть старенький халат. Дрожащие пальцы не попадали в петли, широко раскрытые,

но невидящие глаза не находили одежды. Марина Семеновна переглянулась с Милочкой. Лицо Лизы, всегда окрашенное румянцем, показалось им зловеще бледным. Марина Семеновна ловко перехватила бестолково мечущуюся по комнате девушку, помогла ей справиться с непослушными пуговицами на халате. А Милочка уже держала наготове джинсы и первую попавшуюся под руку кофточку.

— Бабушкина... — пробормотала Лиза, — черт с ней... все равно!..

И, утонув в кофте, рванулась к двери.

Десятки, сотни, тысячи спичек с воинственно вздернутыми головками коричневой серы вместо касок выстроились плотными рядами. Некоторые из них были переломлены пополам, но тонкая деревянная пленка держала туловища, располовиненные чьими-то пальцами. «Х-р-ст», — послышался откуда-то издали сухой щелчок переломленной спички. «Х-рст, х-рст». Спички образовали ровные, словно по линейке выверенные, линии, согласно беззвучной команде повернули вправо коричневые головы. И двинулись вперед. Они шли, так плотно прижимаясь друг к другу, что издали сливались в единый спичечный частокол, без просветов, без лазеек. И только переломленные в поясище «ветераны» вихляя своей нижней спичечной частью, оставляя узенькие зазоры. Было такое ощущение, что они опускаются с горы или холма, потому что задние ряды все время возвышались над передними и их головы нахально торчали поверх предыдущего ряда. Когда они подходили совсем близко, Никита чувствовал, как его начинает тошнить от ужаса, от неотвратимой опасности, которую несло их приближение. Он задышался, липкий пот заливал глаза, размывал очертания спичечной армии. Никита кричал: «Мама, мамочка!» На лоб ложилась знакомая прохладная рука, и спичечные ряды рассыпались. А Никита проваливался в блаженное забытие без видений. Потом снова и снова шли рядами спички, и опять Никита ощущал на горящем лбу, как спасение, прохладную мамину руку.

На этот раз рука была шершавая, незнакомая, но спички все равно разваливались от ее вторжения в горячечный бред. Временами наваливались какие-то плотные

подушки. Они были легкие, почти невесомые, но Никита кожей ощущал их плотность. Он как бы становился сам этими подушками и чувствовал, как его тело разрастается до их размеров, разбухает и делается таким же невесомым. Плотность подушек разряжалась, и тело Никиты тоже разряжалось, казалось, каждая клетка отделяется от другой, парит, кружит в невесомости, а потом снова стягивается в тугую, плотную массу. Временами тело Никиты вдруг словно выныривало в какое-то другое измерение, наполненное противным непрерывным звоном. Никита начинал чувствовать свинцовую тяжесть век, которые никак не удавалось приподнять. Изнутри расплзалась по телу нестерпимая боль. Никита понимал, что лучше не пытаться отодрать неподъемные веки — тогда боль превратится в сплошной хриплый вой над рыжими сопками. И все же он усилием воли приподнимал веки и, увидев сквозь розоватый туман два белых торчащих крыла на зависшем над ним незнакомом лице, вновь и вновь собирал остатки сил и, преодолевая боль, прыгал на удаляющуюся за сопку спину, стискивал зубы на чужой соленой шее и опрокидывался в пустоту, где толпились на горизонте ряды ненавистных спичек.

Аким Терентьевич с напряжением вглядывался в лицо Никиты, словно пытаясь проникнуть в тот неведомый подсознательный мир, где жил сейчас мальчик. Его многолетний опыт подсказывал, когда нужно положить руку на лоб, когда осторожно смочить пересохшие губы влажной марлей, когда взять за руку и сказать ласковые, ободряющие слова. Собственно, разговаривал с тяжелобольными Аким Терентьевич почти все время и на вопросы персонала, зачем он это делает — больной без сознания, — старик сердился и, не удосуживая никого ответом, бормотал в свои марлевые чехлы: «Ишь ты, какие выискались, не слышит больной, не чувствует. Кто это точно знает? А может, как раз наоборот, еще как чувствует — сказать лишь не может, а ждет живого слова, общения человеческого, подтверждения, что он жив, что говорят с ним». И поэтому, склонившись над Никитой, Аким Терентьевич вполголоса разговаривал с ним. И Никита действительно слышал старика... Даже сквозь бред он чувствовал, что голос этот спасителен, и цеплялся за него, как бы карабкаясь по добрым, ласковым интонациям туда, вверх, к сознанию.

— Такие дела, дружок, — приговаривал Аким Те-

рентьевич, поглаживая мокрые взъерошенные волосы больного,— значит, вот так же лежал Тао-Юэн, как ты. И бредил так же, и жар не спадал аж трое суток. А воды не было, про условия и говорить нечего — кругом тундра, а в ней белые засели и уж который день огонь не прекращали. И все ж выходили мы китайчонка нашего. Выжил! Да еще каким здоровяком стал — ого! Дай бог каждому. Я потом здесь осел, а он образование получил сельскохозяйственное... В Москву на выставку возил свои достижения: рис какой-то особый вывел. Как сейчас помню: на обратном пути в гости заезжал, медали свои показывал. Сам-то он недалеко от Маньчжурии поселился, хозяйство у него там было опытное, теплицы разные. А виделись мы частенько. Не то что теперь... Человек на свет для мира появляется, для созидания. Без ума совсем или выродком надо быть, чтобы порушить жизни этой гармонию. Она ведь веками складывалась, гармония эта: по крохам, по ступеночкам... Людмила вон давеча сказывала про недоумков западных, которые в черные рубашки рядятся, свастику на рукава вешают, день рождения Гитлера празднуют. Жуть это, но вина-то не совсем ихняя: у них в мозгах еще разброд. Старшему поколению, стало быть, выговор объявляю. Сызмальства, значит, им линию прочертили неверную. Может, излишне на головы ихние понадеялись, а про душу да про сердце позабыли. А на одних мозгах далеко не уедешь, жидковато в ребячьих мозгах до поры до времени. Надо бы душу разбередить...

Дверь в палату приоткрылась, вошла Милочка, а следом показалась растрепанная голова Лизы Зотовой. Аким Терентьевич сердито замахал руками и, не заметив умоляющего взгляда медсестры, решительно двинулся к двери. Однако Лиза уже успела разглядеть пепельно-серое лицо Никиты, руку в гипсовой повязке. По какому-то странному совпадению, лишь тронулся Аким Терентьевич с места, Никита застонал и произнес отчетливо: «Лиза». В одну секунду девушка очутилась у его головы и, только убедившись, что тот бессознательно произнес ее имя, позволила Акиму Терентьевичу выпроводить себя из палаты.

Старик держал Лизу за плечи и чувствовал, как дрожит в ней каждая жилочка... Вспомнились Акиму Терентьевичу и сплетни поселковых старух на завалинке: мол, присох сердцем внучок Даниловны к Лизке Зото-

вой. Вспомнился и вечер в клубе, где торжественно восседал Аким Терентьевич с орденами и медалями на груди среди ветеранов войны. А потом были танцы... И все невольно отводили взгляд от молодой пары, чтобы невзначай не разрушить любопытством их счастливое, ликующее одиночество.

Аким Терентьевич произвольным ободряющим движением провел ладонью по Лизины кудряшкам. Она вскинула голову — и старик вздрогнул от той покорной обреченности, которая застыла в испуганных Лизиних глазах.

— Нет, нет,— повинувшись внутреннему протесту, зашептал Аким Терентьевич,— нет, деточка. И в голову не бери!..

— А Даниловна чует... — глухо простонала Лиза. Настойчиво, не мигая, впилась в лицо сиделки, требуя сию же минуту опровергнуть то, что учуяла вещим сердцем старуха.

— Ишь, Даниловна! — проворчал старик, лихорадочно подыскивая единственно необходимые слова. — Ты-то ученая ведь, а веришь разуму замутненному. Даниловна по двадцать раз на дню что-нибудь да чует. Ежели на ее чутье ориентацию держать, то самому легче простого с катушек долой слететь. Ишь, Даниловна...

В конце коридора показалась легкая, бесшумная, как тень, фигура Аллы Сергеевны. Издали разглядел Аким Терентьевич ее изумленно приподнятые брови и острый взгляд, взявший на прицел постороннего в послеоперационном отделении.

Прошептав виноватое «здрасьте», Лиза выскользнула за дверь. Присела на теплое, не успевшее выпустить из себя дневной зной деревянное крыльцо. С потемневшего горизонта зловещими зубцами поднималась грозовая туча. Она так медленно и неотвратно располагала по небу свою удушливую свинцовую плоть, что у Лизы от отчаяния перехватило горло. Если бы было возможно обратиться с мольбой о спасении к какому-нибудь все-сильному божеству, то у нее нашлись бы те необходимые слова, те доводы, которые убедили бы его изменить ход событий, вернуть обратно, в жизнь, ей, Лизе, беспомощно распростертого на больничной койке человека. Лиза очень хорошо понимала, что вся ее предыдущая

жизнь была чем-то приблизительным и только Никита вдруг сумел поставить все на свои места. Он сам был ясным и строгим. Лизино теперешнее состояние напоминало ощущение, которое часто посещало ее в детстве. С трех лет врачи надели Лизе очки. И она, еще несмышлениш, не понимала, почему вдруг мир иногда начинал ей казаться скучным, невыразительным, она принималась капризничать, жаловаться на усталость. Тогда мама снимала с нее очки, протирала тряпочкой запотевшие, залепленные песком стекла, и мир преображался, снова раскрашивая свои причудливые очертания яркими, сочными красками.

Грозовая туча заволокла небо, будто прикрыла землю низкой крышей. Обезличила сопки, лишив их привычной рыжей окраски, уронила на землю несколько тяжелых капель, собрав катышки пыли и прорывав какое-то сварливое обещание, затаилась... И вокруг все стихло, напружинилось, даже ребячьи голоса смолкли. Лиза слышала, как вызывающе громко бухает в этой тишине ее сердце. Прижав ладонь к груди, она прислонилась к перилам лестницы, закрыла глаза. Увидела пепельное лицо с чужими, заострившимися чертами.

Усилием воли заставила себя услышать его голос, чуть хриловатый, но неожиданно взывающийся, если он волновался.

— Вы не оригинальны, Елизавета Викторовна, этот вопрос задают мне все... Конечно, мать — педагог Мухинского, конечно, отец — известный скульптор, да и сам вроде бы не бездарь. А что, позвольте спросить, я должен изображать на своих полотнах? Девушку, мокнущую под дождем? Старика, прогуливающего собаку и такого же непременно дряхлого, как и его живность? Можно и так, если за этим немногим ощущается знание чего-то такого... что дает право на любой, пусть самый незначительный предмет на холсте. Знание *такого*, что способности обращает в талант, а художника — в личность. Меня на собеседовании спросили, как я отношусь к одному из наших выдающихся современных художников. Из тех, которые и выставки в Манеже имели, и собственные альбомы на лучшей бумаге. Я сказал, что он изысканно декоративен. Его картинами хочется, как обоями, оформлять интерьеры клубов. На третий день примелькается и станет привычным узором! У меня, знаешь, дома, в Ленинграде, висит почти весь Ван Гог в

луврских репродукциях. Это да! Ни к одному из его лиц привыкнуть нельзя. Сколько гляжу — столько эти лица терзают, изводят... И если даже просто подсолнух, то это такая выстрадавшая желтизна, такой зной и жажда, что до одушевленности этот подсолнух доводят.

Лиза и Никита шли тогда по узенькой тропинке, ведущей на заставу. Сперва он провожал до дома Марину Семеновну, дослушивая ее рассказ о декабристах, а потом Лиза провожала Никиту.

— И что же, значит, ты специально срезался? — ехидно сощутив глаза, как бы передразнивая его привычку, спросила Лиза.

Никита негромко захохотал, подбросил в воздух фуражку и ловко поймал ее на лету головой.

— Ну вы даете, Елизавета Викторовна! Неужели уж я таким ослом выгляжу? Просто решающую роль сыграли два факта. Первый: со мной вместе поступал один поразительный тип. Для него это явно был самый последний шанс — ему уж за тридцать. Всю жизнь мото-ристом проплавал на дальних рейсах. На его картинах море — никакой не пейзаж! Это то, чем живет человек, его смертная тоска, его ностальгия, а в другие моменты — его лютый враг, способный поглотить, смести, с легкостью уничтожить. Короче, это — живое существо, которое он сумел подчинить своим настроениям, своему взгляду, своей философии. Он сумел так лихо выразить себя, что его даже маринистом не обзовешь, хотя ни одной работы без моря нет. На последнем туре я подумал: «Какого черта я здесь у него под ногами путаюсь?» Ситуация так складывалась, что комиссия должна была кого-то предпочесть. И ежу было понятно, что предпочтительней окажусь я со своими наследственными приметами и мамой в предынфарктном состоянии. Ну, это первое. Сюда включаются, так сказать, и мои собственные соображения, что тема художника не вымучивается в сумерках мастерской, а обретается непросто и, наверное, даже невыносимо мучительно в этом вот нашем прекрасном мире. — Никита сказал эти слова с какой-то зрелой, выстрадавшей горечью, так что Лиза дернулась удивленно: «Откуда это в нем?» Он широко развел руки, точно заключил в свои длиннорукие объятия все зримое и незримое пространство. — Ну а второй факт сугубо, так сказать, личный. Мне надо было испариться из Ленинграда, чтобы освободить этот, на мой взгляд, луч-

ший из всех цивилизованных городов от своего присутствия в его насыщенной толпе.

Никита задумался... Казалось, забыл совсем о Лизе. Глаза сощурились привычно, стали далекими и чужими. Лиза ощутила, как ревниво зашевелились в ней недобрые предчувствия.

— Кому-то было надо, чтоб ты исчез? — осторожно спросила она.

Никита кивнул, но его отрешенный взгляд все еще, видимо, блуждал по ленинградским улицам, вглядываясь в чьи-то далекие и дорогие черты...

...Сизая туча снова исторгла глухое, угрожающее ворчание. Возле крыльца слышались голоса. Лиза вскочила со ступенек, увидела двух молодых пограничников. Узнала в них начальника заставы и замполита. А навстречу им с крыльца спускалась уже Алла Сергеевна, поправляя на ходу тоненький поясok халата.

Значит, она знала, что они придут... Сама вызвала их по телефону... Или они предупредили... Лиза умоляюще взглянула на хирурга. Но Алла Сергеевна прошла мимо нее, словно та была одним из столбов, подпирающих крышу больничного крыльца. Пригласила командиров Никиты к себе в кабинет.

Секунду Лиза, оцепенев, стояла на крыльце. Потом на цыпочках прокралась в больницу. Больничный коридор оглушил тишиной. «Так тихо бывает не к добру. Как в природе перед грозой. Затишье...» — пронеслось в голове. Но Лиза тут же заставила себя не думать о плохом. Озираясь по сторонам, нашла дверь, за которой отчетливо звучал голос хирурга.

— Так что, сами понимаете, насколько неясна картина пока... Что касается вашего предложения, как врач могу сказать лишь одно: больной абсолютно нетранспортабелен. По сути дела, он еще в сознание-то не пришел. Травма черепа, сотрясение мозга, наконец, перелом позвоночника, обеих ног и правой руки... Все это, конечно, требует других условий и, несомненно, квалифицированных специалистов самого разного, как говорится, профиля... Но трогать его нельзя... Будем ждать. С городом я связалась — ночью Синельников вылетит.



Лично с ним переговорить не удалось: он на операции. Но главврач госпиталя в курсе.

В кабинете повисла долгая мучительная пауза. Потом другой, совсем неофициальный, неожиданно мягкий, грудной голос Аллы Сергеевны спросил:

— Расскажите мне про мальчика. Я о нем, собственно, знаю лишь то, что помутившаяся в рассудке старуха его в свои внуки произвела. Откуда он? Как быть с родителями? У него и мать и отец?

Пограничники заговорили разом. Но один тут же замолк, другой рассказал хирургу о семье Никиты Пушкарева. Лиза узнала голос замполита.

Алла Сергеевна вдруг перебила:

— Вы ведь отдаете себе отчет... то, что он сделал, достойно самых высоких слов?..

Снова разом заговорили пограничники, и снова право голоса получил замполит:

— Год назад, когда Пушкарев только прибыл на заставу, я, помнится, проводил политзанятия и задал тему, которую каждый из ребят должен был к следующему занятию разработать самостоятельно. Тема была такая: что вы лично вкладываете в понятие патриотизма? Подготовились все, кроме Никиты. Я поинтересовался, в чем дело. Он ответил вопросом на вопрос. «Знаете, был такой педагог — Сухомлинский... Так вот, он утверждал, что патриотизм — чувство стыдливое, его надо, как любовь к женщине, глубоко в сердце хранить и от лишних прикосновений оберегать». Я, честно говоря, обескуражен был тогда не на шутку. Сделал замечание Пушкареву, а сам стал приглядываться к нему повнимательней. И убедился вскоре, что он во всем какой-то особый, неординарный. Вроде бы очень общительный, а в то же время до конца... не раскрывается. И с Даниловной тоже...

Начальник заставы перебил замполита:

— погоди, Алеша, я сам расскажу. Докладывает мне как-то дежурный: мол, так и так, свидания с вами Даниловна требует. А мы уже все тогда в курсе были, что старуха за внука его считает. Вы ведь знаете, что она на четверых сыновей похоронки получила. Такую беду, я думаю, пережить невозможно... И немудрено, что рассудок у нее помутился... Но иногда она разумнее любого нормального рассуждает. Короче, вышел я

за ворота, смотрю: стоит, опять с кулечком каким-то. Гостинец, видно, Никите приготовила. «Слушаю вас, — говорю, — Авдотья Даниловна». А она мне кулек свой сует. «Никитушка, — шепчет, — сказывал, что семья твоя погостить к родителям отправилась, один ты теперь, вот я тебе пирожков напекла да поблагодарить хочу, что по-доброму к внучку относишься. И еще спросить хотела... Нельзя ли Никите увольнительную оформить? Все ж таки бабка родная под боком проживает, пусть нет-нет да заглянет». — Начальник заставы усмехнулся. — В общем, пришлось мне с Пушкаревым беседовать. Собственно, говорил я, а он молчал больше. «Понимаешь, — говорю, — всю исключительность ситуации? С одной стороны, увольнительных не положено, с другой — учитывая, что Даниловна — мать четверых солдат, павших смертью храбрых, будем просить исключения. Весь вопрос упирается в тебя. Как ты-то сам ситуацию расцениваешь?» Смотрю, парень подобрался весь. «Так точно, — говорит, — все понимаю, я и сам с той же просьбой к вам обратиться хотел. Но Даниловна опередила». Тогда я поинтересовался, что же дальше он делать намерен, когда служба закончится. Старуха и дня без него обойтись не может. Пушкарев нахмурился, будто повзрослел сразу, и ответил, что думает об этом непрерывно.

— А я недавно рисунки Пушкарева видел, — услышала Лиза голос замполита. — Его вызвали срочно куда-то, а папку он в красном уголке оставил. Я случайно на нее наткнулся и, честно скажу, уже оторваться не мог. Все работы его разглядел... В основном портреты. И всюду — Даниловна. Видать, поразила она его воображение! Рыженькую девочку, ту, что на крыльце сейчас видели, тоже прекрасно нарисовал. То, что талант у него, нет вопроса!

— Да-а, — задумчиво протянула Алла Сергеевна, — а рука правая... нерв перебит... — И тут же изменила тон, прибавила бодро: — Что ж, будем надеяться на лучшее.

— Да, извините, Алла Сергеевна, я на ваш вопрос не ответил, — спохватился начальник заставы. — Как мы оцениваем поступок Пушкарева? Так же, как и вы!

Лиза скорей почувствовала, чем услышала шаги в коридоре. Обернувшись, увидела, как трепыхаются на

лице Терентьича белые марлевые бабочки. Старик почти бежал, и бабочки вот-вот готовы были сорваться с его лица и вспорхнуть... Лиза вдруг увидела, как сквозь туман, зеленую поляну, всю пронизанную тонюсенькими паутинками, и огромную бабочку-капустницу, испуганно оторвавшую свое отяжелевшее тело от желтой головки одуванчика...

Терентьич махнул Лизе рукой, выпроваживая ее из больницы. На ватных ногах она вышла на крыльцо, присела на ступеньку...

Бабочка-капустница испуганно вспорхнула с одуванчика, внезапно разросшегося до размеров огромного подсолнуха.

— ...У меня, знаешь, дома, в Ленинграде, висит почти весь Ван Гог в луврских репродукциях... — совсем рядом с Лизиним ухом послышался Никитин голос. — И если даже подсолнух, то это такая выстрадавшая желтизна, такой зной и жажда, что до одушевленности этот подсолнух доводят...

— Зачем ты поместил меня в девятнадцатый век? — поинтересовалась Лиза и зажмурилась от блеска тонюсеньких серебряных паутинок, вытканых по всей солнечной поляне.

Никита ничего не ответил. Прищуренными глазами проследил за полетом тяжелой белокрылой капустницы.

— А зачем эта морщинка меж бровями? Будто я пережила что-то ужасное? Зачем?

Никита перевел взгляд на Лизу. Серьезно и долго вглядывался в ее лицо. Потом вдруг поспешно опустил глаза, точно испугался, что она невзначай прочтет его мысли.

— Зачем? — машинально повторила Лиза.

А Никита взял ее руку и, растопырив Лизины пальцы веером, бережно поцеловал каждый из них.

— «С младенчества моего вкоренена в сердце моем уверенность, что промысел божий ведет человека ко благу, как бы путь, которым он идет, ни казался тяжел и несчастлив», — медленно, словно припоминая, произнес Никита.

Лиза удивленно взглянула на него.

— Это Трубецкой, — пояснил он. — Добрый знакомый твоего блестящего предка.

— Ты помнишь наизусть? — изумилась Лиза.

— Естественно. И ты, я думаю, легко запоминаешь то, что застревает вот здесь. — Никита похлопал себя по нагрудному карману гимнастерки. — Он считал, что обрел истинное достоинство, изведав тот тяжкий путь, который прошел. Понимаешь, истинное достоинство человека!.. — Никита поднял голову, и его всегда чуть прищуренные глаза вдруг широко раскрылись.

Лиза удивилась, как это у него лихо получается — глядеть прямо на солнце и не жмуриться. И еще внезапно сжалось сердце от той мучительной тоски, которую бесцеремонно высветило из глубины Никитиных глаз беспощадное светило.

— Ты какой-то... несовременный, — вырвалось у Лизы. Но она тут же поспешила поправиться: — То есть совсем молоденький, а говоришь и смотришь иногда как старик.

Никита ничего не ответил. Казалось, он был всецело поглощен созерцанием пылающего солнечного диска. Лиза попыталась по его примеру тоже вскинуть глаза к солнцу, но тут же хлынувшие из глаз слезы накрепко зажмурили глаза. Оранжевые круги хороводом помчались за плотно сомкнутыми веками. «А ему хоть бы что, — подумала Лиза. — Крутит головой за солнцем и не жмурится. Будто подсолнух на длинной ножке...»

— А меня поражает другое. — Никитины глаза с сожалением распрощались с солнцем, снова привычно прищурились в насмешливой полуулыбке. — Наше поколение до бездарности инфантильно. Мой любимый художник Васильев к двадцати трем годам закончил земное существование, оставив после себя такое... Лермонтов, как известно даже по хрестоматийным источникам, в четырнадцать начал «Демона». А Пушкин, а Белинский, а Моцарт? А Веневитинов? Тот и до двадцати двух не дожил...

— А правда, почему так? — Лиза пыталась перехватить отчужденный взгляд Никиты, а он никак не хотел останавливаться на ее лице, скользил по желтым головкам одуванчиков.

— Думаю, жизнь карает тех, кто слишком близко подходит к разгадке тайн бытия. А познать истину —

удел конечно же гения, удел высочайшего искусства. — Никита потер переносицу. И наконец-то удостоил Лизу сосредоточенным взглядом. — Интересно, что Левина Толстой тоже подводит совсем близко к разгадке тайны жизни. Но вроде бы близко. Во-первых, Левин утилитарен, он художественно не одарен, а потом Толстому вряд ли хотелось угробить своего любимца...

— Но почему обязательно смерть?

— Потому что за все надо платить. А за прозрение, за гений, за редкий талант — особенно дорогой ценой...

— Жизнью? — ужаснулась Лиза.

Никита засмеялся.

— Сказку про Зайчишку-Пушишку читала? — спросил он с неожиданной беспечностью в голосе. Лиза, не умея так быстро переключаться, оторопело кивнула. — Это ты и есть! Вылитый Зайчишка-Пушишка.

И Лиза почувствовала, как от его взгляда по всему телу разливается уже знакомое вязкое тепло.

— Скажи, а тебя правда никто не ждет в Ленинграде? — вдруг вырвалось у Лизы, и она ужаснулась собственной смелости.

Никогда Никита не давал ей внутреннего права спросить об этом. Даже когда Лиза просто думала про это в его присутствии, он словно читал ее мысли, и всякий раз она наталкивалась на немой запрет.

Лиза так низко опустила голову, что даже шею заломило.

— Думаю, что ждут, — слышалось над ее пылающим ухом. — Хотя подтверждения я не получу никогда... Могу только предполагать.

Никита замолчал. А Лиза в который раз вспомнила акварель из папки с его рисунками. Она как-то однажды без разрешения раскрыла эту папку, забытую Никитой на обеденном столе. Со двора доносились голоса бабушки и Никиты, помогавшего приладить щеколду к калитке, а Лиза лихорадочно листала рисунок за рисунком. Мысль о том, что она делает это без спроса, ошпарила как кипятком в тот момент, когда с листа на Лизу взглянули блестящие, будто смоченные слезами глазищи. Женщина смотрела в упор — и Лизе показалось, что на ее длинной, горделиво изогнутой шее чуть заметно затрепетала нежная теплая жилка. Лиза опу-

тила глаза, быстро захлопнула папку. Этот взгляд предназначался не ей... На Никиту так смотрела глазастая женщина. И непонятно было — рассмеется она сейчас или расплачется.

Автор портрета не льстил женщине, не преуменьшил ее возраст, и ревнивый Лизин взгляд отметил легкую сетку морщин возле глаз и усталую поперечную складку между бровями.

Машинально посмотрев еще несколько рисунков, Лиза опять наткнулась на портрет этой женщины. Теперь она смеялась. Откинув назад голову и запустив пальцы в длинные, разметающиеся по плечам волосы, женщина хохотала так заразительно, что невольно Лиза тоже улыбнулась. А на следующем рисунке женщина брела по аллее с тоненьким черноглазым подростком, очень похожим на нее. Они смотрели друг на друга одинаковыми глазами. А Лиза видела мысленно такое же счастливое, улыбающееся лицо Никиты, не сводящего с них влюбленного взгляда. Потом замелькало лицо мальчика, написанное красками, карандашом, фломастерами. Шальная мысль мгновенно пронеслась в Лизиной голове, но тут же испарилась. Подросток мог быть только младшим братом Никиты...

Последним в папке оказался ее, Лизин, портрет. Бесцветные реснички, нахальные веснушки, в беспорядке раскиданные по лицу, рыжая челка, прилипшая ко лбу. Лиза вздохнула от огорчения. Рядом с черноглазой женщиной она безнадежно проигрывала...

...— Ты говорил, что вам тесно в одном городе, — не поднимая головы, произнесла Лиза.

— Если бы в городе... — Голос Никиты прозвучал отрешенно. — Было ощущение, что лишь на другой планете... может быть... продохнется...

— *Было?* — уже совсем махнув рукой на самолюбие, уцепилась Лиза за спасительное слово, которое вырвалось у Никиты.

Никита помолчал, потом взял в ладони Лизину голову.

— Я дурак! Мучаю тебя... Но то, что принадлежит не мне одному... об этом не могу... Даже тебе!.. Вернее, а тебе тем более... Мы простились с ней навсегда. Она

так хотела... Она толкнула меня к тебе... Она знала, что я тебя встречу...

— Как это? — изумленно прошептала Лиза.

Не выпуская из рук ее голову, Никита мгновенным усилием растопил у себя в глазах поселившуюся было тоску, ответил:

— А вот так... И пожалуйста, больше никогда ни единого слова. Никогда...

Лиза поспешно кивнула. А Никита бережно притянул ее голову к себе и дотронулся до кончика Лизиного носа сухими губами...

Вспорхнувшая с одуванчика бабочка-капустница вернулась на лицо Терентьича. Старик наклонил к девушке свое доброе морщинистое лицо, зашептал, украдкой поглядывая на дверь:

— Слышь, очухался твой сердечный, глаза открыл.

У Лизы заломило в висках. Она взглянула на Терентьича, хотела что-то сказать, но пересохший язык не повиновался. И Лиза пробормотала что-то невразумительное.

Поднимая пыль, прошагал мимо крыльца строй пограничников. Все головы были как по команде обращены в сторону больничных окон, в мальчишечьих глазах Лиза прочла тревогу и растерянность... «Господи, ну почему именно он? — тоскливо подумала Лиза, встречаясь взглядом с каждой парой скользнувших по ней глаз. — Вон их сколько...» Терентьич словно понял, о чем подумала Лиза. Накрахмаленная бабочка укоризненно всколыхнулась на усах.

«Ну и пусть... — Лиза жестко и вызывающе поглядела на Терентьича. — И пусть... Любой из них, только не Никита. И совсем мне не совестно. Ну ничуть...»

Пронзительный крик сцепил на мгновение недоумевающий взгляд Терентьича с перепуганными глазами Лизы.

— Даниловна, — огорченно прошептал старик.

И точно, из-за низенького палисадника, куда минуту назад пропылил строй пограничников, появилась тощая фигура Даниловны.

Увидев на крыльце Терентьича, старуха метнулась к нему, но неверные ноги не захотели поднять Даниловну на крыльцо, подогнулись бессильно.

— Скрыли, скрыли правду-то. Обманули Даниловну... — бормотала себе под нос старуха, располагаясь в пыли рядом с крыльцом.

— Внучок твой только что глаза открыл, — с беспокойством всматриваясь в ее лицо, произнес Терентьич.

Даниловна отмахнулась от старика каким-то беспечным молодым жестом, принялась расправлять юбку сутелливыми движениями худых рук.

Лиза схватилась за перила крыльца и, замерев, не сводила глаз с Даниловны. А та, казалось, была настолько погружена в свои ощущения, что даже не понимала, где находится. Терентьич поглядел на побелевшую Лизу, хотел что-то сказать, но прислушался к тому, что творится в больнице, и бесшумно скрылся за дверью. Только тут Лиза заметила, что синие сумерки сгустились в короткий вечер, который незаметно переползет в холодную бесконечную ночь. Вспыхнули неярким светом больничные окна. Просторная бабушкина кофта не согревала, и Лиза то и дело вздрагивала от пронизывающей сырости, которой успел напиться воздух во время короткого дождя.

Даниловна все так же сидела на земле возле больничного крыльца, поглядывая на Лизу с недоброй усмешкой. Лиза мысленно уже несколько раз приподнимала Даниловну с земли, пристраивала на ступеньках крыльца, но всякий раз колючие глаза старухи сковывали ее движения. И каждая из них оставалась на своем месте...

— ...Я знал, что со мной приключится что-нибудь в этом роде, — признался Никита, когда Лиза заговорила с ним однажды про Даниловну. — Так случилось, что ни бабушек, ни дедушек у меня не было... И вот, пожалуйста...

— А ты представляешь, что с ней будет, когда ты уедешь? У меня от этой мысли даже мурашки... Как ты ее оставишь?

— Кто тебе сказал, что оставлю?

— А как же? — изумилась Лиза.

— Пока еще и сам не знаю... Но не оставлю! Я теперь отвечаю за нее.

— Ну уж, это совсем по Экзюпери...



— Не по Экзюпери, а по-человечески... — возразил Никита. — Знаешь, у меня была... одна знакомая... Она так плакала всякий раз, когда слышала, что где-то на другом континенте, за тридевять земель от нее, голодают дети или беззащитных стариков расстреляли в палестинской деревне. И не просто плакала. Я видел... я знал, что если б от нее зависело их спасение, она бы отдала все. Даже жизнь... Моя знакомая... она чувствовала естественную человеческую ответственность за все, что происходит. Как и должен чувствовать нормальный, здоровый человек. Это норма. А все остальное — извращение. Но почему-то такая вот обостренная ответственность за судьбы других... беззащитных людей воспринимается чуть ли не нервным заболеванием, а вот нежелание отягощать себя чужими бедами — нормой...

Даниловна подняла голову и прислушалась. Словно ей было внятно все, что происходило в послеоперационной. Стало совсем темно, и Лиза напрягала зрение, чтобы различить те малейшие оттенки ощущений, которые отражались на лице старухи. Лиза не могла точно определить, почему, но она была уверена: никто так, как Даниловна, не учует того, что происходит с Никитой. Она побаивалась Даниловну, всегда первая отводила глаза... Будто Лиза посягала на что-то священное для старухи и могла не исполнить свою миссию достойно.

И теперь Лиза ощущала незримо протянувшуюся ниточку между Даниловной и Никитой. Как будто полу-безумной старухе был ведом иной способ общения с лежащим без сознания мальчиком...

Прошла вечность с того мгновения, когда рассыпались ряды спичек и армия обратилась в бегство. Никита вздохнул с облегчением и открыл глаза.

Два белых торчащих крыла, которые мерещились ему, оказались смешными марлевыми чехлами на усах старика. Возле кровати со шприцем в руках застыла молоденькая медсестра. И лишь когда совсем рассеялся туман, который заволакивал зрение Никиты, он узнал Милочку, Лизину подругу. С удивлением заметил Никита блеснувшие в ее глазах слезы. «Не случилось ли чего с Лизой?» Он хотел задать этот вопрос, но не

смог разъединить спекшиеся губы. Никита вздохнул и, почувствовав страшную усталость, провалился в забытие.

Когда Никита снова очнулся, Милочки в палате уже не было, а марлевые чехлы все так же белели в полумраке. Никита опять попытался пошевелить губами и тотчас почувствовал прикосновение ко рту влажной марли. Губы разлепились, и он с благодарностью взглянул на сиделку. Теперь можно было спросить про Лизу... Но Терентьич недаром учился всю жизнь предупреждать желания больного.

— Домой Лизавета побежала. То все на крыльце сидела, а теперь домой я ее отправил. Морсика клюквенного принесет. — Концом сырого полотенца он освежил лоб Никиты, и тот, ощутив приятную прохладу, вновь благодарно взглянул на старика. — Вот так, Никитушка, друг сердечный, а ты глаза-то прикрой. Мне твоих взглядов не надо... Тебе силы копить необходимо. Закрой глаза и тихонько слушай. Все у тебя неплохо складывается. Операция позади, кости срастутся, и следа не останется. Главное сейчас — спокойствие! И настрой оптимистический. Все у тебя для этих факторов имеется: начальники твои приходили — уж так расхваливали! Девчонка на крыльце по тебе сохнет. Что еще надобно красну молодцу?! Первое дело, чтобы совесть была в чистоте и ясности. А с этим, видать, все у тебя в порядке.

— Даниловна... — почти беззвучно выдохнул Никита.

Но Терентьич понял.

— А что Даниловна? Она и знать ни о чем не ведает. Полеживает себе на печке, — не моргнув глазом солгал Терентьич. — Да ты об ней-то хоть не терзайся. Ей никто и не скажет, не беспокоит ее, пока ты на ноги не встанешь. Сам знаешь, берегут сельчане старуху...

Аким Терентьевич коротко глянул на Никиту, проверяя, поверил ли ему юноша. В этот миг Никита открыл веки — и на мгновение их глаза встретились. Терентьич поспешно наклонился над капельницей, чтобы скрыть от Никиты то, что прочел он, многоопытная сиделка, в тусклом взгляде мальчика. Старiku был хо-

рошо знаком этот ускользающий, почти потусторонний, тоскливый взгляд... Когда несколько минут спустя в дверях появилась Милочка с банкой морса, Терентьич под свою ответственность велел позвать Лизу. Помедлив немного, чтобы заглушить в себе ужас, Милочка вышла в коридор.

Безмолвную забайкальскую землю придушила в своих объятиях непроглядная ночь. Было так безнадежно темно, что казалось, это навсегда. И только вскинувшему голову к небу становилось легче на душе от той искрящейся иступленности, с которой слали на землю свет мириады восторженных звезд. И чем крепче обнимала землю дорвавшаяся до своего часа тьма, тем отчаянней отвоевывали право на свет эти пробившиеся из бесконечности посланцы. Лиза стояла, запрокинув голову, и прислушивалась к разбухшей от звуков темноте.

«Как странно, — думала она, — пройдет еще какой-нибудь час, и начинающийся день с легкостью, одним фактом своего появления разрушит все ночные страхи и предчувствия. Никита рассказывал как-то про «час быка» — от двух до трех ночи. В этот час психика человека настолько неустойчива, что самое большое количество преступлений, умопомешательств и просто истерик происходит именно в этот час. Это правильно, что ночью человек должен спать, чтобы никакие мысли не терзали его бедную голову...»

И действительно, мудро заведенный в природе порядок господствовал над землей... Спал погруженный во тьму поселок. Даже у Даниловны в окне не было света. Чутко спала в ординаторской хирург Алла Сергеевна, вздрагивая при каждом шорохе: даже во сне ждала она появления с вестями сиделки Акима Терентьевича. Свернувшись клубочком на двух сдвинутых стульях, дремала медсестра Милочка. Забылся тяжелым сном нейрохирург Синельников, откинувшись в удобном аэрофлотовском кресле.

Всех этих людей объединял страх за Никиту. Тот же страх мучил и тех, кто был отгорожен от поселка высоким забором. Вглядываясь до боли в глазах в противоположный темный берег Аргуни, друзья Никиты

охраняли покой спящих людей. И сознание того, что за их детскими спинами — страна, помогало справиться и с чувством одиночества, и с ознобом от ночной сырости, и с непреодолимо навязчивым желанием спать. Но сильнее всего был в эту ночь страх за Никиту.

Уходя в пограннаряд и задержавшись по обыкновению у каменного бюста того, чье имя носила застава, каждый думал о Никите и мысленно желал ему мужества...

— ...Вы были когда-нибудь у нас на заставе? — вдруг услышал Терентьич голос Никиты.

Старик склонился над юношей. С белеющей в полумраке подушки глядели неестественно огромные, воспаленные глаза.

— Бывал. Приходилось... А как же, — ответил Аким Терентьевич и с радостью подумал, не ошибся ли он, не подвела ли его многолетняя интуиция — так бодро и уверенно прозвучал голос Никиты.

— Ему, наверное, жутко не хотелось умирать... Я думал об этом всякий раз, когда его имя первым выкликалось на поверке...

Никита говорил так, словно продолжал мыслить вслух, ничего не поясняя сиделке. Но тот понял.

— Была война... — Аким Терентьевич откинул с горевшего ночника полотенце, чтобы лучше видеть лицо Никиты.

— Нет, он погиб не в бою... И не в состоянии аффекта... он знал, на что шел. У него было время подумать и выбрать... Сознательно... Единственно приемлемое решение... Все правильно... Вот оно, достоинство...

Аким Терентьевич не прерывал мальчика, хотя понимал: волнение отнимает силы. Дотошная память выудила откуда-то издалека облик вихрастого паренька с бледным веснушчатым лицом. «Все повторяется, все возвращается на круги своя...» — подумал Терентьич. И произнес задумчиво вслух:

— Я помню его... Знавал!.. Его убили в сорок пятом, а меня с контузией моей в сорок четвертом демобилизовали...

— Расскажите...

— Да что ж рассказывать... Вам небось на заставе про все это и без меня известно. Считалось только, что война наших краев не коснулась. Если б не война, разве гады, которые над ним сутки целые измывались, посмели бы! Японцы такие пытки изобрели!.. Невообразимые! Вот и терзали его, сердечного...

— Это я знаю... — нетерпеливо перебил Никита. — Он сам-то... какой был?

— Какой? Да вот такой же, как ты... годок небось твой... собак любил до одурения. На заставу-то со своей овчаркой и поступил. Обнимет ее, бывало, за шею и смеется счастливым таким смехом... На один только день собака пережила его. Так с тоски и подохла... Закрой глаза, Никитушка...

Терентьич с беспокойством взгляделся в посеревшее вдруг лицо юноши.

Никита попросил шепотом:

— Пожалуйста, откиньте штору. Мне... душно.

Аким Терентьевич поспешно отдернул штору, выключил ночник. Сотни любопытных звезд приникли к больничному окну. Казалось, само мироздание шлет свое участие. Никита не отрываясь глядел на искрящееся синее небо и чувствовал, как неотвратимо собирают остатки своей разрозненной армии ненавистные большеголовые спички. Он до дурноты ощущал свое бессилие против их вторжения... Переборов поднимающуюся тошноту, Никита попытался улыбнуться Терентьичу. Непослушные губы скривились в бессильной гримасе.

— У меня... была... одна знакомая, — произнес он срывающимся шепотом. — Так она утверждала, что у каждого человека есть своя звезда. Меня она тоже... наделила звездой... Чуть правей хвоста Большой Медведицы... есть маленькая яркая точка... у нее даже свет колючий... Моя знакомая... считает, что, пока человек жив, он получает энергию от своей звезды... а когда жизнь кончается, то звезда падает на землю... или тает... Моя знакомая...

Полчища спичек, сомкнувшись плотными рядами, обрушились на Никиту. Их было такое множество, что через мгновение они слились в непонятное коричневое месиво... Никита стиснул зубы и, собрав остатки сил, бросился на исчезающую за сопкой спину...

...Аким Терентьевич вышел на больничное крыльцо и только тогда сдернул с усов марлевые чехлы. Свежий предутренний ветерок заохлодил разгоряченный лоб старика.

Возле крыльца, прямо на земле, сидела Даниловна. Обратив черное лицо к небу, она жадно выискивала на его синем бархате какой-то лишь ей одной ведомый знак.

Терентьич тяжело привалился к перилам крыльца, тоже поднял голову вверх.

Чуть правей хвоста Большой Медведицы медленно таяла, теряя свой колючий блеск, крошечная точка звезды.

## Мяг

А потом... был длинный коридор тишины.  
Затеки масляной краски на белых стенах.  
Стерильность серого линолеума.  
Плотно прикрытые двери палат.

И в конце коридора, как из бездны колодца, дверь операционной.

Казалось, на всей планете наступила тишина, словно все люди разом задержали дыхание для огромного, облегченного радостью или стесненного скорбью выдоха.

Так мне казалось тогда, в той вязкой больничной тишине, от которой цепенеет тело и как при погружении на большую глубину больно давит на уши.

Я сидела на корточках, упираясь затылком в холодную стену, и ощущала, как напряженно отчеканивает секунды какая-то взбунтовавшаяся жилка на виске. Глаза резала белоснежность дверей, накрахмаленных чехлов на стульях и креслах, но я упорно не закрывала их.

Стоило мне чуть прикрыть веки, как снова и снова катился на меня красно-зеленый мяч, нахально поблескивая на солнце своими упругими боками. Он разрастался до исполинских размеров, хихикал и звенел скорморощеьм смехом, разбухал и постепенно изолировал меня от всего мира. Я вздрагивала, широко открывала глаза и снова погружалась в белоснежно-крахмальную тишину.

Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Не сразу подняв голову, через белизну зачехленного холла я встретила глазами с женщиной, которая минуту назад коснулась меня своим немигающим взглядом. Она сидела, как-то неестественно вытянувшись, уставившись в одну точку серыми влажными глазами, которые сливались с безжизненным, пепельным цветом кожи. Этой точкой была я. Видимо, лишь минуту назад она

зацепилась взглядом за мою скрюченную фигуру да так и застыла не мигая. Я чувствовала, что она не видит меня сейчас, что глаза ее бессознательно отдыхают на мне от окружающей белизны.

Но, видимо, я ошибалась. Дрогнули уголки плотно сжатых губ, и больничную тишину вспорол неожиданно ровный, противоестественно громкий голос:

— Тушь у вас под глазами размазана. Дать платок? У меня свежий, утром в сумочку положила.

— Что вы сказали? Что?

Пересохшее горло не хотело издавать звуков, и женщина скорей догадалась, чем разобрала мой срывающийся шепот.

— Платок вот. Не побрезгуете? Чистый совсем, утром в сумочку положила. А у вас вон тушь под глазами размазана, — как-то буднично повторила женщина тем же ровным громким голосом.

Я машинально протянула руку, еще не до конца понимая, что я должна сейчас делать. А она сидела напротив, такая же невероятно прямая, словно ее тело не умело гнуться, и протягивала мне аккуратно сложенный носовой платок.

Я оторопело смотрела на подрагивающий пестрый платок в ее вытянутой руке и никак не могла подчинить свои онемевшие ноги приказу двинуться с места. Я чувствовала, как противной змейкой знобко нырнула за воротник струйка пота, ощущала все нарастающую напряженную дрожь в спине от усилий подняться, видела, как незрячий взгляд женщины стал конкретным и сочувствующим.

И вдруг я заплакала. Зарыдала горько и безудержно, зажимая ладонями рот и как бы стараясь запихнуть обратно дикие, отчаянные звуки.

— Тихо, тихо. Не надо так... Даст бог, все обойдется. Вот возьмите платок. Он чистый, утром в сумочку положила. Ну тихо, тихо.

Она гладила меня по голове, совсем как маленькую, и пыталась просунуть между ладоней свой пестрый платок.

Я съехала по стене на пол и, оторвав от лица руки в черных затеках туши, увидела совсем рядом ее пепельно-серое лицо.

Женщина облегченно вздохнула, громко повторила: «Даст бог, обойдется» — и сунула мне в руки платок.



Серая кожа ее лица вдруг словно потрескалась мелкими, разбежавшимися от глаз морщинками. Женщина улыбалась.

«Она немолодая», — пронеслось у меня в голове. И, не умея ответить на ее улыбку, я застонала: «Боже мой, она меня утешает...»

Снова выкатился из придорожных кустов красно-зеленый мяч и покатился, чуть подпрыгивая, упруго и озорно. Придорожная пыль не могла притушить его яркости, и он, круглый, сияющий на солнце, поворачивался то одним своим румяным боком, то выставлял другой, словно соперничая яркой окраской с буйной растительностью, окаймлявшей залатанную свежими заплатками асфальта разбитую дорогу.

«Мама, не раздави мячик», — взвизгнул над ухом Федькин голос, и резким движением руля я повернула машину вправо...

Сейчас мне кажется, что вначале я услышала его пронзительный голос над ухом и только тогда увидела детский мяч, который, чуть подпрыгивая, катился под колеса.

Я повернула резко вправо...

Хотя нет... По-моему, я одновременно заметила прыгающий веселый мячик и услышала над ухом голос сына.

Я повернула резко вправо. Мяч был спасен.

Взметнулся к небу и завис, заполонив собой все, отчаянный голос ребенка, взвизгнули и загнулись тормоза.

— Ой, мамочка, что же ты наделала! — обжег жаром свистящий Федькин шепот.

От приоткрывшейся двери операционной бесшумно отделился человек и заскользил по глянцевому полу неслышной, крадущейся походкой. Сначала за пеленой слез я не разглядела, кто это, и только когда он, приблизившись ко мне, снял с головы зеленую шапочку и почему-то стал опускать засученные по локоть рукава, я узнала молодого человека. Он принял из моих рук обмякшее тело ребенка.

— Вы мать? — голос его, чуть хриловатый, прозвучал мягко и даже ласково.

Я увидела, как проступили на сером лице женщины

багровые пятна. Как, задохнувшись, она не смогла ответить «да», и лишь дрожащие веки на мгновение плотно прикрыли глаза.

Молодой человек в зеленых брюках и таком же коротком халате, туго стянутом поясом, осторожно обнял ее за плечи и мягким, настойчивым движением усадил в кресло.

Склонившись к ней, он что-то стал спрашивать. Я не слышала слов, я только видела, как багровые пятна, проступившие так внезапно на ее лице, множились и расплывались, превращая болезненно-пепельную окраску кожи в пылающую маску.

Взгляд молодого человека обеспокоенно обвел лицо женщины и переключился на меня.

Я почувствовала, что жадно выискиваю в его глазах хоть какую-нибудь определенность, прояснившую бы мне наконец, что же такое я сейчас и как мне быть дальше. Но он, словно прочтя мои мысли, растерянно отвел глаза в сторону и, слегка пожав руки женщины, беспомощно сложенные на коленях, надвинул на брови зеленую шапочку.

Я тоскливо смотрела ему вслед и чувствовала, как с каждым его шагом меня покидает реальное ощущение себя в этом времени и пространстве, именуемом моей жизнью. С той самой минуты, когда я повернула свою машину резко вправо, моя жизнь уже не иллюзорно, а действительно перестала быть моей жизнью. Теперь все зависело от молодого человека в зеленом, от выносливости и физиологических особенностей организма маленького хозяина красно-зеленого мяча, от четкости аппаратов искусственного дыхания и всех других мудреных приборов и, наконец, от какого-то милосердия свыше, от чьей-то непостижимой воли.

Больничные часы на стене, словно прислушиваясь к моим мыслям, насмешливо и укоризненно покачивали маятником.

Я все еще сидела на полу, скособочившись по стенке и так и не найдя силы принять более вразумительную позу.

Тягучие, мяукающие звуки донеслись из кресла, где сидела женщина. Она, видимо, полулежала, и разделяющий нас стол закрывал от меня ее лицо. Я видела лишь плотно сдвинутые колени в простых чулках в ре-

зиночку, тяжелые, натруженные кисти рук, простенькую кофточку, впопыхах надетую наизнанку.

Женщина пела. Пела колыбельную.

Протяжными, неуместными звуками знакомой детской песни вошел в меня ужас.

Ему, убаюканному сильным наркозом, предназначалась эта колыбельная. Извечное, незатейливое выражение материнской любви.

Я тоже пела колыбельную моему Федору.

«Мамочка, мне никак не засыпается. Переверни подушку холодненькой стороной и спой песенку», — просил он меня своим притворным, нежным голосочком. И я пела. Используя известный мотив, я сочиняла каждый раз новые слова и сама поражалась собственной фантазии.

А потом... я перестала петь ему песни.

Тогда мне уже не пелось.

Прорвав зыбкую преграду недозволенности, впервые за полтора года вернулось ко мне тогдашнее ощущение свежести морозного воздуха, покалывающего холодка на щеках от заиндеветого меха на воротнике. Как тогда, я вдруг захлебнулась от глубокого вдоха и закашлялась...

Ткнулась и закрыла рот его мягкая ладонь, и проворчал над ухом нарочито сердитый голос:

— Дышать через нос. Всем непослушным зайцам велено дышать только носом.

Мы шли в кино. Валька и я.

Нам редко удавалось вырваться из дома вдвоем. Сын Федор, по соображениям бабушек с обеих сторон, был абсолютно не детсадовским ребенком. Его утомлял коллектив, и повышенная нервозность отрицательно влияла на аппетит и сон. Поэтому я выполняла свой долг, зверея от сидения дома и уповая на то, что хоть в одной из бабушек проснется задремавшая совесть и уход на пенсию освободит меня от монотонного, надоевшего образа жизни.

Моя ближайшая подруга Майка сурово внушала мне, нацеливая прямо в сердце указательный палец с постоянно облупленным кроваво-красным лаком.

— Варвара, ты жутко бесхарактерная. Твой Федор — самый здоровый ребенок на свете.

В этом месте она всегда поплевывала через плечо и

стучала по крышке рояля в ответ на мой испуганный взгляд.

— Тебе можно внушить что угодно. Бабкам, ясное дело, неинтересно ковыряться целыми днями по хозяйству, а Валька твой, как всегда, у матери на поводу.

Майка преувеличивала. Валентин совсем не был на поводу у матери. Он просто очень любил, когда я была дома. А я очень любила Вальку.

Когда Федор был совсем маленький, Валька как угорелый мчался с работы, чтобы самому окунуть его розовое пухлое тело в ванночку. Этого он не мог уступить никому.

— Варь, ты посмотри, какой у него осмысленный взгляд. Он все понимает — это факт. И такой складенький. Ей-богу, я говорю объективно, я таких потрясающих детей не встречал.

Я тихонько смеялась, глядя в его возбужденное, вспотевшее лицо с сияющими, в пол-лица глазами... В его глазах для меня отражался весь мир...

И вот мы шли в кино... После двух недель ангины я впервые вышла на улицу, и у меня блаженно шла кругом голова от свежего морозного воздуха.

Короткий зимний день растворялся в подкрававшихся незаметно сумерках. Я больше всего любила это время суток, когда очертания домов, силуэты людей и деревьев становились зыбкими и загадочными и появлялось вдруг какое-то сладкое, щемящее предчувствие чуда.

Словно этот короткий пересменок одарял природу загадочными полутонами для того, чтобы человек вдруг почувствовал от этой недосказанности легкую, как тень, неосознанную тоску по совершенству, когда хочется законченности ускользающих, плывущих линий, завершенности распадающихся форм, доведения всего этого странного состояния природы до определенности.

Как будто ему неизвестно, какое горькое разочарование ждет его, будь природа подвластна его желаниям, и в один прекрасный день подарит ему страстно им желаемую гармонию законченной модели мира.

Под ногами уютно хрустел снег, и каждый шаг отдавался внутри меня какой-то неясной тревогой. Я приписала это тогда моим любимым, щемящим сердце сумеркам. Уже потом я поняла, что моя чуткая природа бережно готовила меня к наступающей беде.

...Фильм был дурацкий, но это было неважно. Мне было уютно в полутемном зале маленького кинотеатра рядом с Валькой, и я часто отрывала глаза от экрана и глядела на его голубоватое от призрачного света лицо. Он перехватывал мой взгляд, улыбался и легонько сжимал мои пальцы.

Наверное, минуты счастья, в конце концов, уравниваются черными полосами в жизни человека.

Я не должна была так радоваться своему безоблачному, тихому бытию, не имела права за шесть лет совместной жизни с Валентином не привыкнуть к нему и так по-детски шумно заходиться от восторга, когда он просто возвращался с работы.

И тогда, в маленьком зале кинотеатра, я не должна была так преданно и самозабвенно ловить его рассеянный взгляд.

Теперь я стала мудрей и стараюсь праздники превратить в будни, а счастливые минуты, вдруг озаряющие кратковременными подачками мою жизнь, пытаюсь принимать без суеты и внешних выражений, с затаенным суеверным страхом за следующий день.

Когда мы вышли из кинотеатра, на улице огромными пушистыми хлопьями валил снег.

— Вот в такую погоду нехорошая Снежная Королева унесла несмышленого Кая в свое ледяное королевство, — растягивая по-сказочному слова, пропел на ухо Валька. Заботливо опустил козырьком отворот моей меховой ушанки, чтобы снег не лепил глаза, и продолжал нарочито серьезным тоном: — А знаешь, Варвара, чем больше я думаю об образе этой женщины, отданной великим сказочником на вечное осуждение детей и взрослых, тем больше сочувствую ей. По сути дела, Варвара, она была неплохая баба, эта Снежная Королева. Ну что делать, если она хотела ребенка, а своих детей у нее не было. Еще бы, мил моя, всю жизнь провести во льдах — ясное дело, детей не будет. А ей хотелось ребенка, и она полюбила маленького кудрявенького Кая, — продолжал дурачиться Валька.

А я почему-то вспомнила, как летом на одной из узеньких московских улиц выползали гуськом из ворот какого-то особняка на прогулку дети. Все они были в одинаковых бумазейных одежках и ковыляли на еще не окрепших ножках, серьезные и молчаливые, держа друг друга за платья.

Солнечные лучи зажимали детские мордашки в смешные гримасы, и только один малыш не щурился от солнца и отважно распахивал огромные глаза навстречу льющемуся нестерпимому свету. На его тоненькой шее трогательно покачивалась тяжелая кудрявая головка, а весь он был темно-шоколадный, с пухлыми вывернутыми негритянскими губами, со смешными розовыми ладошками черных рук.

Его блеклый детдомовский костюмчик нелепо болтался на худеньком теле. А он тянул вверх свои розовые ладошки и что-то, захлебываясь, лепетал. Наверное, он чувствовал знакомое его крови тепло и радовался солнцу как давнему, доброму приятелю.

Я не могла отвести глаз от негритянского малыша и совсем не замечала, что по моему лицу текут слезы. Валька тянул меня за рукав, а я стояла посреди тротуара и глядела вслед удаляющейся цепочке детей.

Потом я часто приходила к воротам Дома ребенка и выискивала глазами «своего» негритенка. Я смотрела, как ловко снует он среди детей на длинных тоненьких ножках, и испытывала какое-то чувство гордости, глядя, как проворными гибкими движениями насыпает он в формочки песок или бросает камешки.

Я жалела его так, что иногда чувствовала, как не выдерживает этого чувства мое готовое лопнуть сердце.

Детей уводили, а я, еле передвигая ноги, с трудом добиралась до дома.

Я понимала тогда, что во мне неумолимо и настойчиво зрело решение. Я была готова ответить на все разумные доводы и соображения здравого смысла.

Но совсем скоро появился на свет Федор. Мой законный сын Федор...

— И вот представь себе, Варвара, как мечется эта бедная женщина в своем заснеженном царстве, как тоскует ее ледяное сердце по Каю. И вот однажды... Чего ты, Варь? — Валентин обеспокоенно заглянул в мое мокрое от растаявших снежинок лицо.

Я улыбнулась.

— Ну, слава богу. А мне уж показалось, что моя трактовка образа Снежной Королевы так тебя потрясла, что ты аж слезу сронила. Не роняла, а? Плакса-вакса-гуталин?

— Не роняла, нет. Не надейся. Мороженого хочу, вот что.

— Чего? — Валькин голос сорвался от возмущения.

— Валечка, хочу мороженого. Вон киосчек синется.

— Варвара, даже не надейся... — прокашлялся и грозно начал Валька. — Ты что это расхрабрилась? Вчера из койки — и опять туда же тянет? А потом, смотри, сколько таких же гавриков неразумных киоск облепило. Полчаса в очереди проторчишь...

— Валечка, миленький, я его в блюдечке растаю, как Федору, — канючила я, замедляя шаг, и, наконец, совсем остановившись, с хорошо прозвучавшей обидой сказала: — Ты же знаешь, как я обожаю талое мороженое... А тебе... тебе просто не хочется несколько минут постоять в очереди.

— Талое мороженое она, видите ли, обожает со страшной силой. Ты его еще вскипяти, — ворчал, но постепенно сдавался Валька. — Ну ладно, так и быть. Итак, сегодня вечером состоится грандиознейший эксперимент — кипяченое мороженое как эффективнейшее средство от ангины. Спешите видеть!

И Валька, оставив меня на тротуаре, помчался на ту сторону улицы, к синему киоску с мороженым.

Я видела, как он что-то спросил у девушки в белом пуховом платке. Блеснули черные раскосые глаза из-под заснеженного платочка. «Наверное, спросил, она ли крайняя?» — подумала я тогда.

Но крайней оказалась я.

Совсем скоро мой Валька ушел от меня навсегда к девушке в белом пуховом платке.

Я даже не плакала, когда Валька, запинаясь и путаясь в словах, что-то пытался объяснить мне. Мне ничего не надо было объяснять. Я все прочла в его отсутствующих горячечных глазах.

Только несколько недель спустя, когда Валька забрал из нашей квартиры рояль и на его месте появилась пустота, я поняла, что он ушел навсегда.

Как безумная я повторяла снова и снова одну фразу:

— Как же так? Ведь если бы я не захотела мороженого... Как же так?!

Как же так?! Ведь если бы я не повернула руль резко вправо... Как же так?!

«Тики-так», — укоризненно отвечали мне больничные часы. А я, в ритм их равнодушному маятнику, раскачивалась по уходящей из-под спины холодной стене.

Женщина оборвала вдруг колыбельную, и опять меня поразил ее ровный, спокойный голос:

— Простите, я не расслышала. Вы хотите мороженого?

Женщина привстала со своего кресла, и над белой крахмальной скатертью появилось ее горящее лицо.

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом женщина, доверительно перегнувшись ко мне над столом, кивнула головой в сторону операционной:

— Вы слышали... Он сказал, возможно, будет нужна кровь. Если им не привезут. Верней, если не успеют привезти... До того, как она им понадобится, — помолчав, тихо добавила она.

Я встrepенулась, попросила шепотом:

— Можно мне?

Женщина понимающе кивнула головой:

— Да, да, я и подумала, что тебе бы надо. Хоть немного от души отлегло бы. Только подойдет ли группа крови. И потом...

Женщина вдруг замолчала, ее взгляд ушел от меня. Глаза стали невидящими и немигающими.

Я поняла, что значило это «и потом...».

Разве могла бы я позволить кому-нибудь на свете отдать кровь моему ребенку, случись с ним такое, если бы во мне оставалась хоть капля собственной крови, так необходимой ему?

Женщина заговорила своим громким ровным голосом спокойно и монотонно, как будто продолжала только что прерванную речь:

— А однажды притащил домой снежного зайца. Представляете? С угольками вместо глаз, с замерзшей бусинкой шиповника на месте носа. Он так радовался этому зайцу, что никак не хотел верить, что заяц растает. Представляете? Для него казалось совершенно невозможным, что его заяц может превратиться в лужу воды... Он не верил в это... Представляете?

Я хотела представить, но не могла. Я ведь не видела его... живым.

Я повернула руль резко вправо...

Взвизгнули и загнулись тормоза.



Взметнулся к небу и завис, заполнив собой все пространство, отчаянный голос ребенка.

Он лежал ничком, уткнувшись головой в вытянутые руки и подобрав под себя ноги, словно приготовившись к прыжку.

Валялись в пыли маленькие очки в железной оправе с искореженными от удара дужками и каким-то чудом уцелевшими, залепленными песком стеклами.

Мяч был спасен...

— Ой, а однажды откусил градусник. Представляете? Я ему поставила температуру померить, а он взял и откусил самый кончик. Тут же испугался, выплюнул и под подушку запрятал. Я говорю: «Валечка, давай градусник сюда». А он отвечает тоненьким голосом таким: «Я его съел, мамочка». Представляете?

Женщина засмеялась.

...Я подняла его обмякшее тело, отвела с лица пряди волос. Рядом, не мигая, прижав к груди красно-зеленый мяч, умоляющими глазами смотрел на меня сын Федор. Он словно просил меня, единственное в его детском восприятии всемогущее существо на свете, сейчас же, сию минуту прекратить то непонятное и страшное, что происходило с нами.

Почему-то нигде не было крови.

Я стояла, прижимая к себе безжизненное тело мальчика, и, озираясь вокруг, лихорадочно пыталась понять, почему же нет крови и как это, когда нет крови...

— А может, и теперь обойдется?

Голос женщины, ровный и громкий, словно прорвал вдруг во мне какую-то давно сдерживаемую преграду.

Я почувствовала, что ненавижу ее за этот нормальный, ровный голос, за старорежимные чулки в резиночку, за багровое пятнистое лицо с кроткими серыми глазами, за простенькую кофточку наизнанку.

Зачем она истязает меня своим смирением?

Я была бы благодарна ей за перекошенное ненавистью лицо, за желание раскроить мне череп, выцарапать глаза, уничтожить физически. Ведь я для нее существо, посягнувшее на жизнь ребенка.

— Вашему-то сколько? Уже годков семь небось? — снова перегнулась ко мне через стол женщина.

— Восемь.

В прошлом году Федор пошел в первый класс.

Я любила первое сентября и всегда выходила из дома рано утром, чтобы увидеть, как оживлялись пустынные арбатские переулки.

Утреннюю полудрему отвыкших за лето от школьного гама переулков сначала нарушало шествие важных первоклашек. Страх опоздать на первый в жизни урок выгонял их на улицы задолго до положенного часа. Позже возникали старшекласники с притворно-равнодушными лицами и неестественно-плоскими папками под мышкой. Звенели возбужденные голоса хорошеньких десятиклассниц в накрахмаленных передниках, раздавался стремительный перестук каблучков, переиначивая размеренный ритм жизни староарбатских переулков. И даже вечно нахмуренные фасады сникших домов оживлялись, модели, жадно впитывая дряхлыми стенами звук молодых голосов.

В это утро у меня всегда сладко замирало сердце и каждый шаг отдавался в груди какой-то особой, мучительной радостью. И только после того, как пустели переулки и становилось грустно и одиноко, я брела в скверик Гоголевского бульвара и долго сидела на скамейке рядом с длинноносым, устало уронившим на грудь голову бронзовым человеком.

«У тебя какая-то задержанная инфантильность», — насмешливо говорил Валентин, не понимая моей жгучей тоски по ушедшей навсегда школьной жизни.

В то первое сентября, когда, сжимая в руке потную от волнения ладошку Федора, мы шли в школу, я увидела Валентина впервые за длинный год жизни без него.

«...Да, Варвара, — говорила моя подруга Майка, глядя на меня жалостно сквозь толстые стекла очков, — прав Голсуорси, что «самый тяжелый жребий, который выпадает на долю человека, — это любить слишком сильно». Ты уж совсем заиклилась на нем. Глядеть на тебя без слез невозможно. Ты же счастливая женщина — у тебя такой сын: здоровый, красивый».

Майка оглядывалась по привычке в сторону рояля, по которому в ответ на мой предупреждающий взгляд всегда стучала своим облупленным кроваво-красным ногтем, и, проваливаясь взглядом в пустоту, виновато вскидывала на меня глаза.

Рояль был единственной вещью, которую забрал

Валька из нашей квартиры. Ему надо было играть по многу часов в день. Валька был отличным пианистом.

«Звонил папа, — радостно докладывал мне Федор. — Придет в пять часов. Купил мне фонарик и настоящую охотничью фляжку».

Я уходила из дому и отправлялась к Майке, чтобы пересидеть его не очень затягивающиеся визиты.

Возвращаясь домой, я мучительно и обостренно ощущала его присутствие.

Уходила в ванную, включала воду и долго глядела на свое пустоглазое отражение в зеркале, пытаюсь унять мелкую, противную дрожь в теле.

Я понимала, что со мной случилась беда.

Настоящая, большая беда.

И тогда, чувствуя в своей руке влажную руку сына, я увидела Валентина впервые после бесконечно долгого и самого бессмысленного года жизни из всех прожитых мною.

Он ждал нас на улице.

Я видела, как он побледнел, как напрягся, чтобы не выдать волнения. Он смотрел на нас исподлобья, даже не пытаюсь улыбнуться, пока мы переходили дорогу, показавшуюся мне длиною в тот бесконечный год.

Он был одет в чужой серый костюм, незнакомый черный свитер, а лицо было все такое же. Самое дорогое на свете лицо... Лишь тоненькими паутинками опутывала легкая седина его всегда темные виски.

— Здравствуй, Варя! — Валентин попытался улыбнуться, а уголок губ задергался, запрыгал знакомо.

— Здравствуй, Валя! — поспешно кивнула я и опустила голову, чтобы не кинуться к нему, не обхватить его шею и не прижать привычно губы к его прыгающим уголкам рта.

— Ну как ты, школьник? — Валька подхватил на руки Федора.

Больше мы не сказали друг другу ни одного слова.

Взволнованный, но не притихший Федор, разбежавшись, тяжело зависал, поджав ноги и крепко вцепившись в наши руки. Но мне даже не было тяжело.

В ушах звенело. Вокруг в дикой пляске неслись машины вперемежку с прохожими. Кренились и падали беззвучно дома. Извивались, переплетаясь, фонари с телеграфными столбами в обнимку. И во всей этой ме-

чущейся фантасмагории неподвижным был тяжелый гвоздичный запах.

Я теперь ненавижу гвоздики с их горьким, мучительным запахом, от которого нет спасения...

Замаячила у дверей операционной зеленая фигура и через несколько секунд приняла очертания грузной женщины, видимо медсестры.

— Надежда Павловна, пройдите, пожалуйста, за мной, — пригласила она женщину и, удивленно взглянув на мою скрюченную фигуру, исчезла за дверью.

Сразу же зазвенели пробирки и какие-то инструменты, а женщина взглянула на меня растерянно и беспомощно и, заправив за уши выбившиеся пряди волос, торопливо пошла следом.

Странно, но одной мне почему-то сразу стало легче. Перебирая ладонями за спиной, я с трудом поднялась на ватных, негнувшихся ногах и заковыляла к туалету, тяжело опираясь на спинки зачехленных стульев.

Бесшумно закрылась за мной дверь туалета. И мы смотрели в упор друг на друга. Та, что по ту сторону зеркальной границы, — с усталым лицом, покрасневшими веками пустых полуприкрытых глаз, с черными разводами туши на впалых щеках, с плотно сжатыми полосками бескровных губ, и я. Мы долго смотрим друг на друга. И чем дольше я изучаю ее лицо, худые руки с чересчур длинными кистями, повисшими вдоль тела, чем пристальнее вглядываюсь я в это чужое мне человеческое существо, тем отчетливей и неизбежней начинаю чувствовать дикую неприязнь к ней. Потом сквозь неприязнь начинает робкими толчками пробиваться страх. Та женщина, лишенная жизни, воли, — не я. Это очевидно.

Но где же тогда я? В каких неведомых зазеркальных мирах затерялось это «я» и что такое я, если оно может так просто и безнадежно просочиться, ускользнуть сквозь недремлющие тиски сознания? Я лихорадочно начинаю двигаться, чтобы вдохнуть жизнь в застывшее, ненавистное мне существо по ту сторону зеркала. Я даже пытаюсь улыбнуться своему отражению и тут же в ужасе зажмуриваю глаза, чтобы не видеть страдальческую гримасу, исказившую лицо той женщины.

Я зажмуриваю глаза. Хихикает, звенит, заливается

скоморошечьим смехом выкатившийся из придорожных кустов красно-зеленый мяч.

Он растет в размерах, вытесняя собой постепенно весь мир...

Я резко открываю глаза и, мужественно глядя в лицо чужой женщины, без тени жалости, трезво говорю ей: «Но ведь я была...»

Лицо женщины чуть вздрагивает от неожиданного звука моего голоса, а в пустых, умытых слезами глазах начинает осмысленно трепетать надежда.

Глаза чуть прищуриваются, и я вдруг замечаю ее упрямый подбородок, твердый овал лица и глубокую умную морщинку, взрезавшую высокий чистый лоб.

Но вот постепенно прищур глаз исчезает, вялая кожа на лице напрягается, легкий румянец трогает щеки, и в распахнутых глазах я вижу себя.

За моей спиной бесшумно открылась дверь, и в зеркальном отражении рядом появилась грузная фигура медсестры.

— Что? — я резко повернулась к ней, уловив в ее глазах тревогу.

Медсестра ответила не сразу.

— Что? — снова спрашиваю я и с удивлением слышу, как требовательно и резко звучит мой голос.

— Мальчик-то не родной ей, оказывается. Поэтому ни группа, ни резус крови не совпадает. А она от этого совсем обезумела. То молодцом держалась, а как узнала, что ее кровь ему чужая, так ей и стало дурно. — Медсестра тяжело вздохнула. — И чего только за дежурство не насмотришься, не приведи господь кому близкому такого пожелать. А у этой женщины еще старший, тоже приемный, в армии служит. Да тот, говорит, с малолетства крепенький был, а этому не одну бессонную ночь отдала — еле выходила: такой квелый попался. Я-то думаю, и не попался, а из жалости самого хлипкого и забрала. Доброе у нее сердце.

Выползли гуськом из подворотни малыши в одинаковых платицах и костюмчиках блеклой старушечьей расцветки. Растянулись по переулку нескончаемой шеренгой, держа друг друга за подол платья. Блеснули на солнце черные распахнутые глаза негритенка. А из кустов уже катился огромный красно-зеленый мяч, заполняя собой и негритенка, и нескончаемую шеренгу.

детдомовских детей, и широкое скуластое лицо грузной медсестры.

Я хваталась руками за скользкий кафель, а голос медсестры безжалостно исхлестывал, исходил досадой и гневом:

— Очень, видать, доброе у нее сердце. Вас она жалеет. Как же, говорит, ей, бедной, дальше-то жить. Может, говорит, и правда ее кровь пригодится. Полегчает ей от этого. — Медсестра резко перехватила мое сползающее, безвольное тело, сердито блеснули ее глаза. — А я бы на ее месте возненавидела, убила бы, ей-богу. Хотя и понимаю, вроде бы и никто не виноват... — Сильно тряхнула меня за плечи и приказала отрывисто: — А ну-ка стойте! Возьми себя в руки. Какая группа и резус, знаешь? Нашей больничной крови действительно может не хватить. Там случай тяжелый, и руки золотые могут не помочь. Сама Юлия Константиновна оперирует. Это, можно считать, повезло. У нее самой детишек нет, так она уж так над чужим трясется. Я в послеоперационной дежурю, так она среди ночи раза три обязательно из дома позвонит — как да что. А то и примчится вдруг ни свет ни заря. И вот тоже беда — детей любит, а своих бог не дал. — Медсестра посмотрела на меня укоризненно, словно это я была виновата в том, что хирургу Юлии Константиновне бог не дал детей. — Хотя еще молодая она, тридцать пять только недавно стукнуло. Все еще может быть.

Я торопливо кивнула головой и протянула медсестре свой паспорт, в котором на последней страничке были проставлены показатели моей крови. На этом когда-то настоял Валька.

«Понимаешь, Варвара, легкомысленность — это неотъемлемое качество женского характера. Я тебя убедительно прошу, будешь в поликлинике — зайди в регистратуру. Это две минуты, не больше. — Валька вытаскивал указательным пальцем из-за моего уха прядку волос и, сложив губы смешной дудочкой, дул на мою непослушную челку. — Нет, правда, Варька, столько вокруг всяких несчастных случаев. А не дай бог, с Федором что-нибудь стрясется. Пока-то они все анализы возьмут...»

Валька был жутко осторожным и предусмотрительным. Казалось, он все предусмотрел в нашей жизни.

Кроме одного... Даже он, со своей трезвой головой, не сумел бы теперь сказать, как мне жить без него дальше. Я все еще не могла, не хотела понять, как это возможно, чтобы только для меня могла случиться беда. А для него? Счастье? Такое же, как было когда-то у нас? Невозможно. И чтобы он так же вытаскивал из-за уха на щеку прядку ее волос, и чтобы так же сдувал со лба челку. Невозможно.

— Варвара, считай, что он умер, если уж так изнашиваешься. Нет его, мол, и все, — говорила мне Майка. — И увидишь, что начнешь отвыкать от него.

Я молча смотрела, как сквозь толстые стекла очков полощется синева добрых Майкиных глаз, и мысленно отвечала ей, себе, всему свету: «Разве можно отвыкнуть от того, что любишь».

Я никогда не верила, что можно свыкнуться со смертью любимого человека. Никогда не понимала формулировки, что время излечивает от всего. Наверное, время способно залечить болячки, но оно невластно над огромной, неиссякающей болью. Я всегда пытливо вглядывалась в лица моих знакомых, потерявших близких, и пыталась проникнуть в их вторую, скрытую от посторонних глаз, жизнь, в которой навсегда поселились боль и отчаяние, в которой царит изматывающая лихорадка бессонных ночей.

Эти усилия расшифровать двойственность существования тех моих знакомых были для меня не праздным любопытством. Слово уже тогда примеривала я на себя их тоску и отчаянье. У меня заходило сердце от сострадания, но это были чужие мерки, скроенное не по мне одеяние, которое свободно соскальзывало с плеч.

Теперь я была, подобно средневековому рыцарю, закована в мою боль, как в латы, которые постоянно холодили сердце своей опоясывающей железной тяжестью, притупляли обычные реакции и вынуждали прилагать мучительные усилия для самого элементарного движения.

Медсестра перелистала странички моего паспорта и, молча кивнув головой, скрылась за дверью. Я подошла к окну. Прохладность стекла блаженно остудила горящий лоб. Больничный двор жил своей деловой, будничной жизнью. Два санитара в синих халатах разгружали грузовик с матрасами. У двери с табличкой «Прием-

ный покой» стояла «скорая помощь» с синей реанимационной лампочкой. В середине двора под разлапистым деревом на скамейке сидели больные — пожилые мужчины и женщины в полосатых пижамах. Возле них, грациозно потягиваясь, гуляла пушистая трехцветная кошка. Подходя к дереву, она вытягивала длинные задние лапы, а передними упиралась в ствол и лениво точила свои когти.

«Федор опять забудет покормить Кошмарика», — подумала я, глядя, как трехцветная кошка упруго цепляется за ствол дерева.

Кошмар появился в нашем доме, когда Федору исполнилось три года. «Боже мой, какой неудачный подарок, — вздыхали бабушки, разглядывая маленького сямского котенка, которого принес Федору в день рождения Валькин приятель. — Это не кот, а кошмар какой-то».

Котенок был некрасивый, тощий, с холодными голубыми глазами. Когда Валька попытался погладить его, спина котенка моментально выгнулась пружинисто, и он заорал истошным, дурным голосом. Характер у кота оказался диким и неуживчивым, хотя все мы восхищались его умным, расчетливым коварством. Кошмар улучал момент, когда я уходила с кухни, оставляя на плите жарящиеся котлеты или мясо, и за время моего короткого отсутствия умудрялся стащить со сковородки все содержимое, задвинув после себя обратно крышку. После содеянного он не прятался, не чувствовал себя виноватым. Он сидел, облизываясь, посередине кухни и глядел на меня, не мигая, своими яркими наглыми глазами.

Как только Валька открывал крышку рояля, Кошмар взвивался в одну секунду на рояль и начинал стремительно носиться по клавишам, извлекая из них чудовищные звуки.

Я сердилась, Валька улыбался, а Федор катался по дивану, задыхаясь от смеха.

Единственным существом, которое обожал Кошмар, был Федор. Ему позволялось все. Федор возил кота за хвост по комнатам; вернувшись из цирка, устраивал с ним акробатические этюды, в которых все воздушные кульбиты выпадали на долю кота; и он же был постоянным клиентом Федора в его зубоврачебном кабинете. Мы с Валькой ходили искушенные и исцарапанные, а



Федор закладывал Кошмарику в пасть свои тоненькие пальчики и разыгрывал знаменитого дрессировщика уссурийских тигров, и коварный кот кротко переносил и это испытание.

Через два года пребывания Кошмара в нашем доме они с Федором даже стали чем-то походить друг на друга. «Все правильно, — утверждал Валька, — животное обычно становится похожим на своего хозяина. Если, конечно, они привязаны друг к другу». Они были очень привязаны друг к другу, Федор и его уссурийский тигр.

Но однажды случилось несчастье. Мы жили на даче, когда Кошмар вдруг исчез. Искали его везде и всюду. Валька, рискуя сломать себе шею на скользкой покатой крыше, даже слазил в трубу, но и там не обнаружил нашего злополучного кота.

Тщетно бродили мы с Федором по окрестностям нашей дачи, напрасно шарили по канавам и оврагам, с надеждой заглядывая в глаза прохожим, каждый раз получали отрицательный ответ. Никто не встречал тощего сямского кота с пепельного цвета шерстью, белой мордочкой и двумя черными пятнами на спине.

Два дня Федор ничего не ел, а ночью ворочался с боку на бок и тяжело вздыхал, совсем как взрослый. Просыпаясь утром, я видела его широко открытые глаза, устремленные в потолок без малейшего признака сна. Наш сын Федор страдал, а мы ничем не могли помочь ему. Я предложила даже взять другого котенка точь-в-точь похожего на Кошмара. Но Федор не удостоил меня ответом. Он внимательно и долго смотрел на меня своим взрослым взглядом, словно жалел меня, и, как ночью, тяжело и протяжно вздохнул.

Наутро третьего дня, когда еще рассвет чуть коснулся дремлющей природы, Федор сел на своей кровати и громко сказал: «Я знаю, где он».

Через пять минут мы уже шагали вслед за Федором по росистой прохладной тропинке в лес. Мы с Валькой были поражены той уверенностью, с которой вел нас Федор по незнакомому для него месту. Иногда мы ходили в этот лес собирать землянику и грибы, но лес был огромный и сориентироваться было невозможно. Несколько раз Федор останавливался, переводя дыхание и словно прислушиваясь к непонятному шуршащему языку трепетавших на ветру деревьев. А может быть,

он просто слушал себя. Мы молча переживали его внезапные остановки и снова послушно, почти бегом следовали за ним.

Наконец Федор вывел нас на небольшую поляну и остановился, задрал голову и напряженно вглядываясь в верхушки деревьев. Мы тоже, подняв головы, смотрели, как плавают в голубоватом рассветающем небе гибкие верхушки сосен. Федор удовлетворенно, по-мужски крикнул и указал пальцем на одну из сосен. Там, на высоте, где кончается голый ствол и разлаписто шевелят ветвями дерева, сидел, свесив вниз свою голубоглазую жалкую морду, наш уссурийский тигр.

Потом Валька бегал в деревню за пилой. Оказалось, что наш Кошмар сидел на недостигаемой высоте. Ствол был гладкий, без сучка и задоринки, ноги при попытке влезть скользили, а толщина ствола не позволяла удобно обхватить его ногами.

Звеняще взвыла пила в последний раз, и сосна тяжело обвалилась, рухнула со стоном, перегородив поляну и распластав беспомощно свои мохнатые лапы. Она лежала, как большой раненый зверь, насытив воздух свежим ароматом своей израненной древесной плоти.

Кошмар сделал головокружительный прыжок, когда сосна еще находилась в состоянии падения. Он буквально взвился к небу, нелепо перебирая в воздухе лапами, и плюхнулся на землю прямо в мягкий глубокий мох рядом с сияющим Федором.

Обратно на дачу вернулись лишь к полднику. Обесиленный переживаниями, Федор с трудом передвигал ноги, крепко прижимая к груди своего кота. В итоге Валька нес Федора, Федор — Кошмара, а я плелась сзади, мучительно соображая, как же так получилось, что Федор вывел нас на эту поляну.

Позже я спросила его об этом. Он сосредоточенно сморщил лоб, словно не понимая, о чем идет речь, и снисходительно пояснил: «В жизни, мамочка, еще и не такое бывает». Больше он не желал говорить на эту тему, мой взрослый шестилетний Федор, предоставляя нам с Валькой теряться в догадках и предположениях.

Трехцветная кошка на больничном дворе пружинисто вспрыгнула на колени к пожилому человеку в пижаме и уютно свернулась калачиком. Изможденное, бледное лицо больного заулыбалось, его большие руки бережно поглаживали пушистую шерсть. Мне показало-

лось даже, что я слышу, как урчит и мурлычет разомлевшая кошка. Взгляды сидевших на скамейке больных смягчились, как-то даже просветлели.

Я подумала, как все меняется в изолированном больничном мире в психологии людей. Как ранее незначительное становится важным, а, казалось бы, такое главное превращается в сущий пустяк. Как расставляет свои смысловые акценты и корректирует по своему этот больничный мир. И отшвырнутому в сердцах пинком бездомную кошку суждено в этой, другой жизни с нежностью не сводить глаз с животного, несущего в себе удивительную энергию жизни.

С сожалением оторвав лоб от прохладного стекла, я вернулась в холл.

Опустилась в мягкое кресло и, утонув в его грузных объятиях, вдруг почувствовала, что очень хочу спать. Но я знала, что в той «заресничной стране» притаился и ждет моей оплошности звенящий красно-зеленый мяч. Я даже слышала, как тихонько подрагивает он своими упругими боками, как рассыпает почти беззвучно свой отвратительный скоморошечий смех. Чувствовала, как напряженно караулит он меня, чтобы заслонить собой весь мир, провались мое сознание в головокругообъемную бездну небытия.

Наверное, я задремала с открытыми глазами, потому что внезапно сильно вздрогнула, словно кто-то больно толкнул меня в грудь. И вдруг во всей очевидности снова обрушилась на меня реальность.

По какому-то дикому совпадению мальчика звали Валентином.

«Валька с Варькой» — называли нас наши друзья. А теперь мы были по отдельности. В восприятии наших бывших общих друзей нас ничто больше не объединяло, даже Федор. Все как-то удивительно быстро привыкли к тому, что теперь только мы с Федором.

«У Варьки с Валькой сегодня концерт», — говорили наши друзья. И это было правдой. Неизвестно, кто больше волновался: Валентин с подрагивающими, уже размятыми перед концертом пальцами или же я, неизменно восседавшая в первом ряду с пылающими ушами и непереносимой сухостью в горле.

«Ты у меня, Варька, хоть и технарь, а музыку чув-

ствуешь удивительно», — похваливал меня Валька, выслушивая мои соображения и замечания после очередного концерта.

Теперь я часто натывалась на его афиши. Словно нарочно их расклеивали там, где я бывала.

Я жадно впивалась глазами в свеженапечатанные листы афиш, словно пытаюсь сквозь них заглянуть в теперешнюю Валькину жизнь. Привычные имена Моцарта, Листа, моего любимого Шопена вытеснились Скрябиным, Прокофьевым, Равелем, Дебюсси.

Я стояла подолгу перед афишами и сквозь огромные чернильные буквы его имени с конкретностью галлюцинации видела его, сосредоточенного, с откинутой головой и полуприкрытыми глазами, сидящим на самом краешке концертного стула.

Вот он замер на мгновение, кажется, даже перестал дышать, а потом бросил резко гибкие кисти на клавиши и, уже спокойный, величественный, отключился от всего мира, одухотворенный завораживающими звуками своей музыки.

Валька всегда приносил домой свои новые афиши, еще пахнувшие типографской краской.

Мы крепили их кнопками к стене. И я, вдыхая в себя их сладковатый запах, с ужасом ощущала, как входило в меня неясное предчувствие того, что пройдет время, и я, чужая Вальке, наткнувшись, слоняясь по улицам, на кричащие буквы его чернильного имени.

Что это было? Не знаю. Впрочем, я всегда чувствовала, что останусь одна. Не потому, что ему было плохо со мной. Просто я, наверное, не была способна высветить в его глазах то вдохновенное сияние, которым лишь за роялем озарялось его лицо.

«Ну что, плакса-вакса-гуталин? — встречал меня возбужденный Валька в своей уборной после концерта и, слегка касаясь губами моего распухшего лица, приговаривал ласково: — Я-то никак не могу понять, что за аккомпанемент примешивается к моей балладе. А оказывается, это Варвара моя носом хлюпает. — И уже серьезно: — Ну давай, наговори мне чего-нибудь».

И я «наговаривала». Я всегда считала себя полным профаном в музыке, и только когда в мою жизнь ворвался Валька со своим музыкальным миром, я поняла, что чувствую музыку кожей. Я не делала для этого никаких усилий. Я просто знала, что музыка — это он,

мой Валька, и чувствовала ее так же обостренно-радостно, как и его.

Теперь я боялась музыки и в ней же искала спасенья. Я ощущала, как происходило освобождение от моих оков с проникновением в меня мудрой, грустной шопеновской музыки. Располагаясь во мне, эти волшебные звуки свершали некое очищение. Я начинала чувствовать себя свободной, щедрой, великодушной. Во власти музыки мысленно желала я счастья Вальке и, как в религиозном иступлении, казнила себя за отсутствие способности моего духа приносить жертву ради жизней других людей.

Но вместе с умолкавшими звуками кончался мой покой. И снова дано мне было ощущать свое стесненное дыхание под прессом опоясывающих средневековых лат.

Грузная медсестра выглянула в коридор и молча махнула мне рукой. Когда я подошла к ней, мне показалось, что взгляд ее стал мягче. Жестом пригласила она меня в кабинет. Видимо, это была лаборатория. Здесь тоже царила белоснежная стерильность, застекленные шкафы с пробирками и медикаментами, разложенными в строгом порядке, тянулись вдоль стен, и воздух был какой-то эфирно-йодистый, типичный запах больницы. В соседней маленькой комнатке с полуприкрытой дверью стояла перед распахнутым окном женщина с серым лицом. Она смотрела на больничный двор, где санитары носили матрасы, синела своим тусклым холодом лампочка реанимационной «скорой помощи» и разгуливала по-хозяйски больничная трехцветная кошка. «Может быть, у ее сына тоже есть кот, и она сейчас думает о том, кто его покормит», — почему-то стремительно пронеслось в голове.

— Годится твоя кровь, — вдруг неожиданно ободряюще кивнула головой медсестра. И уже другим, суровым голосом спросила:— Инфекционными заболеваниями в последнее время не болела?

Я отрицательно мотнула головой и почувствовала почти радость оттого, что наступил конец моему невыносимому тупому бездействию.

— А ну-ка, засучи рукав, — так же сурово прика-

зала медсестра и, вынимая из застекленного шкафа пробирки, вдруг спросила: — Работаешь-то где?

— Я — математик. Работаю в научно-исследовательском институте. Кандидат наук, — торопливо заговорила я каким-то неприятным мне, почти заискивающим тоном.

— Математик, значит? — Медсестра с сомнением оглядела мою шуплую фигуру. — Ну ладно, давай посмотрим на твои математические вены. — И, склонившись над моей рукой, укоризненно покачала головой: — Как паутинки тоненькие вены твои математические. Ну ладно, придется кулаком получше поработать.

Я вдруг испугалась, что меня могут лишить этого права, единственной возможности искупления. Я даже задохнулась от ужаса и, заглядывая медсестре в глаза, заговорила быстро:

— Нет, нет, что вы! У меня отличные вены! Я ведь донор. Не верите? Правда. Когда я училась в университете, то несколько раз сдавала кровь.

Стремительно и непрошено вернула память затемненное и сразу словно осунувшееся здание Консерватории, зябкую свежесть подступающей ночи, маленькую деревянную скамейку под липами с расшатанными рейками на покатоj спинке.

Валькин тихий смех и звездное, точно продырявленное небо.

Валька благодарно сжимал кончики моих пальцев и повторял без конца: «Я так рад, что ты пришла. Так рад».

Потом он вдруг засмеялся и произнес торжественно: «Варвара, я навсегда запомню этот концерт и твое присутствие на нем, купленное ценой твоей крови». А я смотрела в синий лоскут расстрелянного звездами неба и понимала только одно — кому угодно, хоть всему миру целиком и каждому в отдельности, я могу поведать, что такое счастье.

Господи, как давно это было! В тот вечер состоялся третий, заключительный тур конкурса пианистов, в котором участвовал мой Валька, тогда еще студент Консерватории. А я училась в университете. И мне, как

всегда, не везло. Нашей группе предстояло писать контрольную по физике в тот самый главный для Вальки вечер. И тут спасительно замаячило наклеенное на доску объявлений приглашение студентов сдать кровь. За это полагается день отгула, и проблема для меня была просто и удобно решена.

Нам было очень весело тогда в ожидании своей очереди перед дверью донорского пункта.

Помню, нам вынесли на подносиках сладкий чай с калорийными булочками. И я все время тихонько смеялась, поедая свою булку и запивая ее сладким крепким чаем.

Все, наверное, думали, что я смеюсь без причины. Но это было не так.

Я терпеть не могла изюм, а Валька его обожал. Он мог поглощать его килограммами. Поэтому мы часто покупали калорийные булочки. Валька выковыривал своим музыкальным пальцем изюм, а я съедала булочную часть. При этом мы дико хохотали. Так хохотали, что Валька даже подавился однажды своим любимым изюмом.

И тогда перед донорским кабинетом я смеялась и заставляла себя жевать ненавистный изюм, чтобы почувствовать во рту его приторный вкус, который так нравился Вальке.

Никому из нас, прельстившихся положенным свободным днем после сдачи крови, даже не приходило в голову, что, может быть, и даже наверняка, наша кровь окажется для кого-то спасительной. Что кто-то оценит ее самой дорогой ценой. Ценой своей жизни. Кто-то мысленно поблагодарит за входящую с каждой ее темной каплей надежду. Кто-то вдруг дернется брезгливо — бог ведает, кому она принадлежала. И, наверное, никто не примет ее равнодушно.

Вечером я сидела в зале Консерватории и чувствовала, как легко и плавно, в ритм плывущему вальсу Шопена кружится моя голова. Наверное, отданная мной кровь не была лишней в моем щуплом существе. Но это было неважно. Главным было другое. Я видела запрокинутое Валькино лицо, тускло отраженное в поднятой крышке рояля, и точно знала, что сейчас он играет для меня. Это мне посвящались тревожно-щемящие звуки вальса. Мне. И я гордо поднимала тяжелую звенящую

голову и снисходительно оглядывала зачарованных слушателей.

Я всегда знала, что человек должен совершать поступки. Только тогда сможет он уважать сам себя. Тогда, чувствуя головокружительную слабость и ощущение тяжести от уже снятого жгута, больно перетянувшего мою руку выше локтя, я уважала себя за свой поступок. Позже, как бы взяв эту мысль на вооружение, я пыталась даже обманывать себя. Когда становилось кисло и маетно, я записывалась на прием к зубному врачу. Это было самое жестокое испытание для меня, самое тяжкое преодоление. Зато как было хорошо потом. Я делала усилие над собой, я совершала поступок, и моя хандра улетучивалась вслед за финально взвизгнувшим, сверлящим звуком бормашины.

«Мать наша настроение исправлять побежала к зубному врачу», — объяснял насмешливо Валька Федору. Федор непонимающе тарасил глаза и требовал разъяснения.

Сердитая медсестра уложила меня на кушетку и, затянув жгут, почти безболезненно ввела иголку в вену. Над кушеткой появилось пепельное лицо женщины. Багровые пятна исчезли и вернули коже ее серый оттенок.

— Дышите глубже, — посоветовала женщина, и слабая ободряющая улыбка опять покрыла ее лицо сетью мелких морщинок. Я благодарно кивнула ей и повернула лицо к медсестре. Жестко и спокойно глядела я, как тонкой темной струйкой стекает моя кровь в стеклянную банку. Я никогда не могла вынести вида крови — ни чужой, ни своей. Но, видимо, всему приходит в жизни конец — и беде, и радости, и страху. Сейчас мне казалось просто смешным, что я могла когда-то бояться вида крови, ощущать страх от возможности физической боли. Наверное, этот страх живет в человеке до тех пор, пока его не вытеснит настоящая большая боль.

Уходя от меня, Валентин тоже совершал поступок. Ему нужно было много мужества для того, чтобы совершить этот шаг. Зато не было вранья, не было виноватых глаз, опустошающих скандалов и тягостного молчания.

Женщина привстала и заботливо заглянула мне в



лицо. «Ну как, терпимо?» — спрашивали ее кроткие серые глаза. И я отвечала глазами: «Да, да, все в порядке. Спасибо».

Я почувствовала какое-то неожиданное облегчение, словно с каждой каплей моей крови уходили из меня боль и растерянность.

«Ничего. Я еще соберусь, — вдруг подумала я. — Я соберусь. Только бы был жив маленький Валентин. Я дорого заплачу за его жизнь. Всей моей будущей жизнью, начиная с этой минуты».

Медсестра перевязала мне бинтом руку.

— Ну вот, теперь лежи. Сразу вставать не надо. Голова закружится, — и, захватив банку с моей кровью, скрылась за дверью.

В больничные окна вползали крадучись сумерки. Мои любимые непостижимые сумерки. И мы сумерничали вдвоем. Я лежа, а она сидя в моих ногах на стуле, привалившись спиной к стене. Подкравшаяся темнота замаскировала нездоровый пепельный цвет ее лица, и только глаза светились каким-то особым внутренним светом. Мы молчали, и от этого молчания не было неловко. Казалось, мы слишком много познали друг о друге, чтобы оскорбить словами возникшую между нами тишину.

«На таких, как она, держится мир», — подумала я, и женщина, словно услышав мою мысль, ответила мне застенчивой, больной полуулыбкой.

Скоро стало совсем темно. Вспыхнул под окнами фонарь, разлив по комнате блуждающие светотени. Резко затормозила машина, видимо, у дверей приемного покоя. Раскатился и замер приглушенный женский смех в больничном дворе.

Я усилием заставила себя встать. Тусклый свет фонаря слабо освещал силуэт женщины. Глаза ее были закрыты, и она даже не шевельнулась на звук моих шагов. Я вышла в холл, осторожно прикрыв за собой дверь лаборатории.

Сейчас, освещенный синюшным светом ламп дневного света, холл уже не казался таким крахмально-белоснежным. Теперь он выглядел обычной комнатой, зачехленной в плохо проглаженные куски белой материи. Все казалось другим, и только стенные ходики так же укоризненно покачивали своим тяжелым маятником.

Сильно кружилась голова, но сидеть не хотелось. Я бродила по слегка плывущему под ногами полу, натыкаясь на стулья и кресла и пытаясь заглушить прорывающиеся откуда-то издалека, сквозь пьянящее головокружение, ликующие звуки шопеновского вальса.

«Федор должен быть хорошим музыкантом», — вдруг с гордостью подумала я. И вспомнила, как во время весенних экзаменов в музыкальной школе взахлеб хвалили его педагоги. Маленькая седая старушка — преподавательница по сольфеджио все время повторяла: «Абсолютный слух у ребенка. Абсолютный! — Она прибавляла восторженно: — Так ведь и, слава богу, есть в кого».

Валька начал учить Федора музыке, когда тому едва исполнилось четыре года. Федор оказался удивительно усидчивым для своего живого, непоседливого характера.

«Мама, хочешь я тебе сыграю одним пальцем самую твою любимую песню? — вопил через всю квартиру мой сын. — Ты только напой мне ее». Я напевала, и Федор, безукоризненно чисто повторив ее голосом, тут же без малейших усилий отбарабанивал мелодию на рояле.

«Ну как?» Он прибежал на кухню и, обхватив меня за ноги, закидывал сияющее от возбуждения лицо в ожидании похвал.

«Молодец! Очень хорошо, — хвалила я Федора, но тут же спохватывалась и говорила строгим, педагогическим голосом: — Но ты же знаешь, что папа запрещает тебе играть одним пальцем».

«Папы же дома нет, а с тобой мне все можно», — ластился ко мне хитрющий Федор.

Я, легонько шлепнув Федору подзатыльник, отворачивала смеющееся лицо.

«Да, Варвара, — говорил Валька, — педагог ты прямо-таки мировой. Благодаря твоему методу воспитания твой сын скоро сядет тебе на шею и будет, кстати, абсолютно прав».

«Валечка, да нет у меня никакого метода», — слабо защищалась я.

А Валентин вздыхал и возражал ворчливо:

«Отсутствие метода в данном вопросе уже метод. Нет, правда разбалуеть ты его, Варвара».

Я знала, что не разбалую. Я просто всегда лучше Вальки чувствовала Федора и знала, что у моего сына достаточно чуткости, чтобы не принимать отсутствие отказов как должное и не дарить мне всякий раз свою трогательную неловкую благодарность.

В пять с половиной лет Федора приняли в первый класс музыкальной школы.

Сейчас он мог играть уже довольно сложные произведения. А самое главное, никогда мне не приходилось напоминать ему, что надо заниматься. Наоборот, приходилось время от времени охлаждать его пыл. Приходя из школы, он швырял портфель и сразу бросался к своему пианино. Я с трудом отдирала его от клавиш, чтобы накормить обедом и отправить гулять. Он сидел за роялем точь-в-точь как Валька. Такой же прямой, откинув слегка голову и полуприкрыв глаза.

Широко распахнулась дверь операционной, замаячил в конце коридора знакомый силуэт медсестры. С трудом сдерживая себя, чтобы не помчаться бегом ей навстречу, я почувствовала, как трясутся мои руки и губы, наверное, очень уродливо, непослушно разъезжаются в разные стороны.

Инстинктивно я рванулась вперед, но мои ноги словно приклеились к полу, и каждая из них была неподъемной. Сердитое лицо медсестры улыбалось.

— Кровь наконец привезли. А мы уже своими силами обошлись. Ты села бы. Голова-то небось кругом бежит. А я пойду вниз кровь получать.

И, тяжело ступая своими грузными ногами в ворчливых кожаных тапочках, исчезла за дверью.

Я ошалело смотрела ей вслед и, негодуя на себя за то, что не нашла силы узнать про мальчика, тут же успокаивала себя мыслью, что медсестра улыбалась.

«Ну и что же — улыбалась, — тут же возражал мне какой-то неподвластный моим аргументам внутренний голос. — Она ведь только сестра, ее небось и в операционную не пускают. Наверное, она может и не знать, что не помогла и моя кровь...»

Вдруг с дикой скоростью стали рушиться стены холла, завертелись в сумасшедшем хороводе стулья и кресла, стремительно поменялись местами люстра и круг-

лый тяжелый стол, вынырнул из-под ног качающийся пол, оглушительно зазвенел своим безобразным смехом красно-зеленый мяч, бешено заелозил волчком, вырастая в размерах с каждым своим витком... И наступила полная тишина.

— Просто обморок, — вычленило мое вернувшееся сознание из тихого говора двух голосов где-то рядом со мной.

Чьи-то пальцы прохладно держали кисть моей безвольно повисшей руки. Я открыла глаза. Увидела близко сосредоточенное лицо молодого человека в зеленом, его строгие глаза.

— Все в порядке, — виновато прошептали мои пересохшие губы.

— Теперь действительно все в порядке, — подтвердил молодой человек и осторожно опустил мою руку.

— А там? — подстегнутая нахлынувшим страхом, я судорожно впилась глазами в строгое спокойное лицо молодого человека.

— Это вам Юлия Константиновна расскажет. — И молодой человек отошел в сторону, перестал загораживать собой хирурга Юлию Константиновну.

...У синееющего киоска с мороженым черные раскосые глаза из-под белого пухового платочка...

...«Вы — крайняя?» — как наяву напряженный Валькин голос...

Голова снова наполнилась тяжелым гулом.

Радостным звоном напомнил о своем недремлющем существовании скоморошечий смех.

Захлестывая, сметая все преграды, возликовала мелодия шопеновского вальса.

«Своих-то детей ей бог не дал», — резанул голос грузной медсестры.

«Человек должен совершать поступки», — рвано кольнула сознание моя собственная мысль.

Я встала из кресла.

Голова вдруг стала ясной и прохладной. Только почему-то было плохо слышно. «Ничего, пройдет», — спокойно подумала я и в следующую секунду прочла в раскосых черных глазах хирурга два самых главных слова на свете.

«Будет жить», — больно толкнулось сердце о грудную клетку.

Остальное было неважно. Просто остальное было в моих силах.

Пытаясь удержать слезы, я крепко зажмурила глаза.

Выкатился из придорожных кустов красно-зеленый мяч...

Взметнулся к небу и завис, заполонив собой все пространство, отчаянный голос ребенка.

Взвизгнули и запнулись тормоза...

Он лежал ничком, уткнувшись головой в вытянутые руки и подобрал под себя ноги, словно приготовившись к прыжку.

А потом...

## *Голубые тюльпаны*

— А эти хочешь? С розовыми мордочками? У них даже запах какой-то особый. Хочешь? — доносился до Тины ласковый полушепот склонившихся над корзиной с гвоздиками двух молодых людей.

— Девушка, а у вас больше нет розочек в бутонах? Мне трех штук не хватает. У внучки завтра свадьба. Посмотрите, пожалуйста, в бутонах.

— Девушка, а можно корзину заказать? Только без зелени, а чтобы одни цветы, и непременно красные. Гвоздики или розы. Но только без сопутствующей зелени. Можно, девушка?

— Вы мне не подскажете, милая, когда же наконец будут цикламены в горшочках? Мне бы мужу в больницу. Он любил всегда цикламены.

— Ой, девушка, вы нам не скажете, а на похороны красные цветы годятся? У нас, знаете, учительница умерла. Молодая совсем. Так красные можно, не знаете? Наверное, белые лучше?

— Девушка, а подешевле букетик нельзя набрать? Петь, ну куда деньги суешь, погоди, говорю. За цветы такие деньги платить, ужас! Они ж завянут завтра. Девушка, мы лучше в горшке возьмем. Дольше простоят и дешевле. Плати, Петь.

— Здравствуйте, Тина, вы меня еще помните? Я все с тем же вопросом...

Тина ловким, привычным движением заворачивает цветы в хрустящий целлофан, отдает покупателю с быстрым, сквозь зубы «пжалста», поднимает голову на застенчивый, просительный голос, видит знакомую виноватую улыбку. «Почему он улыбается так виновато? Разве за любовь просят прощения?!» — мелькает в голове, и Тина, чувствуя, что смотрит на молодого человека укоризненно, отвечает сухо и быстро:

— Нет, нет, цветов из Голландии не получали.

— Девушка, миленькая, у нас на работе родился ребенок. У сотрудницы. Нам нужно много цветов. Целую охапку. Столько денег собрали! И на все хотим купить цветов. Хватит на все деньги? — отвлекают Тину от молодого человека.

Тина бежит в подсобку проверить, сколько осталось цветов, склоняется над корзиной и с легким стоном медленно выпрямляется. Мир трескается пополам... Зловещие синеватые молнии рассекают тесную подсобку, расщепляют стены яркими зигзагами. Тина зажимает глаза от нестерпимого света, испуганно бормочет: «Ах, черт, опять. Опять...» А вокруг диким хороводом несутся корзины с цветами, корежатся, преобразаются до неузнаваемости привычные предметы, путаются в тесной сутолоке обрывки слов, мыслей; как в замедленной съемке, вываливается в черную пропасть угол комнаты, и Тина застывает перед зияющей бездной, в которую мчит ее ускользящее сознание. Какое-то мгновение Тина стоит посередине комнаты, незряче растопырив руки, зовет слабым голосом: «Прокопыч, миленький, только скорей» — и через секунду тяжело обвисает в руках подоспевшего сторожа.

«Ах ты, Тина болотная», — слышит она сквозь размытость сознания глуховатый голос кассирши Анны Семеновны. Она устроила Тину в магазин продавцом. «Давай к нам в цветочный. Будешь цветы зимой нюхать, авось и перезимуешь, а с осени, дай бог, здоровье подправим, и снова за учебу примешься», — посоветовала Анна Семеновна Тине, когда врачи настояли пропустить год в институте.

Анна Семеновна занимала одну из комнат в коммуналке, где жила Тина. Высокая и плоская, с зычным командирским голосом, она не говорила, а приказывала. Однажды Тина слышала, как Анна Семеновна отдала приказание на кухне: «Надо похлопотать, чтобы сироту в интернат поближе перевели. Матвеевне с больными ногами больно далече за девкой ездить». Сиротой была Тина, а Матвеевна — Тинина бабка, старая, полуглухая, с больными, опухшими ногами. Откуда появилась Матвеевна, Тина так и не поняла. Она знала, что у нее никого нет. Верней, так считалось. Но где-то в самой глубине души Тина точно знала, что не может быть такого, чтобы у нее никого не было. Однажды тайком

она даже прорепетировала, как будет она сидеть с мешочком у входной двери в интернат и точь-в-точь, как те, кого забирали на воскресенье домой, не сведет глаз с двери. Тина даже постаралась не моргать. Но это оказалось очень трудно. На глаза навернулись слезы, и Тина почему-то тихонько заплакала, верней, даже заскулила протяжно и тонко. Совсем как щенок Севка, которого подобрали в сугробе возле качелей.

За год до появления бабки Матвеевны Тина услышала, как нянечка тетя Зина спросила громким шепотом воспитательницу: «Слышь, правда, что у Тинки Михалевой родители объявились?» Воспитательница мгновенно оборвала нянечкин шепот, но Тина точно видела, как утвердительно качнула головой Нина Ивановна. У Тины сильно и больно заложило уши, все тело закололо мелкими тоненькими иголками, а в голове точно заиграл какой-то оркестр. Тина даже отчетливо слышала, как вырывается из нагромождения звуков партия скрипки, высоко и пронзительно просверливая макушку. И с этого момента началась новая жизнь. Это было постоянное ожидание скорого чуда. То мучительное и нетерпеливое, то сладостное и уверенное в счастливом исходе. Казалось, каждая ее клеточка обратилась в слух. Тина слышала ногами, спиной, волосами. Ее натренированный ожиданием организм был способен уловить приближение родителей за десятки километров. Ночами не спалось, а когда удавалось забыться, красивая нарядная женщина бежала навстречу Тине, и девочка, зарываясь лицом в ее раскиданные по плечам волосы, вдыхала их родной сладкий запах. Тина очень хотела, но даже во сне не позволяла своим непослушным губам раздвинуться коротеньким, самым желанным словом на свете. Днем Тина бродила как потерянная, вновь и вновь перекладывая собранные в мешочек вещи.

Все кончилось просто и внезапно. Нянечка тетя Зина перепутала фамилию. У Дины Михайловой появились какие-то близкие родственники. Дину забрали. А Тина переложила вещи из мешочка снова в тумбочку — и тут впервые мир треснул пополам. Рассекли зловещие синеватые молнии стены спальни, расщепили яркими зигзагами. Вывалился в черную пропасть угол комнаты, и Тина потеряла сознание.

А потом появилась бабка Матвеевна. Через несколько ступенек кубарем неслась вниз Тина, а в голове



мелькало улыбающееся лицо нарядной женщины с раскиданными по плечам душистыми волосами. Возле кабинета директора стояла грузная старуха, тяжело опираясь на палку. Директор подтолкнул обомлевшую девочку к старухе, проговорил своим всегда ровным густым баском:

— Это, Валентинка, бабушка твоя. Да вы присаживайтесь, Антонина Матвеевна, в ногах, говорят, правды нет.

Матвеевна тяжело всхлипнула, притянула к себе Тину и, прижимая ее к мягкой колышущейся груди, ответила:

— Не беспокойтесь, Вячеслав Ильич, мне и постоять нетрудно, а правды-то, похоже, не только в ногах нет.

Глаза у Матвеевны плакали, а рот дрожал, разъезжался в улыбке. Тина тихонечко вздохнула, коротко тряхнула головой, словно навсегда выпроваживая прекрасное видение с разметанными по плечам душистыми волосами с родным запахом, и прошептала чуть слышно: «Здравствуйте, бабушка».

Матвеевна забирала Тину из интерната в субботу после уроков, и они ехали домой. Тининым домом стала просторная светлая комната в коммунальной квартире с длинным коридором и множеством перемешанных запахов. Постепенно Тина научилась расчленять этот общий запах коммуналки на отдельные, конкретные запахи, принадлежащие семье или отдельному человеку. Кисловато-мutorный махорочный запах принадлежал железнодорожнику Гавриле Потаповичу, по прозвищу «Дрезина». Сначала Тина не понимала, откуда взялось это прозвище, но неведение было недолгим. Словоохотливая молодая Татьяна, которая вносила в общую лепту запахов тонкий, терпкий запах дорогих духов, рассказывала Тине, что каждый раз, когда Гаврила Потапович выпивает в компании бывших однополчан, рассказывает потом на кухне соседям историю, как во время войны, будучи пацаном, помощником машиниста, увел он из-под самого носа у фашистов дрезину с оружием. Рассказ кончался, как правило, пьяными слезами, тоской по той, настоящей жизни, переполненной риском, жаждой подвига, с ума сводящей ненавистью к тем, кто навязал войну. Они, наверное, были добрые люди, новые Тинины

соседи, если всякий раз без насмешек и нетерпения выслушивали давно надоевший рассказ о дрезине.

Все съестные запахи квартиры, казалось, сосредоточились в комнате, которую занимали Пронины. Из их двери просачивались запахи кислых щей, жареной картошки с луком, каких-то грибных солений и маринадов.

Их было четверо: желтая, болезненная тетя Дуся, вечно подвыпивший дядя Коля и двое мальчишек-близнецов — Шурка и Митяй. Шурка и Митяй, несмотря на тяжелый съедобный дух, растекающийся из их комнаты, всегда требовали есть, и у обоих никогда не проходил насморк.

— Мамк, пошамать дашь когда-нибудь? — орали в два голоса близнецы, швыряя сопливыми носами на всю квартиру.

Тетя Дуся торопливо накидывала на тарелку со сковородки блины, ворчала в ответ:

— Троглодиты какие-то, а не дети. Вечно жрать хотят. И каждый вечер блинов им подавай.

Тине, вертевшейся на кухне, тоже перепадал блинок. Блины у тети Дуси так же, как и пирожки ее приготовления, были белые, непрожаренные. И сама она была вся какая-то непропеченная, без единой кровинки на блеклом лице.

Когда Матвеевна впервые привезла в субботу Тину домой, все соседи выстроились в коридоре, и когда Тина от смущения громко хмыкнула, Митяй со всхлипом утер кулаком нос и заметил:

— Ну и не похожа совсем на сироту. Смеется вона.

Звонкий шлепок по затылку заткнул Митяя, он с опаской покосился на отца и молча засопел. Впоследствии Митяй мстил Тине за свой публичный позор. Ухал неожиданно над ее головой бумажным пакетом, надутым воздухом, обстреливал прослужившими промокашками из трубочки и, воровато озираясь по сторонам, скороговоркой шептал: «Сирота казанская, тебя из Казани такую вывезли?» Тина наверняка путала бы близнецов — их даже мать с трудом различала, — но уже после первой встречи научилась отличать их по взгляду. Митяй стрелял своим блудливым, угрожающим взглядом и тут же опускал глаза, чтобы Тина не угадала в них зарождающегося действия, направленного против нее. Глаза Шурки смотрели всегда спокойно, серьезно и даже ласково. Однажды он предупредил Тину, как всегда

швыркая носом: «Если Митяй будет задираться — скажи. В бараний рог скручу».

Слабый, но стойкий запах нафталина так и вился облаком за скользящей по натертому коридорному паркету худющей, высоченной Анной Семеновной. Анна Семеновна работала в цветочном магазине, как она утверждала, «по убеждению». Тина уверилась в этом, когда впервые перешагнула порог ее маленькой комнаты. На подоконнике багряно полыхали цветы в горшках. По стенам, переплетаясь, ввинчиваясь друг в друга, ползли, рискуя заполнить собой свежeweбеленный потолок, десятки замысловатых, вьющихся растений. Единственный громоздкий предмет — шкаф — стоял чуть ли не в середине комнаты. «А это — шкаф, — пояснила Анна Семеновна, перехватив недоумевающий взгляд Тины. — Стоит не совсем на своем месте, чтобы не мешал растениям».

Трех стен Анне Семеновне явно не хватало, и уже в который раз с завистью поглядывала она на пустую стену в просторной Тининой комнате. Но даже множество растений не в состоянии были поглотить тот слабый нафталиновый запах, который всюду сопутствовал кассирше из цветочного магазина. Однажды Тине удалось открыть происхождение этого запаха.

— Ну что, детка, заскучала? — услышала как-то над ухом Тина командирский голос Анны Семеновны. — Так смотришь в окно, словно в неволю засадили. Или по подружкам интернатским заскучала? Завтра снова всех увидишь. — И, подумав, добавила решительно: — Нечего на кухне торчать, а ну пошли ко мне — покажу чего.

Из потрепанного картонного чемодана Анна Семеновна извлекла две громадные пушистые лисьи шкуры. Одна была рыжая, с узкой коварной мордочкой и стеклянными голубыми глазами. Другая — чернубурая, видимо, не первой молодости, и глаза у нее были хоть и стеклянные, но усталые и беспомощные.

Анна Семеновна встряхнула по очереди шкурки так, что запах нафталина сильной волной ударил Тине в нос, и, с гордостью поглаживая мех, сообщила:

— Муж покойный преподнес. Вот и храню как память. Больше-то ничего и не осталось. — Анна Семеновна горько, прерывисто вздохнула и протянула Тине шкурки: — На, детка, поиграйся. На плечи понакидывай, знаешь, будто графиня какая. Я в детстве страсть как

любила всяких графинь представлять. А подружка вечно принца изображала.

Тина уселась на диван у окна, поглаживая лисьи шкурки, разложенные на коленях.

Анна Семеновна зычно отдавала на кухне распоряжения Татьянке по поводу возвращения натурального цвета волос.

— То, что природой человеку назначено, всегда красивей. Это надо же — взять и испоганить всю внешность. Была нормальная девка, а теперь кошка драная. Немедленно верни натуральный цвет, а то всех хахалей распушаешь своим «красным деревом».

Татьянка слабо возражала, зная, что спорить с Анной Семеновной бесполезно. Когда Анна Семеновна вернулась в комнату, Тина сидела в той же позе, поглаживая шерстку черно-бурой лисы и жалостливо заглядывая той в глаза.

— Ты чего это, девка? — изумленно пророкотала Анна Семеновна. — Так и сидишь сиднем? Тебе годков-то сколько теперь?

— Девять недавно исполнилось.

— Де-евять! Так не девятнадцать же. А играть уж и разучилась? Или и не умела никогда? — Лицо Анны Семеновны стало вдруг строгим и горестно-внимательным.

— Я играю, — шепотом ответила Тина.

— Да ну? И во что же ты так играешь? — с тем же горестно-внимательным выражением жгучих цыганских глаз поинтересовалась Анна Семеновна.

— Я жалею ее, — нерешительно пробормотала Тина. Ей было мучительно неловко за то, что она не сумела угодить Анне Семеновне и играть в графиню и принца. Ей очень захотелось в свою просторную полупустую комнату, к бабушке Матвеевне, которая уже который день постанывала, тяжело распластав по кровати свое грузное тело. Мучили боли в ногах.

— Жале-ешь? — тягуче, нараспев спросила Анна Семеновна. И, подсев к Тине, вдруг быстрым ласковым движением провела по ее волосам. — А я, знаешь, слышала, что все детдомовские жалостливые очень. И удивлялась всегда. Вроде бы и наоборот должно складываться. А вообще-то верно это. Чем человек меньше имеет, тем легче с этим расстается. Муж мой покойный, каким я встретила-то его, голь был перекатная, а ежели

надо кому — так последнее с себя снимет и отдаст без сожаления. Вот так-то. — Анна Семеновна внимательно поглядела на Тину. — Ничего, что я говорю-то об этом? Ты большая уже, сама, чай, обо всем задумываешься да рассуждаешь?

Тина снова ужасно захотела к постанывающей на кровати бабке, но не двинулась с места и послушно кивнула головой.

— Раз уж заговорили об этом, я тебе так скажу. Ты, детка, мать-то свою шибко не осуждай. Поняла?

Тина почувствовала, как стиснуло горло и стало трудно дышать, но мужественно кивнула. Анне Семеновне еще раз.

— Так вот, ты знаешь, наверное, что тебя сдали-то не сразу. До году удалось матери дорастить тебя. За год этот она в скелет ходячий превратилась. Одна — помочь некому, в яслях тебя держать отказывались — болезненная ты уродилась. День в яслях — неделю болеешь. А матери деньги брать неоткуда, чтобы с тобой сидеть. Люди, они ведь разные бывают. Кто за глаза байки всякие сочиняет, а кто и в глаза ткнет — нагуляла, мол, ребенка, умеи теперь вырастить и не жалуйся. Прimitивно это и жестоко, а ведь все равно разъедает эта зараза. Людская молва — вещь тяжкая, не по силам порой одолеть ее. И кто-то из умников присоветовал отдать тебя на время в Дом ребенка, а самой на стройку завербоваться, где деньжищи отваливают солидные. Поднакопить денег, а потом и тебя забрать.

Анна Семеновна вздохнула, поглядела на помертвевшую девочку, словно проверяя, стоит ли продолжать, и, выискав в ее съежившейся фигурке какое-то подтверждение, продолжала:

— А дальше-то что было, никто точно и не знает. Не то болезнь она там какую перенесла, не то надорвалась и нервно и физически. По тебе небось сердце ныло дено и ночью, но только там она и померла. У чужих людей на руках. А смерть свою, видно, чуяла. Матвеевну разыскала. Мать твоего отца. В деревню письмо ей написала. Как завешание оно было — письмо то. Матвеевну попроси — пусть даст прочесть, большая ты уже, все тебе знать о матери надобно.

Тина слушала Анну Семеновну и сквозь подступающие к горлу тошнотворные толчки со страхом чувствовала приближение приступа. Бессилие перед повторяющи-

мися периодически припадками выхолащивало, опустошало, отнимало надолго силы. Тина долго приходила в себя. Никто толком не мог объяснить Тине, чем она больна и пройдет ли это. Недавно интернатский врач возил ее на консультацию, и выпровоженная из кабинета в коридор Тина слышала из-за неплотно прикрытой двери лишь отдельные слова: «синдром... родовая травма... внутричерепное давление... эпилептоидного происхождения...» Потом врач-консультант, женщина с умными ласковыми глазами, разговаривала с Тиной, поглаживая ее вспотевшие ладони. Тина долго пыталась сохранить в ладонях тепло бережных прикосновений добрых рук врача.

— И еще вот о чем хочу тебя спросить, да все забываю. Мать-то тебя Валечкой все называла, а ты вдруг Тиной оказалась. Это как же метаморфоза такая произошла? — встрепелась вдруг Анна Семеновна.

А Тина сквозь навалившуюся плотной ватной массой слабость вяло проговорила, издали, сквозь тихий, но нарастающий звон слыша свой голос:

— У нас в детдоме четыре Валентины оказались, и, чтобы не путать, меня Тиной решили называть...

Тина споткнулась, губы нечленораздельно произнесли вдруг ставшее незнакомым какое-то простое слово. Мир треснул пополам... Рухнул в зияющую пропасть угол комнаты, увитый причудливым плющом...

— Ах ты, Тина болотная, — слышит она сквозь размытость сознания глуховатый голос Анны Семеновны.

Тина приподнимается на локтях, оглядывает подсобку. Глазами ворочать больно, каждое движение отдается в голове.

— Чего, Тинуша, чего надеть? Может, доктора вызовем? — гулким эхом долетает встревоженный голос Прокопыча.

Тина резко качает головой, стонет, зажав ладонями голову. Спрашивает слабым голосом:

— А где лиса?

— Какая лиса, Тинуша? Какая такая лиса тебе примерещилась? — переспрашивает Прокопыч.

Легкая улыбка трогает бледные спекшиеся губы. Тина бормочет:

— Черно-бурая лиса... Со стеклянными глазами...

— Бо-оже ж мой, — всплескивает руками Анна Семеновна, — да ты, никак, лисицу мою, из чемодана, что ль, вспомнила? Да на кой она тебе?

Тина широко открывает глаза, переспрашивает строго:

— То есть как «на кой»? — и сразу спохватывается, возвращая заплутавшуюся память на место. — Да нет, я просто вспомнила...

Тина закрывает глаза, чувствует на своем лбу прохладную заскорузлую ладонь Прокопыча. Громко вздыхает Анна Семеновна:

— Ну ладно, ничего уже не попишешь, коль врача не желаешь — отлеживайся. Пойду покупателей отпущу.

— Прокопыч, будь добр, придвинь корзинку с розами, — просит Тина.

Сторож с готовностью подвигает корзину, радостно приговаривая:

— Вот и отлегает помаленечку, ежели цветков захотелось понюхать.

Тина с жадностью вдыхает любимый розовый запах, а память снова мчит ее прочь из тесной подсобки.

Когда умерла Матвеевна, Тине было двенадцать лет. В интернат поближе ее так и не перевели. Тогда Анна Семеновна, жалея больные ноги бабки Матвеевны, не поленилась и договорилась о переводе девочки в другой интернат. Всегда покладистая, застенчивая Тина вспыхнула так, что даже шея и плечи забагровели сквозь легкий сарафанчик, стиснула кулаки и закричала отчаянным, тонким голосом на всю коммуналку: «Я не хочу! Я не могу! Я умру в другом интернате!» Слишком часто вспоминала Тина, как расформировывали их детский дом, когда ей было пять лет. Какое-то ведомство не нашло денег на ремонт детского дома, и было вынесено решение — расформировать по другим домам. Тина всегда, до самой смерти будет помнить тот страх, когда маленькими группами увозили детей. Воспитатели с покрасневшими глазами совали детям гостинцы на дорожку,

ревели в голос малыши, не понимая, почему, за что их лишают этих ставших родными стен, за что отнимают единственных на всем белом свете близких людей — своих воспитателей, за что разлучают их семью. Позже Тина почему-то, очень часто вспоминая весь пережитый ужас, представляла себе того чиновника, отдавшего распоряжение — расформировать детей по другим домам. У того человека, наверное, было щекастое, лоснящееся лицо с маленькими поросычьиими глазками, заплывшими жиром, пронзительный, высокий голос и много перхоти, рассыпанной по плечам темно-синего костюма в полоску. Ноги у него были короткие, семенящие при ходьбе, а короткопалые руки — как два надутых воздушных шара. Если бы тот человек мог почувствовать, как ненавидит и проклинает его Тина, да и все «расформированные» дети, он бы должен был захлебнуться в этой мучительной детской ненависти. До сих пор, когда Тина думала об этом, в глазах темнело и начинало ныть сердце. Тину «расформировали» тогда в московский же детский дом, на самой окраине города, других детей умчали поезда по разным уголкам страны. Тина первое время даже не могла есть, так тосковала по своему прежнему дому. А потом появились новые друзья, любимые воспитатели, нянечки. Постепенно она вошла в новый ритм заведенного тут порядка.

Бабка Матвеевна умерла в больнице. Хоронили ее вьюжным февральским днем, и окоченевшая Тина, чувствуя, как схватываются морозом ее мокрые щеки, отрешенно глядела, как стучат о крышку гроба мерзлые комья земли. Тина ничего не чувствовала в тот момент — ни жалости, ни страха, ни холода. Трезво и отчетливо буравила сознание единственная, пустынная, как это необъятное стылое кладбище, мысль. Как чудовищная волна, мысль эта то откатывалась, давая возможность сделать глубокий спасительный вдох, то накрывала удушливо с головой, обдавая смертельным ужасом. «Одна. И теперь не нужна никому на всем белом свете». Раньше, пока не появилась бабка Матвеевна, мысль эта не приходила Тине в голову. Она точно знала, что найдется, непременно отыщется родной ей человек, которому Тина будет нужна не из жалости, а потому что родная. Конечно же больше всех на свете любила Тина свою бабушку, свою полуглухую Матвеевну. Девочка чувствовала, что любое ворчанье Матвеевны предпочтет жалост-



ливым ласкам чужих людей. Матвеевна была добрая и, как казалось Тине, тоже очень одинокая. И они были рады, что нашли друг друга. Тина видела, как все трудней становилось добираться до интерната Матвеевне по субботам — ноги совсем не слушались и, казалось, каждый шаг приносил бабушке острую, мучительную боль. Но когда Тина закричала тогда, в темном коридоре коммуналки: «Не хочу! Умру в другом интернате!» — гневно полыхнули старые глаза Матвеевны, отчетливо прозвучал молодой силой ее голос: «Все останется как есть. Не тревожься, внученька. А вам, люди добрые, спасибо за заботу... — Тут Матвеевна низко, с трудом перегнула грузное тело, поклонилась аж в пол. — Но только помирать мне еще рановато, выдюжим и сами разберемся, что к чему. И не надо бы дите из-за пустяков нервировать. Она уж сполна горюшка нахлебалась».

На следующий день Анна Семеновна отдала распоряжение составить в коммуналке очередь — кому в какую субботу забирать Тину из интерната. Точного графика составить не удалось, и Тине было весело и радостно в ожидании кого-нибудь из соседей. «Сегодня придет дядя Коля. Интересно, один или, как в прошлый раз, Шурку прихватит?» — загадывала Тина и, глядя в окно, поверх голов склонившихся над тетрадками одноклассников, улыбалась, покусывая карандаш.

«Михалева, пришли за тобой!» — кричала снизу нянечка тетя Зина, и Тина, перевешивая голову через перила, спрашивала: «А кто, тетя Зин?» — «Да почему я знаю — кто? Красотка какая-то. У тебя же теперь родственников собралось — хоть пруд пруди», — довольно отвечала нянечка напускным ворчливым голосом.

«Красотка? Значит, Татьяна. Ура!» — крутилось в голове, пока руки торопливо натягивали одежду, машинально забрасывали в портфель учебники, тетрадки, переплетали растрепавшуюся косичку.

Татьянка вечно придумывала для Тины какое-нибудь развлечение. То в Парк культуры сводит покататься на «чертовом колесе», откуда вся Москва как на ладони видна, то по магазинам потащит с собой Тину и что-нибудь обязательно тут же подарит девочке. В прошлый раз купила Тине настоящее колечко с маленьким красным камешком.

«Ох, избалуешь девку», — укоризненно покачивала головой Анна Семеновна, а сама нет-нет да сунет Тине в руки какую-нибудь вкуснятину: «На-ка, деточка, гостинчика».

Но обо всем этом не помнила Тина, оцепенев над могилой бабушки Матвеевны. «Одна. И теперь не нужна никому на всем белом свете». И еще никак не могла заставить себя опрокинуть, стереть из памяти предсмертные, уходящие глаза бабушки. Они были усталые и беспомощные. Как стеклянные глаза черно-бурой лисы из чемодана Анны Семеновны.

Сквозь буйство розовых бутонов Тина улавливает слабый запах нафталина. Слышит, как выпроваживает из магазина покупателей Анна Семеновна. «Закрыто, товарищи. Обед у нас. В три часа приходите». Тина свешивает ноги, садится на диван. Голова уже болит не так мучительно. И мысли не скачут с прыткостью кузнечиков. Жить можно. Через несколько минут Анна Семеновна приносит Тине стакан крепкого горячего чая, раскладывает бутерброды.

— Слышь, деточка, к тебе все покупатель один рвался. Симпатичный такой. В очках, правда. Но они его не портят. Можно сказать, к лицу даже. Я его не пускаю — плохо, говорю, ей, не до тебя, а он говорит, пустите, я, говорит, врач, может, помогу чем. Тут я ему и сказала, что сроду еще ни один врач тебе не помог, а он и по-давно не поможет. Молодой больно да неопытный, а нам, говорю, эксперименты ваши врачебные дорого обходятся. Помнишь, как «скорая» тебе вкатила не то лекарство?

Тина отхлебывает вкусный чай, слабо улыбается:

— Не надо было так, Анна Семеновна. Он ведь от всей души помочь хотел.

Анна Семеновна категорически шумно возражает:

— Не от души, а ты ему по душе, видно, прилась. Я уже не впервые очки его здесь вижу.

Тинино бледное лицо покрывается ярким, жарким румянцем. Она наклоняет голову, отрицательно качает головой:

— Да что вы, ей-богу, Анна Семеновна, ему не я нужна.

— А кто же? — удивляется Анна Семеновна, и в цыганских глазах дрожат искорки смеха. — Я, что ль? Или, может, Прокопыч?

— Ни вы, ни я, ни Прокопыч. Ему нужны голубые тюльпаны.

Тина слышит, что голос ее звучит с досадой.

— О господи! — Анна Семеновна даже давится бутербродом от изумления. — Да сроду мы голубых тюльпанов не получали. Слышь, детка, а я сразу по его лицу-то очкастому поняла, что он немножко того, чокнутый.

— Никакой он не чокнутый, Анна Семеновна. Просто он очень влюблен, и поэтому ему нужны голубые тюльпаны, — отвечает Тина и снова чувствует, как досадливо дрожит и срывается непослушный голос.

Анна Семеновна перестает жевать и с любопытством глядит, как снова проступают красные пятна на лице девушки.

— Да есть ли вообще в природе голубые тюльпаны? Что-то не слыхала никогда. А?

— Есть, — поспешно кивает головой Тина и, пытаясь освободиться от заинтересованного взгляда Анны Семеновны, отворачивается, шарит в своей сумочке. — Сейчас я покажу вам все виды тюльпанов. Я книжку достала специальную по цветам. Ах ты, надо же, дома забыла. Ну ничего, потом покажу. Голубые тюльпаны выращивают в Голландии. Издавна. И экспортируют, конечно, в разные страны. Знаете, сразу после революции, когда в России был ужасный голод, Чичерин обратился к правительству Голландии с просьбой продать хлеб. Голландия конечно же отказала в этой просьбе, зато предложила продать России партию тюльпанов. Я когда прочла это, у меня от злости даже слезы закапали. Отказать в хлебе и предложить погибающим от голода людям тюльпаны! Какой-то изощренный цинизм, правда, Анна Семеновна?

Но Анну Семеновну дипломатические отношения послереволюционной России с буржуазной Голландией, казалось, заинтересовали меньше, чем то, что все-таки прочла она на Тинином возбужденном лице.

— Ага, деточка, все так. Значит, и книжку про тюльпаны достала. Ну, понятно. А я-то подумала, что вроде не волновали тебя сегодня ничем, не пере-

утомлялась, а приступ случился. А вот и причина отыскалась.

Тина встает с дивана, резко обрывает Анну Семеновну:

— Все! Пожалуйста, хватит. Спасибо за чай. Я полежу еще немного. Голова кружится.

Анна Семеновна не обижается, миролюбиво советует:

— Шла б домой — там и полежала бы. Я и без тебя прекрасно обойдусь.

Тина качает головой:

— Нет, нет, мне правда лучше намного. Сегодня у меня совсем слабенько было.

— Ну, как знаешь, дело хозяйское. — Анна Семеновна собирает стаканы, оставляет Тину одну. Слабый нафталиновый запах послушным шлейфом улетучивается вместе с Анной Семеновной.

Тина подходит к окну, прижимается лбом к прохладному стеклу. Ноги слабые, чуть дрожат в коленях. В голове шумит, и мысли тугие и неуклюжие. Теперь два дня Тина будет выкарабкиваться после приступа. «А ну-ка, не жалеть себя, не распускаться! — строго приказывает себе Тина. — Хуже бывает — и ничего. Надо подумать о чем-нибудь хорошем». И тут же, словно получив разрешение, всплывает виноватое лицо, глядят сквозь стекла очков сильно уменьшенные диоптриями, но все равно огромные серые глаза. Приоткрывается в улыбке красиво очерченный, какой-то старомодный рот, подергиваются уголки губ, собираются у глаз нежные паутинки морщин. И в который раз, с трудом сдерживая удары готового вырваться наружу сердца, слышит, как наяву, Тина его слабый, словно обессиленный переполнившим чувством голос: «Я провожу вас? Можно? Вас ведь Тиной зовут?» — и, не дожидаясь разрешения, идет рядом с Тиной своей нервной, пружинистой походкой.

Молчит Тина, чувствуя, как лихорадочно горит лицо, как сохнут губы, как ликующе звенит внутри, рискуя порваться от напряжения, неведомая, протянувшаяся от ступней до головы струна.

«Я, наверное, надоел вам бесконечно? Хожу и хожу. Но мне сказали, что если судьба смилостивится надо мной, цветы из Голландии поступят к вам».

Молчит Тина, заглатывая жадными глотками колющий морозный воздух, захлебываясь его обжигающими прикосновениями.

«И знаете, когда я вас увидел, мне словно шепнул кто-то: «Ну, старик, эта девушка непременно поможет тебе». У вас поразительное лицо, Тина. Я, наверное, не первый говорю вам об этом. У вас лицо монашенки — гордое, скорбное и даже мученическое что-то в ваших глазах есть. Откуда у вас такое лицо, признавайтесь? Таких лиц у молоденьких девушек не бывает».

Молчит Тина, чувствуя, как покалывает тело мелкими тоненькими иголочками, а в голове точно играет какой-то оркестр. Тина даже отчетливо слышит, как вырывается из нагромождения звуков партия скрипки, высоко и пронзительно просверливая макушку. Точь-в-точь как тогда, в далеком детстве, когда услышала она нечаянные слова нянечки тети Зины и началось мучительно-сладостное ожидание чуда.

«Чудес, конечно, не бывает, но так хочется, чтобы именно с тобой случилось исключение из правил, — словно подслушав, что происходит с Тиной, но про свое, продолжает молодой человек и вдруг спохватывается: — Я забыл представиться — Кирилл. Профессия моя — детский врач. Педиатр по-научному. Могу оказаться полезен, хотя вы недавно, видимо, перешагнули рубеж возрастной категории моих пациентов. Сколько вам лет, Тина? Семнадцать?»

Тина молча кивает головой.

«И когда же наступит совершеннолетие, если не секрет?»

«Завтра», — выдавливает из себя Тина охрипшим, не своим голосом.

«Завтра?» — изумленно переспрашивает Кирилл и громко, заразительно смеется, так, что, укоризненно оглядываясь, поджимает губы чопорная старушка.

«Ну вот, а говорят, чудес не бывает. Это же прекрасно, что завтра! А у меня завтра — великий день. Защита на степень магистра медицины. Вот мы вечером и отметим сообща два знаменательных события. Что вы думаете по этому поводу, Тина?»

Тина согласно кивает. Поет, взвивается захлебывающейся высотой скрипка. А московские переулки перемигиваются, как сообщники, вспыхивающими глазами за-

сумерничавшихся окон, подбадривают Тину, благословляя в нежданное счастье.

«Ой, Тинка, что это с тобой?» — замирающим от догадки голосом спрашивает Татьяна, приглядевшись к притулившейся около входной двери фигурке. А Тина стоит, не раздеваясь, прислонившись пылающей щекой к холодной стене длинного коммунального коридора. Звучит в ушах его голос. Осторожно щелкает выключателем Татьяна, бережно заглядывает Тине в лицо, шепчет горячо и протяжно: «Ах ты, девочка моя дорогая, господи боже ж мой!» А Тина не в силах стереть с горящего лица трепещущей ответной улыбки, ему предназначенной минуту назад, смотрит сквозь Татьянку отрешенными, потемневшими от нежности глазами. А потом так же, не раздеваясь, идет к себе в комнату, роется в ящике письменного стола, вынимает потрепанный листок бумаги из конверта. Читает сразу на оборотной стороне:

«...Я знала, на что шла. И твердо верю в то, что моя дочь не осудит меня, если когда-нибудь сама испытает и поймет, как это — любить. Когда нет в душе ни страха, ни стыда, ни сомнения, когда с легкостью безумия отменяются все препятствия и перестают существовать авторитеты и сдерживающие обстоятельства. Когда мне говорили, что я не должна оставлять ребенка, что у него семья, что он никогда не решится уйти ко мне, я даже не понимала, про что они говорят. Была лишь досада — неужели непонятно, что для меня не существует выбора? Потом он уехал с семьей работать за границу. Он так и не знает, что у нас родилась дочь. Я заклиная вас, уважаемая Антонина Матвеевна, никогда не показывайте ему этого письма. Я бесконечно виновата перед моей девочкой, перед моей ненаглядной Валечкой. Но пусть бог рассудит нас. Я люблю и всегда любила его так, что за одно это прошу милосердия. Моя любовь была сильнее меня, моих жалких доводов здравого смысла, моего отказавшегося повиноваться рассудка. Я схожу с ума от мысли, что никогда (какое простое, ничего не значащее слово!) не увижу его лица, его глаз. Мне не стыдно признаться вам — ведь вы его мать! — что я по ночам простаиваю до рассвета на коленях и молю Кого-то, Что-то, что стоит над нами, свершить чудо. Лишь на миг, на взгляд подарить мне свидание с ним. Молю и знаю, что конечно же этой встречи не будет... С ужасом думаю

о том, что когда-нибудь моя дочь испытает эту сладкую муку, это горькое счастье, — и желаю ей этого, тут же машинально возражая — не дай бог...»

На следующий день в коммуналке отмечали день рождения Тины. Сдвинули столы в просторной Тининой комнате, принесли стулья, расстелили белоснежные скатерти. Под зычные команды Анны Семеновны Тина машинально накрывала на стол, резала закуски, заправляла салаты, приготовленные Татьянкой. Кирилл не пришел ее поздравить, не сдержал обещания устроить совместный праздник. Тина плохо себе представляла, как объяснила бы она своим гостям причину отсутствия на своем дне рождения, если бы появился Кирилл. Она просто не задумывалась об этом. Знала одно — она пойдет куда угодно с ним,, только бы слышать его голос, видеть набегающую сеточку морщин от его улыбки, физически, до озноба чувствовать на своем лице его нарочно внимательный взгляд. Он не пришел. Наверное, не смог. Тина улыбалась через силу, принимая приглашения и подарки от соседей, подруг, воспитателей, пришедших отметить совершеннолетие бывшей подопечной из интерната. Забежал даже директор Вячеслав Ильич, правда, немного позже, когда все гости, выпив за здоровье именинницы, встали размяться перед горячим. Тина сразу поняла, что не только поздравить с днем рождения не ведался Вячеслав Ильич. Слишком хорошо изучила она директора за годы, проведенные в интернате. Сквозь всегда ровные, спокойные интонации его густого баска уловила моментально Тина хорошо скрываемое напряженное беспокойство. И не ошиблась. Улучив момент, когда Тина осталась одна на кухне, Вячеслав Ильич моментально возник в дверях, проговорив как бы между прочим:

— Валентинушка, мне, кстати, тебе надо сообщить кое-что. Я тороплюсь, поэтому не могла бы ты уделить мне несколько минут. Думаю, твои гости не очень страдают от отсутствия именинницы. Я совсем тебя ненадолго задержу.

Тина вытирала мокрые руки, медля, настороженно, исподлобья поглядывая на Вячеслава Ильича, сняла фартук, пригласила директора в комнату Анны Семеновны.

— Ах ты, какой здесь дендрарий! — восхищенно оглядел стены, увитые плющом, Вячеслав Ильич и, столк-

нувшись с вопросительным взглядом Тины, неожиданно суетливым движением потер лоб.— Да, да, ты права, Валентинушка, ближе к делу. Без предисловий, так сказать. Одним словом, я получил письмо от твоего отца.

— Да? И что же он хочет от вас, этот мой отец? — без малейшего признака волнения, замешательства, спокойно спросила Тина, сама удивляясь отсутствию даже маломальского волнения.

Вячеслав Ильич тоже изумленно глядел на Тину.

Он ожидал любой реакции, был готов к слезам, к истерике, к оцепенению, вслед за которым следует нервная разрядка, но он не был готов услышать этот насмешливо-равнодушный голос. Смутной догадкой промелькнуло, что, наверное, сейчас что-то другое, мощное, способное заслонить, перекрыть подобное сообщение, живет в девушке.

— Так вот, Валентинушка, дорогая, письмо это пришло аж из Амстердама.

Тина вздрогнула, переспросила быстро:

— Откуда? Из Амстердама? Из Голландии? — и засмеялась чужим, каким-то деревянным, отрывистым смехом.

— Да, из Голландии, — подтвердил Вячеслав Ильич, с тревогой вглядываясь в загоревшееся лицо Тины, в недобрую усмешку, искривившую губы.

— Деточка, чайку больше не хочешь? У нас еще минут пятнадцать есть, — заглядывает в подсобку Анна Семеновна.

Тина с сожалением отрывает лоб от прохладного стекла.

— Нет, спасибо, Анна Семеновна. Можно я пойду домой? Опять голова разболелась.

— Господи, она еще спрашивает! Иди, конечно, я же с самого начала тебе предлагала. Пойди, пойди, отлежись, деточка. У меня дома в холодильнике котлеты — разогрей, поешь. Не надо тебе на бутербродах-то.

Тина выходит из магазина, с надеждой и страхом быстро оглядывает собравшуюся у дверей толпу людей. Глаза ее мечутся по лицам. Поблескивают в толпе стекла очков, но это все чужие лица, а того, которое мучи-



тельно боится и мечтает увидеть Тина, — нет. Опустив голову, бредет Тина по петляющим переулкам домой, а в ушах снова звучит его голос:

«Я знал, что вы не обиделись на меня. Я знал, что все правильно поймете. Жалел очень, что не взял номера вашего телефона, имел бы возможность хоть так поздравить вас. Знаете, я меньше всего надеялся увидеть ее на моей защите. Представляете, один взгляд на аудиторию, и из всех лиц — сразу она. Меня оппоненты терзают, а я с трудом могу улыбку стереть с лица... И все кругом плывет... Вы этого наверняка не поймете сейчас, но когда-нибудь... Я, Тиночка, самый счастливый и одновременно самый несчастный из смертных. Она, знаете ли, замужем. Я лечил ее ребенка и вот, как ни банально это звучит, сам заболел, только мне-то уж медицина не поможет, это точно.

Что вы спросили, Тиночка? Ах, что мне поможет? А вот верю, как в чудо, в появление голубых тюльпанов. Помните у Гоголя, достал кузнец Вакула черт-те откуда черевички своей капризной зазнобе — и на тебе, получай чудо, снизошла красавица, растопил своим поступком кузнец ее сердце. А она, вы знаете, Тиночка, удивительная, чудная, нежная, но такая взбалмошная. Однажды сказала мне: «Вы видели когда-нибудь голубые тюльпаны, Кирилл?» Я, естественно, удивился, что таковые существуют на свете. А она покачала так укоризненно головой, как она одна умеет, и говорит: «Они даже не совсем голубые, с лиловым, скорей, оттенком, но вообще-то конечно же голубые. Когда они завяли, я даже заплакала. И тогда же загадала, если когда-нибудь достанет мне человек букет голубых тюльпанов — я буду любить его». Сказала так и засмеялась, знаете, таким смехом, как только одна она умеет, и, глядя мне прямо в глаза, прибавила: «Я, конечно, шучу, Кирилл». Так вот, Тиночка, я тоже шучу, но просто одержим идеей достать ей эти тюльпаны — сейчас, когда в Москве снег, холод... Вообще, мистика какая-то».

Тина бредет, спотыкаясь, по заснеженным переулкам, а сама слышит свой дрожащий голос, возразивший Кириллу в ответ: «Почему же мистика? Вы же сами сказали — это любовь».

Глаза Тины и Кирилла сталкиваются, мелькает за стеклами его очков ошпарившая догадка, но тут же от-

метаает он ее, как шальную, нечаянную мысль. Говорит обессиленным своим, изнемогающим от любви к той женщине голосом: «Какое же лицо у вас, Тиночка, знаете, словно все-то вы на свете испытали. Монашенка вы моя дорогая».

Тина добредает до своего дома, слышит, как гремит на кухне кастрюлями Татьяна.

— Тиночек, ты? — окликает она девушку. — Случилось что-нибудь? Что так рано?

Тина успокаивает Татьянку, идет к себе в комнату. Татьяна тут же возникает в дверях:

— Хочу тебе сказать, что решение мы все-таки правильное вынесли. Ишь явился не запылится через восемнадцать лет. Ты абсолютно права, что даже ответом его удостаивать не надо. Пусть теперь он помучается, Правильно? Правильно?

Тина согласно кивает головой, а возмущенной Татьянке нейдет.

— И подарки его паршивые не принимай. Нужны больно. И так не пропадем. Правильно?

И опять соглашается с Татьянкой Тина, машинально перебирая на столе разложенные листы чистой бумаги.

— Ну ладно, пойдем, покормлю тебя. Рыбу только что пожарила.

Тина отвечает задумчиво, словно пытаясь разрешить какой-то мучающий ее вопрос:

— Спасибо, Татьяна, я сейчас приду.

Скрывается за дверью Татьяна, а Тина садится за стол, смотрит, как кружат за окном пушистые невесомые снежинки. Потом с легким вздохом, похожим на стон, придвигает к себе чистый лист бумаги, пишет, преодолевая что-то мучительное в себе, борясь с возникающими сомнениями.

Снова заглядывает в дверь Татьяна. Тина встает, укладывает исписанный листок бумаги в конверт, спокойным, ровным голосом говорит:

— Я иду. Только Анне Семеновне позвоню.

Татьянка раскладывает по тарелкам рыбу с золотистой поджаристой корочкой, с удивлением слушает Тинин голос:

— Анна Семеновна, это я. У меня к вам просьба. Если забредет опять этот человек, ну, очкарик, скажите ему, пожалуйста, что в следующем месяце наш магазин получит голубые тюльпаны. Анна Семеновна, ну какая вам разница? Передадите ему букет тюльпанов, не вдаваясь в подробности. Господи, ну я вам их отдам.

Тина вешает трубку, стоит какое-то время неподвижно в темноте длинного коммунального коридора, потом идет на кухню и говорит Татьянке вялым равнодушным голосом:

— Знаешь, я ведь больше в магазине не работаю. Ты меня постарайся к вам в лабораторию устроить.— И поясняет удивленной Татьянке: — Цветы надоели до смерти.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

**ОТРЕЧЕНИЕ**

**3**

**ЧУЖОЙ ЗВОНОК**

**65**

**«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»**

**106**

**ПОДСОЛНУХ**

**196**

**МЯЧ**

**232**

**ГОЛУБЫЕ ТЮЛЬПАНЫ**

**263**

*Екатерина Георгиевна Маркова*

ОТРЕЧЕНИЕ

М., «Советский писатель», 1987, 288 стр.  
План выпуска 1987 г. № 92

Редактор  
*Г. Н. Иванов*

Художественный редактор  
*А. С. Томили*

Технические редакторы  
*Н. Н. Талько и Н. Г. Алеева*

Корректор  
*Т. Н. Гуляева*

ИБ № 6092

Сдано в набор 04.11.86. Подписано к печати 12.03.87.  
А 06623. Формат 84×108<sup>1/2</sup>. Бумага тип. № 1.  
Литературная гарнитура. Высокая печать  
Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,56.  
Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб. 10 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Совет-  
ский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Отпечатано с матриц Московской типографии  
№ 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром»  
Государственного комитета СССР по делам из-  
дательств, полиграфии и книжной торговли,  
107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., д. 30.  
Тульская типография Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам из-  
дательств, полиграфии и книжной торговли,  
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

Заказ № 212

**Маркова Е. Г.**  
М 26 Отречение: Повести. — М.: Советский писатель,  
1987.—288 с.

Новую книгу Екатерины Марковой составили повести «Отречение», «Чужой звонок», «Тайная вечеря», «Подсолнух» и «Мяч». Всех их объединяет авторская влюбленность в юность, искреннее глубокое сострадание к чужому несчастью.

М 4702010200—092  
083(02)—87 92—87

ББК 84.Р7

